

● **ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА.**

Впервые на русском языке — самый нашумевший детективный роман последнего десятилетия: поединок израильской разведки с неуловимой группой палестинских террористов.

● **ВОРОТА ЗАКРЫТЫ. ЧТО ДАЛЬШЕ?**

Что угрожает советским евреям? Кто может им помочь? Нужна ли им помощь? Об этом — в развернутой дискуссии на страницах раздела "Иерусалимские размышления".

38

22

№ **38**

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания VII

№ 38

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. Маленькая барабанщица (роман, сокр. перевод с английского Н.Воронель)	3
МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ. Война в саду (стихи)	63
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ. Стихи	68
МИХАИЛ ФЕДОТОВ. Соотечественники (роман, окончание)	75

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЮРИЙ ШТЕРН. Ситуация неустойчива и потому опасна	126
БАРУХ ГУРЕВИЧ. Две стратегии	139
ЭЙТАН ФИНКЕЛЬШТЕЙН. Мост, который рухнул...	146
ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ. Они ничего не поняли	155
ЮРИЙ КОЛКЕР. Он ничего не помнит	158
АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Когда откроются ворота?	162

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ДОРА ШТУРМАН. Солженицын о Ленине в Цюрихе	168
------------------------------------------------------	-----

КРУГ СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ

АЛЕКСАНДР ДОНДЕ. Цивилизация здравого смысла с точки зрения здравого смысла (взгляды Э.-Ф. Шумахера)	183
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЛЮДИ И КНИГИ

ВЛАДИМИР ТАРАСОВ. О новых голосах и старых песнях	199
Новый израильский журнал (интервью с Н.Рубинштейн)	206

НАША ПОЧТА

ШИМОН МАРКИШ. О еврейской ненависти к России	209
НЕЛЛИ ГУТИНА. Кого считать антисемитом?	218

ПЕРСОНАЛИИ

МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Памяти Розы Николаевны Эттингер 220

На последней странице обложки — Роза Николаевна Эттингер.

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove, Ca. 93950, USA

A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N. Y. 10036

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

L. Gerschtein, 27 Bruckner str. 8 Muenchen 80

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

Отпечатано в типографии

"ЯКОВ ПРЕСС"

ул. Рош-Пина, 22

Тель-Авив

ЛИТЕРАТУРА

Джон ле Карре

МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА

(Роман. Сокращенный перевод
с английского Нины Воронель)

Часть первая. Подготовка

1

Первое настоящее доказательство дал взрыв в Бад Годесберге, хоть немецкие власти об этом даже понятия не имели. Кое-какие подозрения, довольно веские, накопились уже до Бад Годесберга, но именно четкость, с какой была спланирована операция, в сочетании с убогой конструкцией бомбы, превратила эти подозрения в уверенность. Как говорят профессионалы, рано или поздно всякий ставит свою подпись. Нужно только запастись терпением.

Бомба взорвалась гораздо позже, чем ей было положено, возможно, с опозданием на добрых двенадцать часов, в двадцать шесть минут девятого в понедельник утром. Несколько пар поврежденных часов, принадлежавших жертвам, подтверждали время взрыва. И как перед другими взрывами, предшествовавшими этому, не было никакого предупреждения. Как не было предупреждения перед взрывом машины израильского военного атташе в Дюссельдорфе или перед взрывом книжной бандероли в оргкомитете Еврейского Религиозного Конгресса в Антверпене, почетный председатель которого был разнесен в клочья, а секретарша его обожжена до смерти. Никто не предупредил также о бомбе, подброшенной в мусорную урну у дверей Еврейского банка в Цюрихе, взрыв которой искалечил двух прохожих. Только перед стокгольмским взрывом было предупреждение, и это оказалось делом рук совсем другой группы.

Этим утром в двадцать пять минут девятого Дроссельштрассе в Бад Годесберге выглядела заурядной тихой дипломатической

заводью, надежно защищенной от политических бурь лежащего в двадцати километрах Бонна. Улица была новая, но вполне завершенная, с пышными садами под стражей глухих заборов, с надежными готическими решетками поверх матовых оконных стекол. Некоторые здания откровенно афишировали национальную принадлежность своих хозяев. Так, резиденцией норвежского посла служил мрачный фермерский дом из красного кирпича, привезенный вместе с фундаментом откуда-то из-под Осло, а окна александрийской виллы египетского консула были всегда прикрыты ставнями, словно в защиту от палящего североафриканского солнца.

Было это в середине мая, и день выдался на редкость прекрасный, с легким ветерком в шелестящей листве, заглушавшим гул близлежащего шоссе. Тишину перед взрывом нарушали только птичьи голоса да отдаленный стрекот ползущих по Рейну грузовых барж, который жители Бад Годесберга давно перестали замечать. В общем, что бы ни писали крикливые паникеры об инфляции, безработице и других социальных бедствиях, Бад Годесберг в то утро казался безопасным пригородом безопасного Бонна.

В соответствии с национальностью и занимаемой должностью многие дипломатические мужья уже уехали на работу, но некоторые оставались дома. Так, скандинавский консул еще не вставал с постели, терзаемый жестоким похмельем на почве семейных неурядиц, а южноамериканский посол в узорном китайском халате, вывезенном из Пекина, давал с террасы последние наставления своему повару-филиппинцу, отправляющемуся за покупками. Итальянский торговый атташе, который любил бриться сразу после принятия ванны, стоял перед зеркалом голый, прислушиваясь к голосам дочери и жены, ссорившихся в гостиной, в то время как посланник Берега Слоновой Кости докладывал по международному телефону своему правительству об упорном нежелании немецких властей увеличить экономическую помощь его стране. Когда телефонный разговор был прерван взрывом на полуслове, на Берегу Слоновой Кости решили, что их посланник взбунтовался, и отправили ему срочную телеграмму об отставке.

Израильский атташе по трудовым вопросам уехал в свое посольство уже давно: он чувствовал себя неловко в боннской жизни и предпочитал работать в иерусалимском режиме.

При каждом взрыве обязательно случается чудо. На этот раз чудесному спасению подлежал американский школьный автобус,

который успел приехать и уехать за миг до взрыва, увозя большинство посольских детей младшего возраста. Чудесным образом никто из детей не забыл в то утро дома учебник, не проспал и не выказал активного сопротивления образовательной системе, так что автобус успел вовремя покинуть эпицентр взрыва. Правда, задние стекла вылетели от сотрясения, шофера вышибло волной из кабины, а дочь второго секретаря французского посольства осталась без глаза, но все-таки все дети остались живы. И как всегда в таких случаях, всем больше хотелось поздравлять оставшихся в живых, чем оплакивать погибших.

Почти никто из соседей не мог вспомнить грохот взрыва. Вот за рекой, в Кенигсвинтере, слышали прекрасно, как у иностранцев грохнуло и рвануло — чтоб их всех унесло подальше, в Берлин, например; мало им, что живут на наши денежки, так еще воздух здесь портят. Но вот те, что были поблизости, практически не могли вспомнить ничего. Кто мог говорить, рассказывал, как асфальт встал дыбом, как каминная труба сорвалась с крыши вверх к облакам, как воздушная волна ворвалась в дом и швырнула всех на пол. Кто-то помнил звон разбитого стекла, кто-то — шорох листьев, сорванных шквалом. И мяуканье людей, слишком испуганных, чтоб визжать от страха. То есть оглохнуть никто не оглох, просто все были сбиты с толку. Несколько человек дружно вспомнили громкий голос, диктовавший по радио из кухни французского посла рецепт яблочной шарлотки, — там, в доме французского посла никто не мог подойти к радио, чтоб выключить его.

Конечно, тут же появились репортеры, замельтешили перед полицейскими заслонами, так что первые газетные сообщения убили восьмерых, ранили более тридцати и возложили вину на правонационалистическую группу “Нибелунги”, состоявшую из двух полоумных мальчиков и одного беспомощного старика. К полудню прессе пришлось уменьшить свой улов до пяти убитых, четырех раненных опасно и двенадцати легко, а вину столь же бездоказательно перенести на итальянские Красные Бригады. На завтра этой чести удостоился Черный Сентябрь, а на послезавтра ее перехватила другая группа, именующая себя “Палестинской Агонией”, претендующая также на авторство в других терактах. Название “Палестинская Агония” очень подходило для газетных заголовков, и потому оно так и прикипело к этой истории.

Из неевреев, погибших при взрыве, один был сицилийский

повар, другой — шофер-филиппинец. Среди раненных опасно была жена израильского атташе, в дом которой и была подложена бомба. Ей оторвало ногу. Погибший израильтянин был ее маленький сын Габриэль. Но как сообразили позже, никто из жертв не был мишенью террористов: операция была нацелена на дядю раненой жены атташе, гостившего у племянницы. Дядя — довольно известный тель-авивский талмудист, славился своей непримиримостью в вопросе о правах палестинцев на Западном Берегу. Он считал, что прав у палестинцев нет никаких, и заявлял об этом часто и громогласно, назло своей либеральной племяннице, киббуцное воспитание которой совершенно не подготовило ее к суровой роскоши дипломатического бытия.

Если бы Габриэль уехал в школу на автобусе, он бы остался в живых, но он в этот день был не совсем здоров. Габриэль был нервный, шаловливый ребенок, местный нарушитель спокойствия, особенно в часы сиесты, но зато, как и его мать, необычайно одаренный музыкально. Сейчас все забыли его шалости, а помнили только его таланты. Немецкий бульварный листок из правых, захлебываясь проеврейским сантиментом, прозвал его “ангелом Габриэлем” и целую неделю потчевал своих читателей выдуманными историями из жизни этого святого младенца. Другие газеты вторили согласно. Кое-кто начал собирать деньги на памятник Габриэлю, позабыв об остальных жертвах. Согласно еврейскому погребальному ритуалу маленький гробик с изуродованным детским тельцем был немедленно отправлен в Израиль для захоронения, хотя ни мать, ни отец не могли его сопровождать.

Сразу после взрыва шесть израильских экспертов срочно вылетели в Бонн. Д-р Алексис из Федерального министерства внутренних дел был назначен ответственным за расследование и отправлен в аэропорт встречать израильских коллег. Алексис был умный человек с лисьим лицом, всю жизнь страдавший от того, что был на десять сантиметров ниже любого встречного. И, видимо, чтобы скомпенсировать этот дефект, он вел себя опрометчиво, что вечно приводило к недоразумениям как на службе, так и в личной жизни. Он был немножко юрист, немножко офицер разведки, а главное — азартный игрок, рискованный парень с прямыми либеральными взглядами, не слишком лестными для правящей коалиции, и с раздражающей склонностью открыто говорить о них по телевизору. Хоть отец его, по слухам, был как-то замешан в антигитлеровском сопротивлении, репутация сына в стеклянных

боннских дворцах была сомнительной, а его недавний скандальный развод из-за связи с девчонкой на двадцать лет его моложе вряд ли эту репутацию улучшил.

Если бы прилетал кто-нибудь другой, Алексис и не подумал бы тащиться в аэропорт, тем более что прессы на встрече не предполагалось. Но отношения между Израилем и Западной Германией были напряженные, так что пришлось уступить настояниям начальства и поехать. В последнюю минуту ему навязали в попутчики медлительного полицейского из Гамбурга, который сделал себе имя на подавлении студенческих волнений в 70-х и считался большим спецем по части взрывчатки. Кроме того, говорили, будто он умеет ладить с израильтянами, хотя все, включая Алексиса, понимали, что роль его — нейтрализовать либерализм доктора. Но важнее всего был тот факт, что оба они были достаточно молоды, чтобы не нести ответственности за то, что немцы называли своим неизжитым прошлым. По специальному указанию Алексиса пресса сосредоточила свое внимание на этом факте.

Анонимный военный самолет из Тель-Авива приземлился в дальнем конце поля, и, поспешно отмахнувшись от бюрократических формальностей, гости и хозяева приступили к делу. Алексис получил строгий приказ ни в чем не отказывать израильтянам, хотя такой приказ был излишним: Алексис был известен своим филосемитизмом. Он недавно посетил Израиль, где был сфотографирован со склоненной головой на фоне Музея Катастрофы. Гамбургский полицейский, со своей стороны, не уставал напоминать всем, что они борются против общего врага — против Красных. Хотя результаты многих опросов оставались еще спорными, все же на четвертый день рабочей группе удалось набросать приблизительную картину случившегося.

Во-первых, было установлено, что дом атташе не подлежал специальной охране, в отличие от резиденции израильского посла в двух кварталах от места происшествия. Послу полагалась круглосуточная охрана, бронированная машина и мотоциклетный эскорт. Он представлял собой двойную ценность — как посол и как еврей. Но никто не проявлял чрезмерной бдительности в отношении скромного атташе по трудовым вопросам, разве что адрес его, равно как и адреса других сотрудников израильского посольства, не значился в телефонной книге.

В восемь утра в тот понедельник атташе, как обычно, отпер дверь своего гаража и согласно инструкции осмотрел колеса и

шасси своей машины с помощью зеркала, прикрепленного специально для этой цели к ручке половой щетки. Дядя его жены, который ехал вместе с ним, подтвердил это. Атташе знал, что сорока секунд достаточно, чтобы подложить взрывчатку под колпак колеса обычного автомобиля, и еще меньше — чтобы приклеить пластиковую бомбу к бензобаку. И еще лучше он знал, как и другие его коллеги, что с тех пор, как он согласился на дипломатическое назначение, есть много желающих эту взрывчатку подложить. Убедившись, что с машиной все в порядке, он попрощался с женой и уехал.

Во-вторых, оказалось, что жившая в семье прислуга Эльке, шведка с безупречной анкетой, уехала накануне в недельный отпуск со своим не менее безупречным возлюбленным, сержантом бундесвера Вольфом. Часа в четыре пополудни Вольф заехал за Эльке на своем открытом “Фольксвагене”, так что любой прохожий мог видеть, как она вышла из дому в дорожном костюме, поцеловала Габриэля на прощанье и помахала рукой атташе, стоявшему на пороге, в то время как его жена с обычным рвением полела овощные грядки на заднем дворе. Эльке жила в доме уже больше года и, по словам атташе, стала для них членом семьи.

Эти два фактора — отсутствие реальной полицейской охраны и верной прислуги — сделали теракт возможным. Но успешным сделал его галантный характер самого атташе.

В шесть часов того же воскресного вечера — то есть часа через два после отъезда Эльке, — когда атташе вел религиозный спор со своим гостем, а жена его трудилась на огороде, звякнул дверной колокольчик. Один раз. Атташе, как и полагалось, прежде чем открыть дверь, поглядел в глазок. В руке он держал свой служебный пистолет. За дверью стояла стройная блондинка лет двадцати двух с потрепанным серым чемоданчиком, украшенным ярлыком скандинавской авиакомпании. У тротуара ее ожидало такси — или это была частная машина? — атташе слышал урчание невыключенного мотора. Ему даже показалось, что он слышал перебой в моторе, но это уже потом, когда он хватался за соломинки.

Девушка была хорошенькая — спортивная и элегантная одновременно, с милыми веснушками на крыльях носика. Вместо обычных поношенных джинсов на ней было изящное голубое платье, застегнутое у ворота, а золотистые ее кудри были повязаны легким шелковым шарфом, что, как признался атташе в начале следствия, показалось ему гарантией ее благонадежности.

Поспешно сунув пистолет в верхний ящик тумбочки, он снял дверную цепочку и, улыбаясь, распахнул дверь. Дядя-талмудист ничего не видел, ничего не слышал, — свидетель он был никуда не годный: погруженный в раздумья над сущностью Кабалы, он не обращал внимания на мирскую суету.

Девушка говорила по-английски с сильным акцентом. С каким-то северным, не французским и не итальянским. Атташе продемонстрировали образцы различных подходящих акцентов, но он не опознал искомого оттенка. Она спросила, дома ли Эльке, назвавши прислугу “Уки”, как звали ее только близкие. Атташе ответил, что Уки уехала в отпуск совсем недавно, — а в чем дело? Девушка, слегка разочарованная, сказала, что она заедет в другой раз. Она приехала из Швеции и привезла Эльке от ее матери чемодан с кое-какими вещами и пластинками. Именно пластинки окончательно рассеяли недоверие атташе, так как Эльке была помешана на попмузыке. Он пригласил девушку зайти в дом и своими руками отнес чемодан в комнату Эльке, чего он не простит себе всю жизнь. Разумеется, он многократно читал инструкции насчет посылок, доставленных незнакомцами, и знал, что чемоданы могут кусаться. Но ведь этот чемодан привезла прелестная Карин, лучшая подруга Эльке из Швеции, которая только сегодня получила его лично из рук Элькиной матери. Чемодан был тяжелый, но он отнес это за счет пластинок. Когда он заметил вслух, что вес чемодана покрыл весь багажный лимит Карин, она объяснила, что мать Эльке лично отвезла ее в аэропорт и заплатила за лишний вес. Атташе запомнил, что чемодан был упакован плотно, его содержимое туго распирало стенки из твердой фибры. От него остался рваный коричневый лоскут.

Атташе предложил девушке чашку кофе, но она вежливо отказалась, сославшись на шофера ожидавшей ее машины. Машины, а не такси. Эту подробность следователи обсасывали до упоминания. Атташе спросил ее, чем она намерена заняться в Германии, она ответила, что собирается прослушать курс теологии в Боннском университете. Он хотел записать ее телефон, но она отказалась дать его: “Скажите Эльке просто, что была Карин, этого достаточно”. Она объяснила, что остановилась в лютеранском общежитии для девушек, но это временно, пока она не подыщет комнату. (Такое общежитие действительно было в Бонне — еще один точный штрих.) Карин обещала заскочить еще раз, когда Эльке вернется, может, на Элькин день рождения. Очарованный

атташе тут же предложил устроить вечеринку для друзей Эльке — он собственноручно может приготовить фондю из сыра. Потому что его жена — кибуцница и терпеть не может возиться на кухне, — это он повторял потом много раз с патетическим однообразием.

Тут таксист — или шофер — на улице начал настойчиво сигнализировать. Девушка вручила атташе на прощанье ключ от чемодана. Тут атташе впервые заметил на руках девушки белые нитяные перчатки, но ее наряд соответствовал им, а день был жаркий, так что руки прилипали к кожаной ручке чемодана. Словом, не осталось ни телефона, ни отпечатков пальцев — ни на чемодане, ни на ключе. Весь эпизод занял не более пяти минут. Не больше — потому что шофер явно спешил. Атташе смотрел ей вслед — у нее была восхитительная походка, привлекательная, но не вызывающая. Он добросовестно запер дверь, наложил цепочку и понес чемодан в комнату Эльке — на первом этаже, где аккуратно положил его в ногах кровати, заботясь о том, чтобы вещи не измялись. На чемодан он аккуратно положил ключ. Жена его ничего не слышала — она трудолюбиво взрыхляла грядки на заднем дворе. Когда она вернулась в дом, муж забыл рассказать ей о посещении Карин.

Тут у следователей возник очень маленький, но очень человеческий вопрос — так-таки забыл? Как можно забыть такой необычный для семьи эпизод о подруге Эльке, которая ее не застала? О чемодане, лежащем на кровати?

Тут атташе раскололся и признался. Верно, он не то чтобы забыл.

— А что же? — спросили следователи.

Дело в том... ну, так уж сложилось, ... его жена совсем перестала интересоваться их боннской жизнью. Она хотела только одного — вернуться в кибуц к нормальным людям, подальше от всей этой светской скуки.

А кроме того... ну, в общем, это... девушка была такая хорошенькая, зачем было рассказывать о ней жене? Тем более что жена никогда не входила в комнату Эльке.

Ну, а как насчет ученого талмудиста-дяди?

Ему атташе тоже ни слова не сказал. Это подтвердили оба. Следователи так и записали: хотел сохранить ее для себя.

.....

На этой точке развитие событий внезапно прекратилось. Эльке

в сопровождении верного Вольфа была срочно найдена и вызвана в Бонн, но она и слыхом не слыхала ни о какой Карин. Следствие стало наводить справки о личной жизни Эльке, но это требовало времени. Ее мать не посылала ей никакого чемодана, ей бы это и в голову не пришло: она совсем не одобряла музыкальный вкус дочери. Вольф вернулся в свою часть, где был подвергнут длительному безрезультатному допросу. Хоть во всей немецкой прессе было широко объявлено о награде, ни один шофер не появился с рассказом о прелестной блондинке в белых перчатках. Ни одна девушка, похожая на нее, не была обнаружена в пассажирских списках самолетов, прилетавших в тот день в Кельн из Швеции или из какого другого места. Фотографии всех знаменитых, безвестных и подозреваемых террористок были предъявлены убитому горем атташе и отвергнуты. Он не мог вспомнить, какие на ней были туфли, была ли она напудрена или нарумянена, были ли ее волосы обесцвечены перекисью или похожи на парик. Откуда ему было знать, чем крашенные волосы отличаются от естественных, если его единственным интересом кроме семьи, Израиля и экономических теорий была музыка Брамса?

Он помнил только, что у нее были красивые ноги и очень белая шея. Да, платье с длинными рукавами, иначе он бы запомнил ее руки. Да, под платьем была комбинация, иначе он бы заметил, как выглядит ее тело напросвет. Был ли на ней лифчик? Может, и не было, у нее была маленькая грудь, она вполне могла обойтись без. Ему демонстрировали живые модели, на них были сотни голубых платьев, но он хоть убей не мог вспомнить, был ли на ее платье воротник или манжеты, и никакие душевные муки не могли улучшить его память. Чем больше его спрашивали, тем меньше он мог припомнить. Другие свидетели подтверждали кое-что из его рассказов, но ничего существенного добавить не могли.

Рутинный полицейский патруль в это время был в другой части городка, к чему, видимо, и был приурочен приезд Карин. Машина была то ли "Опель", то ли "Форд", серого цвета, не слишком чистая, не слишком старая, не слишком новая. Номер боннский, а может — зигбургский. Да, на крыше — огонек такси. Ничего подобного, это солнце отсвечивало от крыши, а кто-то слышал радио из кабины, но не мог вспомнить, какую именно станцию. Водитель был ариец, хоть, впрочем, пожалуй, турок. Чисто выбритый, с усами, темноволосый. Да нет, блондин. Мелкокостный, вполне мог оказаться переодетой женщиной. Кто-то был уверен,

что видел маленький каминный совок под задним стеклом. А может, это была наклейка с рекламой гаража. Да, да, скорей всего, наклейка. Кто-то утверждал, что шофер был в куртке с капюшоном. А может, в свитере с высоким воротом.

В разгар этого затора израильская команда словно впала в какую-то коллективную кому. На них разом напала страшная сонливость: они приходили поздно, уходили рано и целые дни торчали в израильском посольстве, получая там все новые и новые инструкции. Алексис решил в конце концов, что они чего-то ждут. У Алексиса был наметанный на такие вещи глаз. На третий день широколицый пожилой человек, назвавшийся Шульманом, присоединился к команде. Его сопровождал тощий подручный вдвое моложе его. Алексис прозвал их: еврейский Цезарь со своим Кассием.

.....

Появление Шульмана слегка исправило настроение Алексиса, начавшего уставать от постоянного присутствия гамбургского полицейского, который вел себя как начальник, а не как помощник. Сразу стало заметно, что Шульман поднял настроение и у своих израильтян. Без Шульмана в этих шестерых было что-то незавершенное. Они были вежливы, они не пили спиртного, они умело расставляли свои сети и работали с темноглазой восточной слаженностью боевого отряда. Их самоконтроль был чрезмерным: они принимали грубые шутки полицейского насчет кошерной пищи, израильского вина и израильских красоток с дорогостоящей сдержанностью. И вдруг по приезде Шульмана все изменилось враз. Он был тот вождь, которого они ждали. Алексису поспешно позвонили из кельнского штаба:

“Они вызвали еще одного эксперта, у него свой особый подход”.

“Эксперт в какой области?” — потребовал ответа Алексис.

И не получил. Ответом был сам Шульман — никакой не эксперт на взгляд, а широколобый, суетливый ветеран всех битв, начиная с Фермопил, в возрасте между пятым и девятым десятком, кряжистый, скуластый, куда больше европеец, чем израильтянин, с мощной грудью и борцовской походкой, всюду сопровождаемый своим неутомимым подручным, о котором даже не предупредили. Когда Шульман улыбался, казалось, морщины на его

щеках были прорыты горными потоками, веками стекающими с каменистых круч, а глаза сужались до китайских щелок. Вслед за ним улыбался его верный подручный, уловив какой-то одному ему понятный подтекст. Когда Шульман здоровался, он протягивал всю правую руку целиком от плеча, жесткую клешню, готовую тебя опрокинуть, если ты ее не перехватишь на лету. В разговоре Шульман выбрасывал на-гора целый набор противоречивых идей, выжидая, какую из них ты подхватишь, какую — отвергнешь. Голос подручного вторил, словно санитар с носилками, подбирающий убитых. Никаких чинов, просто Шульман. Шульман и все.

Ни имени, ни академической степени, ни военного звания — во всяком случае, для немцев. Просто человек, которому полагается отдельный кабинет, — и он получил его тут же, подручный об этом позаботился. И из-за закрытой двери кабинета зазвучал командирский голос, обсуждающий проделанную работу. Алексису не надо было знать иврит, чтобы различить все эти “почему? когда? как? а почему бы нет?”. Прирожденный партизанский генерал, главарь шайки, — подумал он. Когда Шульман замолкал — и такое бывало, — Алексис пытался представить, что он такое читает? Или, может, они там молятся коллективно — как это у них там положено? Но, скорее всего, это говорил подручный — голос его имел столь же малый объем, как и его двумерное тело.

Но главной чертой Шульмана была его поглощающая требовательность. Он представлял собой своего рода человеческий ультиматум, словно говоря непрерывно: мы должны выиграть, но можем и проиграть. И мы слишком долго проигрывали и слишком много уже проиграли. Шульман был их вождь, но в то же время он был им подчинен, — Алексис видел, как выжидательно люди Шульмана смотрят на него, словно спрашивая: что же дальше? Ты видишь, куда надо идти? Алексис подметил особый шульманский жест: тот хватал правой клешней рукав левой и поворачивал его так, чтобы исподтишка взглянуть на циферблат часов. Значит, и он знает свой предел, значит, и на него заведена пружина бомбы с часовым механизмом, которую подручный носит в своем чемоданике.

Отношения между этими двумя забавляли Алексиса, отвлекая его от собственных мучительных проблем. Когда Шульман отправлялся пройтись по Дроссельштрассе и стоял среди развалин взорванного дома, поглядывая то и дело на часы, подручный

тенью следовал за ним, не вмешиваясь и не мешая. Когда Шульман вызвал атташе для последнего интимного допроса и когда диалог их, пробиваясь через стены, возвысился до истошных воплей, а потом опал до исповедального бормотания, на пороге возник подручный, — он вывел доведенного до иступления атташе и отвез его обратно в посольство. Понурый вид атташе окончательно подтвердил подозрения Алексиса, расследование которых было в корне пресечено кельнским начальством.

Все вело к этим подозрениям. Ревнивая, замкнутая жена, мечтающая вернуться на Святую Землю; страшное чувство вины, не покидающее атташе; его нелепое гостеприимство по отношению к совершенно незнакомой подружке Эльке и, наконец, его собственное признание, что жена никогда не входит в комнату Эльке. Алексис, который много раз оказывался в таком положении, различал его признаки мгновенно, и ему льстило, что Шульман тоже унюхал сразу, в чем дело. Но в Кельне были непреклонны, никаких скандальных изобличений: атташе стал скорбным символом, он должен был оставаться неутешным отцом, оплакивающим погибшего сына и искалеченную жену. Он был жертвой антисемитской операции на немецкой земле, — как же немцы могли поведать потрясенному миру, что этот человек был прелюбодей? В тот же вечер атташе был отправлен в Израиль, якобы на похороны останков сына, и телевизионная хроника в последний раз запечатлела его понурую широкую спину, удаляющуюся вверх по самолетному трапу, а рядом с трапом вездесущего Алексиса со шляпой в руке.

Кое-какие подробности деятельности Шульмана стали известны Алексису только после отбытия израильской команды. Так, он обнаружил почти случайно, что Шульман и его подручный без ведома немецких властей уговорили Эльке отложить заранее намеченный отъезд в Швецию для продолжительной, хорошо оплаченной беседы втроем. После долгого вечернего разговора в ее комнате в отеле они собственноручно отвезли ее на такси в аэропорт. Все это, как сообразил Алексис, с единственной целью — выведать, кто был ее истинный друг, с которым она гуляла, пока ее немецкий возлюбленный выполнял свой воинский долг. И кто снабжал ее марихуаной и героином, остатки которых они обнаружили среди развалин ее комнаты. А точнее, в чьих объятиях лежа, она любила болтать о своих хозяевах и их привычках. Все это Алексис вычислил из тайного доклада об интимной жизни Эльке, представленного ему собственными агентами, — он приписал Шульману

все те вопросы, которые задал бы Эльке, не приставь его кельнские хозяева к его виску дуло пистолета с криком: "Руки вверх!"

И все же он бы дорого заплатил, чтобы услышать ответы, вырванные из ее уст Шульманом: ее описание молодого красавца араба, то ли студента, то ли младшего дипломата — или он был кубинец? — швырявшего деньгами, снабжавшего наркотиками и всегда готового внимательно слушать ее болтовню. Гораздо позже — слишком поздно, чтобы что-то предпринять, — Алексис узнал от шведских коллег, тоже интересовавшихся личной жизнью Эльке, что Шульман предъявил ей небольшой альбом фотографий возможных кандидатов. И что она выбрала из них одного, который представился ей киприотом по имени Мариус — он произносил его на французский манер, — и подписала протокол, где значилось: "С этим Мариусом я спала". Протокол, как они ей объяснили, был им нужен для Иерусалима — чтобы оправдать шульмановские задержки, что ли? Алексис понимал такие вещи прекрасно, он чувствовал по отношению к Шульману дружескую солидарность.

.....

Совещание, завершающее следствие, состоялось в лекционном зале. Председательствующий, гамбургский полицейский, возвышался над рядами пустых стульев — там две группы, израильская и немецкая, сидели по обе стороны прохода, словно семьи жениха и невесты в церкви. В центре, на буфетном столе, покрытом белой скатертью, были разложены остатки взрывного устройства, каждый с маленьким машинописным ярлычком. На доске рядом со столом были развешаны разноцветные схемы, а в дверях хорошенькая девушка вручала каждому пластиковый пакет с основными данными. Немцы болтали, израильтяне хранили напряженное молчание, как люди, которым дорога каждая минута. Один только Алексис в этом зале понимал и разделял их напряженное беспокойство.

До последней минуты он предполагал быть председателем на этом совещании. Он уже приготовил вступительное слово и выражение лица для заключающего: "Благодарю вас, господа". Но это ему не пригодилось. Начальство не хотело его, оно хотело гамбургского полицейского на первое, на второе и на десерт. И Алексису не оставалось ничего иного, как сидеть сложа руки в заднем ряду и сочувствовать евреям. Полицейский вошел в зал,

сверхмужественно подрагивая ляжками. Вслед за ним семенил испуганный юноша в белом пиджаке с дубликатом знаменитого серого чемодана, увешанным ярлыками скандинавской авиакомпания, который он водрузил на кафедру осторожно, словно это была святыня. Оглядев зал в поисках Шульмана, Алексис обнаружил его одиноко сидящим в одном из задних рядов справа. Он снял пиджак и галстук, ноги его, обтянутые джинсами, были обуты в старомодные башмаки. Сталь часов поблескивала на его коричневом запястье, белая раскрытая у ворота рубашка придавала ему вид отпусковой и беспечный.

“Потерпи, и я твой”, — подумал Алексис тоскливо, вспоминая неприятную беседу с начальством.

На грубом английском языке ковбоев и астронавтов гамбуржец объявил, что взрыв был делом рук “радикальных элементов”. Со скамей представителей парламента одобрительно закивали и зашаркали. Взрыв, естественно, был направлен вверх, в результате чего взлетела в воздух вся центральная часть дома, где находилась детская, — полицейский ткнул указкой в диаграмму. Предварительные подсчеты дают вес взрывчатки около пяти килограммов. Мать осталась в живых, потому что была на кухне. Кухня была в пристройке, — докладчик сказал это слово по-немецки, вдруг потеряв его из памяти. Алексис подсказал ему соответствующее английское слово, и тот повторил его, даже не поблагодарив за подсказку.

Нет уж, в следующей жизни я буду кем угодно, только не немцем — евреем, испанцем, даже эскимосом, решил Алексис. Только немец способен так докладывать о погибшем еврейском ребенке.

Полицейский перешел к чемодану. Дешевый и безобразный, с такими ездят бродяги и турки. Он мог бы еще добавить “и социалисты”. Все присутствующие могли прочесть об этом в своих папках, но они вынуждены были слушать, ибо это был день победы гамбургского полицейского, день его торжества над своим либеральным соперником Алексисом.

От собственно чемодана он перешел к его содержимому. Взрыватель был укреплен на уплотнителях двух типов, — во-первых, на старой газете, которая, как показали исследования, издавалась в Бонне концерном Шпрингера, и, во-вторых, на обрезках старого армейского одеяла, образец которого сейчас будет продемонстрирован. Пока испуганный ассистент добросовестно разворачивал перед присутствующими серое одеяло, Алексис заставлял себя

выслушивать знакомые подробности: гофрированный хвост детонатора... уцелевшие остатки взрывчатки, оказавшиеся обычным русским пластиком... заводная пружина дешевых часов... обуглившийся, но вполне опознаваемый виток из бельевой прищепки. Иными словами, классическая домодельная бомба, прямо из тренировочной школы. Никаких компрометирующих следов, никакой уступки тщеславию, все сработано чисто и четко. Остается только вздохнуть ностальгически, вспоминая старомодных террористов семидесятых годов.

“Можно назвать это бомбой-бикини! – с непонятной гордостью воскликнул гамбургский полицейский. – Ничего лишнего!”

“И ни одного ареста!” – беспечно крикнул Алексис с места и был вознагражден одобрительной улыбкой Шульмана.

Опередив ассистента, гамбуржец вытащил из чемодана кусок фанеры, на котором была укреплена модель бомбы – нечто вроде электросхемы игрушечного гоночного автомобиля, свитой из тонкой проволоки и замыкающейся десятком цилиндриков из сероватого пластика. Когда непосвященные столпились у стола, чтоб разглядеть игрушку получше, Алексис с удивлением заметил среди них Шульмана, склонившегося над фанеркой. Алексис протиснулся сквозь толпу и встал рядом с ним. Вот тот шаблон, – говорил гамбургский полицейский, – по которому нужно делать бомбы, чтобы взрывать евреев. Нужно купить дешевые часы вроде этих – ни в коем случае не воровать, а купить в большом универсальном магазине в самый разгар торговли, вместе с парой других предметов в том же отделе, чтоб сбить с толку память продавца. Вынуть из них часовую стрелку. В стекле просверлить дырочку, в дырочку вставить чертежную кнопку и приклеить электрическую схему к ее шляпке надежным клеем. Присоединить к батарее и поставить минутную стрелку на нужное время. Часы завести, убедившись, что минутная стрелка работает нормально. И все. Помолившись Создателю, вставить детонатор в пластик. Когда минутная стрелка коснется острия кнопки, электрическая цепь замкнется – и, если Бог позволит, бомба взорвется.

Чтобы продемонстрировать это достижение технической мысли, полицейский убрал детонатор с десятью цилиндриками взрывчатки и заменил их лампочкой от ручного фонарика.

Никто не сомневался, что устройство сработает, и все же у всех захватило дыхание и по спине пробежали мурашки, когда лампочка весело загорелась. У всех, кроме Шульмана. Похоже, он навидался

всякого, подумал Алексис, пока Шульман, сгорбившись, разглядывал макет с видом знатока.

Кто-то из присутствующих спросил, почему бомба взорвалась с опозданием. “Бомба пролежала в доме четырнадцать часов. Стрелка должна была обойти циферблат минимум один раз, максимум двенадцать. Чем же объяснить четырнадцать часов?”

У полицейского в ответ на любой вопрос была заготовлена целая лекция. Пока он ее читал, Шульман внимательно ощупывал края макета своими толстыми пальцами, словно искал что-то. Возможно, подвели часы, говорил полицейский, или атташе, поставив чемодан на кровать Эльке, что-то нарушил в электросхеме. Или еще что-нибудь, раздраженно подумал Алексис.

У Шульмана были другие соображения, более веские. “Или тот, кто готовил бомбу, слишком спешил и не стер тщательно краску со стрелки”, — сказал он словно между прочим и занялся чемоданом. Вытащив из кармана старый складной нож, он стал ловко выкручивать винты замка. “Ваши сотрудники из лаборатории удалили всю краску, но террорист мог быть не столь тщателен, — он щелчком закрыл нож, — не столь аккуратен, не столь безупречен”.

Но это была девушка, мысленно возразил Алексис, — откуда же это внезапное ОН, если речь идет о хорошенькой девушке в голубом платье? Даже не заметив, как он сбил полицейского с толку в самый разгар его торжества, Шульман сосредоточил свое внимание на самодельной бомбе, прикрепленной к крышке, и начал осторожно дергать кусочек провода, пришитого к подкладке и соединенного с болтом, вставленным в зажим бельевой прищепки.

“Что-нибудь интересное, герр Шульман? — спросил полицейский с ангельской сдержанностью. — Может, вы нашли ключ к разгадке? Поделитесь с нами, умоляю”.

Шульман смотрел на него задумчиво.

“Слишком короткий провод, — объявил он и снова вернулся к покрытым сажей остаткам взрыва, разложенным на столе. — Тут у вас осталось семьдесят семь сантиметров проволоки, — он помахал обугленным мотком проволоки, который был закручен спирально, словно кукла из ниток, и затянута петлей вокруг талии. — Провод в вашем макете не длиннее двадцати пяти сантиметров. Куда вы девали еще пятьдесят?”

После секунды озадаченного молчания полицейский снисходи-

тельно засмеялся: “Но, герр Шульман, это была лишняя проволока, — мягко, словно ребенку, объяснил он. — Когда террорист заряжал бомбу, у него наверняка был избыток провода. Так что он — или она — просто бросил его в чемодан. Чтоб не оставлять следов. Просто лишний провод, без всякого значения”.

Все вздохнули с облегчением, и Алексис увидел Шульмана уже в дверях: он на миг приостановился, вполоборота выходя, и поднял руку с часами в направлении Алексиса. Глаза их не встретились, но Алексис понял, что он приглашен на ланч. Он отделился от слушателей и вышел в коридор. Шульман ждал его. На улице они дружно сняли пиджаки, и Шульман скатал свой в скатку, как шинель, пока Алексис подзывал такси. Они поехали в итальянский ресторанчик на окраине Бад Годесберга. До сих пор Алексис ездил туда только с женщинами, а как гурман, он очень ценил первый раз.

.....

По дороге они почти не разговаривали. В итальянском ресторане на склоне Сицилийского Холма хозяин встретил Алексиса с угодливым восторгом и накрыл для них большой стол в оконной нише, который мог бы вместить шестерых. Алексис, который знал пейзаж за окном назубок, увидел его сейчас заново глазами Шульмана: извилистую ленту Рейна, старый город за рекой и коричневые холмы над городом. Алексис заказал виски себе и Шульману. Шульман не возражал.

Окинув взглядом коричневые холмы и зеленую реку, Шульман сказал: “Если бы Вагнер оставил в покое Зигфрида, мир не докапался бы до такого безобразия”.

На миг Алексис не осознал того, что услышал: он был голоден и утомлен. А услышал он немецкий язык — грубоватый, гортанный судетский его диалект, сопровождаемый лукавой усмешкой заговорщика. Тут принесли виски, и они дружно выпили без особых немецких тостов и церемоний, совсем по-еврейски — мелькнуло в мозгу Алексиса.

“Говорят, вы переходите на новую работу, — продолжал Шульман по-немецки, — важнее, но незначительней. Теперь, когда я знаю вас и знаю ваших людей, меня не удивляет, что они хотят от вас избавиться”.

Алексис сделал попытку не выразить удивления. Все, что он

сам знал о новом своем назначении, было смутным и считалось большим секретом.

“У нас в Иерусалиме, — Шульман глядел на холмы за окном, — человек тоже зависит от прихотей начальства. Приходится с этим смиряться”, — протянул он устало и добавил: “И избранница ваша тоже слишком хороша для них”.

подавив желание переключить фокус беседы на свою личную жизнь, Алексис навел разговор на совместную борьбу с террором. Шульман пожаловался, накручивая спагетти на вилку: “В прошлом году при одном расследовании мы обратились к итальянским друзьям. Предъявили им славные доказательства, дали хорошие адреса. И вскоре узнали, что они арестовали нескольких итальянцев, пока те, кто нас интересовал, спокойно загорали в Ливии, подготавливая следующую акцию”. Он накрутил на вилку следующую порцию спагетти. “В марте, в другом случае, все произошло точно так же, только на этот раз нашим союзником был Париж. Кое-кто из французов был арестован, но арабы... — он пожал плечами. — Может, это практично, учитывая нефтяной кризис и экономические проблемы. Но при чем тут правосудие? В результате мы стали очень разборчивы. Предпочитаем сказать слишком мало, чем слишком много. Тем, кто к нам расположен, кому мы доверяем — людям вроде вас, — мы готовы раскрыть свои карты. По-дружески, неофициально. Такой человек может использовать нашу информацию в своих интересах, — мы любим, когда наши друзья преуспевают. Но мы хотим получать за это нашу долю. Мы рассчитываем на взаимность. Особенно со стороны друзей”.

Так Шульман сформулировал свое предложение. Алексис же вообще ничего не формулировал, — он выразил свои симпатии молчанием. И Шульман, правильно оценив это молчание, продолжил беседу так, словно договор был уже заключен:

“Несколько лет назад группа палестинцев начала терроризировать наших людей. Обычно такими делами занимаются люди грубые, простые, крестьянские дети, желающие попасть в герои. Если мы не ловили их после первого взрыва, они попадались после второго. Люди, о которых идет речь, были организованы иначе — ими кто-то руководил. Они знали, как передвигаться, как ускользать от слежки, как заматывать следы, как передавать приказы. Сначала они взорвали супермаркет, потом школу, потом еще один магазин. Затем они переключились на солдат, возвраща-

ющихся из отпуска, и в дело вмешалась пресса. Мы искали их повсюду, мы узнали, что они живут в пещерах в Иорданской долине, но не смогли их найти. Арабская пропаганда называла их "героями Восьмой Бригады", но мы знали, что Восьмая Бригада не может чиркнуть спичкой без того, чтоб мы услышали шорох за секунду до вспышки. Ходили слухи, что это братья, семейная организация. Один стукач насчитал троих, другой четверых. Но наверняка братья, проживающие в Иорданской долине.

Мы создали специальное подразделение — из надежных оперативников высшего класса. Палестинский руководитель не доверял никому, у него не было иллюзий насчет арабской верности. Его мы так и не нашли. Двое других были не столь осторожны. Один брат влюбился в девушку из Аммана и как-то на рассвете вышел из ее дома прямо под автоматную очередь. Второй брат имел глупость принять приглашение своего друга из Сидона. Наши бомбардировщики разнесли его машину в клочья на прибрежном шоссе.

К тому времени мы уже знали, что их семья возделывала виноград в деревне около Хеврона, которую покинула после войны 67-го года. Был еще четвертый брат, но он считался слишком молодым для таких дел, даже по палестинским стандартам. Были еще две сестры — одна погибла при ответной бомбардировке к югу от реки Литани. Мы продолжали искать нашего человека, но он затаился, смолк, исчез. Шесть месяцев прошли — ничего. Год прошел — никаких признаков жизни. Мы решили, что его убил кто-то из своих, у них это очень принято. Мы слышали, за него взялись сирийцы, так что он вполне мог отправиться на тот свет. Но несколько месяцев назад мы узнали, что он в Европе. Собрал себе здесь новую бригаду, в основном из молодых немцев. Он руководит ими издалека, играет перед ними роль арабского Мефистофеля".

В наступившем молчании Алексис попытался прочесть чувство, запечатленное на лице Шульмана. Солнце стояло высоко над холмами и слепило глаза. Алексис слегка наклонил голову и вгляделся получше. В молочную пленку, застлавшую Шульману глаза, в неестественно внезапную мертвенную бледность его кожи. И вдруг его озарило. Он узнал это чувство: как некоторые люди бывают наэлектризованы любовью, Шульман был наэлектризован ненавистью.

.....

Шульман уехал в тот же вечер. Кое-кто из его людей болтался в Бонне еще два-три дня, но и они отбыли. А еще через месяц Алексиса, как и предсказывал Шульман, перевели в Висбаден. Кабинетная работа, формально — повышение по службе, фактически — полная утеря власти и влияния. Какой-то бойкий журналист сострил, что потеря Бонна будет скомпенсирована выигрышем телезрителей. Единственным утешением Алексиса в этот час испытания, когда немецкие друзья поспешно проходили мимо него, было короткое письмо с почтовым штемпелем Иерусалима, приветствующее его в первый день нового назначения. Короткая приписка от Шульмана подтверждала, что и в Иерусалиме все, как у других: “Если я не решу свою задачу вскоре, меня ждет ваша судьба. Ваш Шульман”. Алексис оставил письмо в открытом ящике, где каждый мог его прочесть и несомненно прочел. Он ясно осознавал, что Шульман намеренно создавал невинную базу для их будущих отношений. А еще через пару недель, когда он со своей молодой возлюбленной совершал безрадостное бракосочетание, единственной утехой его были розы от Шульмана. А ведь он даже не сообщил Шульману, что собирается жениться!

Розы эти были как обещание нового романа, в котором Алексис так нуждался!

2

Почти восемь недель прошло, пока человек, которого Алексис знал под именем Шульмана, вернулся в Германию. Его целью было на простое наказание убийц, его задача была куда обширней и сложней. Вот уже несколько месяцев его люди искали то, что он называл окном, достаточно широким, чтобы сквозь него кто-нибудь мог проникнуть в дом врага и прикончить его, вместо того чтобы крушить его артиллерией и танками с фасада, как предпочитали многие в Иерусалиме. После взрыва в Годесберге они, похоже, что-то нащупали. И пока немецкие следователи пытались связать воедино свои несущественные находки, сотрудники Шульмана тайно нащупывали узлы сети, раскинутой от Анкары до Восточного Берлина. Возникло впечатление, что знакомая рука сплела ее в Европе в той же манере, в какой плела когда-то на Ближнем Востоке.

Шульман прилетел не в Бонн, а в Мюнхен, причем с паспортом

вовсе не на имя Шульмана, так что ни Алексис, ни его гамбургский соперник не подозревали о его появлении. Настоящее имя его было Курц, и он употреблял его так редко, что мог однажды и вовсе позабыть.

Он прибыл в Мюнхен из Тель-Авива через Стамбул, сменив паспорт дважды и пролетев над Европой три раза в противоположных направлениях. Всюду по пути он встречал разных людей, рассказывал им выдуманные и полуправдивые басни, потрясал их своими замыслами и заручался в конце концов их поддержкой. Спать ему было некогда. В Иерусалиме шутили, что Курц спит так же быстро, как думает. Они восхищались им — автором самой грандиозной европейской авантюры: ведь он, который торговался и врал даже в своих молитвах, приносил удачу еврейским замыслам, как никто другой.

Начальство не слишком любило его — он был чересчур парадоксален, стремителен и непочтителен к авторитетам. Для своего шефа, Миши Гаврона, он всегда оставался чужим, подозрительным дилетантом: у него не было постоянной должности, и он ее не добивался. Он не был сабррой, и ему здорово не хватало элитных связей детства и юности — по школе, по армии, по кибуцу. Он любил диаспору и сделал ее своей профессией, в то время как остальные его коллеги относились к ней с ревнивым пренебрежением. Он мог сражаться, в случае нужды, на многих фронтах враги, если перед ним закрывали дверь, ловко проникал через окно. Ради любви к Израилю. Ради мира. Ради умеренности. И для собственного удовольствия.

На какой стадии охоты он придумал этот план, не знал, пожалуй, и сам Курц. Но он заявил тогда, на бурном заседании у Гаврона, что выхода нет — мы должны взять врага живьем в его доме, а не то эти клоуны из Кнессета, охотясь за ним, разнесут в клочья всю нашу цивилизацию. Ходили слухи, что задумал он все гораздо раньше. Во всяком случае, начал подготовку операции задолго до заседания у Гаврона и официальной санкции начинать. Чем весьма рассердил Гаврона, которого все звали Вороном — за польский смысл его фамилии и за испепеляющий гортанный крик в минуты гнева.

Найдите мальчишку, сказал Курц своим людям, и тогда мы размотаем клубок. Он так свирепо вдалбливал им это, что они порой втихую ненавидели его. Он мог позвонить из любого места мира в любой час ночи, чтобы спросить, как обстоят дела с маль-

чишкой. Как, вы все еще не нашли его? Он все еще топчет землю, этот убийца? Курц отменил свой отпуск, Курц работал по субботам и тратил собственные скудные сбережения на свои замыслы, не дожидаясь, пока ему утвердят правительственный бюджет. Он вызывал резервистов из их университетских кабинетов и заставлял работать бесплатно, чтобы ускорить осуществление плана. Найдите мальчишку, и он приведет нас к цели. Однажды он придумал мальчишке кодовое имя — Янука, что по-арамейски и означало “Мальчишка”. “Найдите мне Януку, и я принесу вам на блюдечке всех остальных”.

И ни слова Гаврону-Ворону. До времени.

.....

В его ненаглядной диаспоре у него было без числа союзников — от владельцев картинных галерей и киномагнатов до продавцов подержанных автомобилей. В Англии его несколько раз видели в театре, всегда на одном и том же спектакле, однажды в сопровождении израильского культурного атташе, хотя темой их разговора была вовсе не культура.

В городе Кэмден он дважды ел в скромном индийском ресторане, а потом осмотрел старинный викторианский особняк к северу от Фрогнала и признал его подходящим. Но никаких сделок пока, заявил он владельцам особняка, только когда придет время. Они были согласны ждать. Они были согласны на все, они гордились своим знакомством с ним, они смотрели ему в рот и готовы были ради него и ради Израиля на любые жертвы, даже на переезд в Марлоу на несколько месяцев, если потребуется. Ведь у них была квартира в Иерусалиме, где каждый год они проводили две недели на Песах. Они бы, собственно, давно переехали в Израиль, да вот дела не давали. И не лучше ли дожидаться, когда дети перерастут призывной возраст и уровень инфляции снизится? А пока они могут быть полезны и делать все, что Курц от них потребует.

В своих путешествиях Курц не упускал ни мельчайшей детали израильской жизни. В полетах он тоже не тратил время зря: он читал в самолетах радикальную литературу всех оттенков, его тощий подручный по имени Шимон Литвак всегда возил в чемоданчике большой ее запас. Однажды он узнал, что в Иерусалиме на улице Дизразли недорого сдается дом номер 11, и велел тайно снять его и оборудовать.

“Я слышал, вы нас покидаете”, — сказал назавтра Миша Гаврон: он уже начал что-то подозревать. Но Курц не собирался раскрывать свои карты. Пока, до времени. Он заблаговременно добился автономии для оперативного отдела.

Номер одиннадцать оказался арабским домом, небольшим, но прохладным, с лимонным деревом перед входом, населенным двумя сотнями кошек, так что его вскоре прозвали Кошкин Дом. Штат у Курца был надежный и дружный, — никаких утечек информации.

Через пару дней произошел несчастный случай, который можно было предвидеть, но не предотвратить. Он был ужасен, но служил своей цели. Молодой израильский поэт, приглашенный для вручения премии Лейденского университета в Голландию, был разорван в куски бомбой, упакованной в посылку, которую в то утро доставили в отель с поздравлениями в честь его двадцатипятилетия. Когда Курцу сообщили о взрыве, он выслушал сообщение, как боксер, готовый нокаутировать противника: глаза его сузились, и через полчаса он был в кабинете Гаврона с папками под мышкой и двумя вариантами своего плана в руке — одним для Гаврона лично, а другим, более туманным, для его оргкомитета, состоящего из нервных политиков и кровожадных генералов.

Что произошло между ними, до конца неизвестно. Оба не склонны были рассказывать больше, чем надо. Но назавтра Курц вышел на поверхность, официально составляя свой боевой отряд. Самым младшим среди них был двадцатитрехлетний Оded из родного кибуца Литвака, а старейшим — семидесятилетний грузин по фамилии Богашвили, которого для краткости все звали просто Швили. Швили начал свою карьеру в родной Грузии как контрабандист, но к середине пути превратился в специалиста высшего класса по фальшивым документам. (Своей вершины он достиг в камере на Лубянке, где изготавливал для своих сокамерников фальшивые паспорта, используя как сырье старые номера газеты “Правда”. Выехав из России, он нашел применение своим талантам в области изящных искусств, выступая одновременно как создатель прекрасных подделок и как эксперт по их обнаружению. Он клялся, что несколько раз имел удовольствие разоблачить собственные шедевры.)

В помощь Швили Курц подобрал весьма разномастную пару. Один — выпускник лондонского университета по имени Леон, который после многолетних поисков вдруг осознал свое еврейство,

автор неудачного романа и редактор одного из многочисленных неприбыльных тель-авивских еженедельников. Курц сказал ему: “Теперь ты будешь писать для меня. Читателей у тебя будет мало, но все они будут истинные ценители”.

Второй сотрудницей Швили стала мисс Бах, произведшая когда-то на Курца неизгладимое впечатление своими талантами в сочетании с нееврейской внешностью, благодаря которой она проработала несколько лет в Дамаске инструктором в фирме, торгующей компьютерами. В результате она ознакомила израильскую разведку с мощностью и расположением сирийской противовоздушной обороны, вернулась в Тель-Авив и скучала в ожидании новых заданий.

Этих троих Курц называл своим литературным центром.

.....

В Мюнхене его работа была административной, но он вел ее с исключительной щепетильностью. Там у него было шесть человек, разбитых на две группы с совершенно разными задачами. Одна состояла из двух оперативников, вынужденных выполнять работу, рассчитанную на пятерых. Они выбрали Курца не в аэропорту, а в захудалом кафе в Швабинге, спрятали в кузове строительного пикапа и отвезли в Олимпийскую деревню, где припарковались в одном из темных подземных гаражей, облюбованном проститутками обоего пола. Из гаража они провели его по винтовой лестнице в небольшую двухэтажную квартиру, снятую ими на короткий срок. На улице они говорили с ним по-английски, величая его “сэр”, в квартире перешли на иврит и на почтительное “Марти”.

Квартира занимала юго-западный угол верхнего этажа и была набита фотооборудованием. Скрипучая лестница вела мимо узкой галерейки к небольшой — четыре на три — спальне с чердачным окном. Окно это сперва перекрыли толстым одеялом, а затем забили досками и картоном, переложив их войлочными прокладками. Стены, пол и потолок спальни были сплошь покрыты мягкой звуконепроницаемой обивкой, какой обивают палаты буйных в психушках, а дверь обшита стальным листом с вмонтированным в центре глазком из бронированного стекла.

Северные окна квартиры выходили на мрачное шоссе, ведущее в Дахау, где тысячи евреев погибли в газовых камерах, а один из соседних домов хранил неостывшую еще память об израильской олимпийской команде, похищенной и убитой палестинцами.

Этажом ниже квартира под ними пустовала, так как ее бывший хозяин недавно покончил жизнь самоубийством. Курц тут же счел целесообразным снять и ее, о чем дал указание по телефону специальному адвокату в Нюрнберге. Ребята, жившие в квартире, выглядели довольно расхристанными, а младший — Одед — запустил бороду. Они никого не впускали в квартиру, хотя порой для маскировки объявляли соседям, что сегодня у них будет пьянка, которая проявлялась вовне в виде громкой музыки и пустых бутылок в мусорном ящике. И никаких женщин, до возвращения в Иерусалим.

После того как они с Курцем обсудили транспортные, технические и финансовые проблемы, они вывели его на прогулку. Его провели мимо студенческих трущоб, мимо керамической мастерской и плавательной школы для младенцев, а потом как-то само собой оказалось, что они стоят возле этого проклятого дома, где почти десять лет назад кровавый налет палестинцев на израильскую команду ужаснул мир. Одиннадцать имен были выгравированы на иврите и на немецком на каменной доске у входа — но им было бы одинаково больно, будь их только одиннадцать или одиннадцать тысяч.

Из Олимпийской деревни они отвезли Курца в центр города, где он намеренно затерялся в толпе, пока ребята из пикапа не подали ему знак, что хвоста за ним нет и он спокойно может отправляться на следующую встречу, которая была назначена на верхнем этаже богатого жилого дома в одном из самых элегантных кварталов Мюнхена. Курц прошел узкой улицей, мощенной булыжником, толкнул тяжелую дверь подъезда и поднялся по мрачной лестнице. Дверь распахнулась перед ним, как только он ступил с лестницы на площадку: за ним следили издали с помощью домашнего телеглаза. Он вошел молча — двое, следившие за ним из квартиры, были постарше, чем ребята из Олимпийской деревни, скорей отцы, чем дети, с лицами бледными от многодневного затворничества. Это были сотрудники отдела статического наблюдения — закрытая секта, даже в Иерусалиме. Окна были прикрыты кружевными гардинами, на улице и в квартире стояли сумерки. Комната была до отказа набита электронными и оптическими приборами, яркие экраны которых только усиливали сумеречную печаль этой захлавленной квартиры.

Там, за кофе с сыром и крекерами, старший из наблюдателей по имени Ленни нарисовал полную картину жизни Януки — под-

робности его телефонных разговоров, привычки его последних друзей, туалеты его последних подруг. В любом другом случае Курцу быстро бы надоело выслушивать подробности, которые он уже прекрасно знал до прихода сюда, но, не желая обидеть Ленни, он внимательно слушал, сочувственно кивая и причмокивая в нужных местах.

“Обыкновенный молодой человек, — сообщил Ленни вдумчиво, — все его любят — его друзья, его поставщики. Он неплохо учится, любит поговорить, у него здоровый аппетит ко всему, — и добавил смущенно: — Порой трудно поверить, что существует другая сторона его жизни”.

В окне мансарды дома напротив зажегся свет — оранжевый прямоугольник окна на фоне темной стены выглядел любовным сигналом. Сотрудник Ленни на цыпочках подошел к подозрительной трубе, укрепленной на стенде, сам Ленни присел на корточки у радиоприемника, прилаживая наушники.

“Хочешь глянуть, Марти? — предложил Ленни. — Пока он не задернул шторы. Что ты там видишь, Ешуа? Янука наряжается перед свиданием? Опять небось с новой красоткой?”

Мягко отстранив Ешуа, Курц прильнул к объективу трубы.

“Видишь эти книги на полках? Мальчишка глотает их, как мой дед”, — сказал Ленни.

“Да, симпатичный парень, — согласился Курц распрямляясь. — И красивый, ничего не скажешь. — Он начал натягивать плащ. — Но все же постарайся не женить его на своей дочери”. Ленни смутился еще больше, но Курц словно и не заметил: — И побольше фотографий. В разных ракурсах. Пленку можно не жалеть”.

Попрощавшись с каждым за руку, Курц нахлобучил пониже синий берет и быстрым шагом вышел на улицу.

.....

Когда они снова усадили его в пикап, шел сильный дождь. На этот раз за рулем сидел Овед, его бородатое юное лицо было мрачным.

“Какая у него сейчас машина?” — спросил Курц, хотя знал ответ заранее.

“БМВ, новенькая, прошла не более пяти тысяч километров. Машины — его слабость”, — ответил Овед.

“А также девочки и сладкая жизнь, — заметил второй парень. — А что его сила, хотел бы я знать”.

“Машина опять взята напрокат?” — спросил Курц.

“Опять напрокат”, — ответил Овед.

“Не спускайте с нее глаз, — приказал Курц. — Как только он сдаст ее в агентство и не возьмет другую взамен, сообщайте немедленно”. Они слышали это уже тысячу раз. Но Курц все равно повторил: “Это самый главный момент — когда Янука сдаст машину”.

И тут наконец Одеда прорвало, он был слишком молод, чтобы терпеть долго. Он притормозил у обочины так резко, что чуть не сорвал ручной тормоз.

“Чего мы тянем? — заорал он. — Почему разрешаем ему гулять по свету? А если он сейчас уедет домой и не вернется? Что тогда?”

“Тогда мы его потеряем”.

“Так лучше убьем его, и все. Прямо сегодня! Только прикажите, и я убью его сам!”

Курц молчал.

“Почему нет?” — заорал Овед еще громче.

Курц и тут не взорвался, он пояснил терпеливо: “Потому что он еще никуда нас не привел. Как говорит Миша Гаврон: хочешь поймать льва, сначала стреножь козу”.

“Бад Годесберг — его рук дело! И Лейден! И многое другое. Сколько еще людей погибнет, пока мы играем в наши игры?”

Курц сгреб Одеда за шиворот своей широкой лапой и сильно встряхнул, стукнув его при этом головой об оконную раму. Овед не обиделся, а Курц не стал извиняться.

“Их рук, ИХ, а не ЕГО, — на этот раз голос Курца был полон ненависти. — Они взорвали бомбу в Бад Годесберге. И в Лейдене. ОНИ. И мы охотимся на них, а не на одного глупого мальчишку”.

“Ладно, все в порядке, — пробормотал Овед. — Отпусти”.

“Не все в порядке, Овед. У Януки есть друзья и родственники, с которыми он меня пока не познакомил. Ты хочешь участвовать в этой операции?”

“Я сказал — все в порядке”.

Курц отпустил воротник Одеда, и тот включил мотор. Курц предложил продолжить прогулку по любимым местам развлечений Януки. Они посетили его излюбленный ночной клуб, магазин, где он покупал рубашки и галстуки, парикмахерскую, где он стригся, и книжную лавку левого направления, где он часто рылся в книгах. По дороге в аэропорт все молчали. Прощаясь, Курц хлопнул Одеда по плечу и потрепал его волосы:

“Слушайте, вы оба, не перегибайте палку. Сходите в кино, поубейте в хорошем месте — за мой счет. Идет?”

Он сказал это тоном командира, позволившего себе нотку нежности перед боем. Ведь он и был командир перед боем — пока Миша Гаврон ему это позволял.

.....

Ночной полет из Мюнхена в Берлин над восточногерманским коридором в трескучем самолете компании “Пан Американ” — последнее ностальгическое путешествие, которое еще осталось в Европе. “Люфтганзу” в Берлин не пускают. Фюзеляж панамериканского самолета вспарывает облака, свет то и дело гаснет, и вы уже не верите, что где-то крутятся пропеллеры. Вы глядите сверху на темную вражескую территорию — разбомбить? спрыгнуть с парашютом? — запутавшись в собственных воспоминаниях и мировых войнах, и физически ощущаете, что мир разделен на два лагеря.

Курц не был исключением.

Как всегда, когда он летел в Берлин, он становился свидетелем собственной жизни. Где-то в этой темноте на запасных путях стоял состав товарных вагонов, куда были напиханы сотни евреев и среди них он и его мать. Потом мать умерла, а маленький мальчик из Судет, который и был он, голодал, воровал и убивал, чтобы выжить во враждебном мире. Потом были союзники, пересыльный лагерь и скрипучий корабль, черный от еврейских голов на палубе. Ему пришлось натянуть на голову вязаный чулок, чтобы скрыть свою белокурость. Но он был им нужен, хоть блондин, хоть лысый — они учили его стрелять из ружья Ли-Энфилда, украденного у англичан. До Хайфы было два дня пути, и войны его все были впереди.

Самолет стал заходить на посадку. Курц следил, как он пролетал над Стеной. У него был только ручной багаж, но формальности были затяжные — из-за террористов, — так что он вышел из аэропорта совсем поздно.

Шимон Литвак ждал его в машине. Он прилетел из Лейдена, куда ездил осматривать последствия взрыва. Как и Курц, он давно отказался от права на сон.

Он сказал без предисловий: “Бомбу принесла девушка. Привле-

кательная брюнетка. В джинсах. Швейцар решил, что она из университета, он уверяет, будто она приезжала и уезжала на велосипеде. Но я сомневаюсь. Есть свидетели, уверенные, что ее привезли на мотороллере. На ленте, перевязывавшей пакет, было написано: "Поздравляю с днем рождения, Мордохай". Ничего нового: четкий замысел, бомба, девушка".

"Какая взрывчатка?"

"Русский пластик. Никаких особых примет".

"Никакого фирменного знака?"

"Остаток красного провода скручен спирально, в виде куклы".

Курц вопросительно поднял брови.

"Никаких остатков провода, — сознался Литвак, — только обуглившиеся обрывки".

"И прищепки тоже нет?" — спросил Курц.

"На этот раз он предпочел пружинку от кухонной мышеловки". Литвак включил зажигание.

"Это не первая мышеловка, у него и раньше они встречались", — ответил Курц, по лицу его пробежали отсветы уличных фонарей.

Они помолчали, потом Литвак выпалил, искоса поглядывая на шефа: "Большая честь для Гиди, что ты прилетел в Берлин ради него. Нет, чтобы вызвать его к себе, ты сам потащился в его город".

"Это не его город, — сказал Курц благодушно. — Он здесь временно — изучить новую профессию, начать новую жизнь. Только для этого Гиди живет в Берлине".

"После Иерусалима жить на этой помойке! Даже ради новой карьеры я б не стал!"

Курц не стал на это отвечать, да Литвак и не ждал ответа. "Он выполнил свой долг, и ты это знаешь не хуже меня. Он работал в тылу врага, он сделал все что мог. Почему бы ему не начать все сначала?"

Литвак не привык сдаваться без сопротивления: "Почему не оставить его в покое?"

Они въехали в ледяной огонь Курфюрстендама, и Курц бросил кратко:

"Потому что он подходит на эту роль, — и переменял тему: — Как его зовут сегодня?"

"Бекер".

Курц был разочарован: "Гиди Бекер? Что за дурацкое имя для сабры!"

“Это немецкий вариант ивритского варианта немецкого варианта его фамилии, — пояснил Литвак без улыбки. — По требованию своих новых хозяев он из израильтянина превратился в еврея”.

“А как обстоит дело с дамами?” — спросил Курц.

“Ночь тут, ночь там. Ничего серьезного”.

“Что ж, может, он в конце концов вернется к этой славной девочке Фрэнки, которую он, по-моему, не должен был бросать”.

Они въехали в боковую улочку и остановились возле трехэтажного кирпичного дома, первый этаж которого занимал оптовый магазин женского платья.

“Верхний звонок, — сказал Литвак, — два долгих, три коротких, и он сам откроет. Они дали ему квартиру над магазином”. Курц выбрался из машины. “Желаю удачи”. Литвак следил, как он пересек улицу и поднял руку к звонку. Дверь открылась тут же, словно за ней кто-то давно уже поджидал Курца, как оно, наверно, и было. Литвак видел, как плечи Курца опустились, а руки поднялись, чтобы обнять кого-то, кто был гораздо тоньше и стройней. Дверь за ним закрылась.

Ужаленный ревностью, Литвак отправился в свой дешевый пансион, где никак не мог уснуть. Без пяти семь он уже остановил машину у двери, за которой ночью исчез Курц. Литвак нажал звонок, подождал немного и услышал неторопливые шаги. Дверь распахнулась, Курц вышел, благодарно кивнул и смачно потянулся. Он был небрит и без галстука.

“Ну?” — спросил Литвак, как только они сели в машину.

“Что ну?”

“Что он сказал? Он возьмется за это дело или останется здесь кроить платья для польских дамочек?”

Похоже было, что Курц удивился. Он опустил руку с часами, на которые собирался было взглянуть: “Что за вопрос! Он ведь израильский офицер, — и добавил с улыбкой: — Сначала он и впрямь заявил, что предпочитает кроить дамские платья, но тут я стал вспоминать о подробностях его задания по ту сторону Суэца в 67-м. Тогда он сказал, что этот план невыполним, и я напомнил ему о невыполнимости того плана, который он так блестяще выполнил в Триполи под видом ливийского купца. Тогда он сказал: “Найдите кого помоложе”, — что было уже вовсе несерьезно, и мы стали обсуждать подробности операции, сопоставляя их с его ночными походами на ту сторону Иордана. Вот и все”.

“А как насчет сходства? Он достаточно похож?”

Лицо Курца стало суровым: “Если мы постараемся, он будет похож достаточно. А теперь хватит о нем, а то ты разобьешь мое сердце”.

Они оба засмеялись, и Литвак почувствовал, как ревность уступает место радости. Он был склонен к стремительным переменам настроения, он был сирота из Литвы, без единого родственника на земле и прекрасно играл на роале.

.....

Похищение — операция пустяковая. Опытная команда может в наши дни провести похищение так, что комар носу не подточит. Существенна в этом деле только потенциальная ценность улова. Тут обошлось без всякой стрельбы и других неприятностей, просто винно-красный “Мерседес” был похищен вместе с водителем где-то на греческой территории в тридцати километрах от греко-турецкой границы. Операцией руководил Литвак — как всегда, блистательно. Курц, которому пришлось срочно вылететь в Лондон для разрешения очередного кризиса в работе литературного центра, провел критические часы у телефона в израильском посольстве. Мюнхенские ребята, доложив куда следует о сдаче в агентство наемной машины без замены на другую, проводили Януку до аэропорта. Через три дня он объявился в Бейруте, где радиоподслушиватели, расположенные в подвале одного из домов палестинского лагеря, засекли его телефонный разговор с родной сестрой Фатме, которой он сообщил, что приехал на две недели отдохнуть и поведаться с друзьями.

Снова на его след напали уже в Стамбуле, где он поселился в “Хилтоне” как гражданин Кипра и два дня посвятил религиозным и светским удовольствиям. Он не менее трех раз молился в мечети Сулеймана Великолепного, а потом, почистив туфли от Гуччи у чистильщика, пил чай с двумя молчаливыми типами в кафе у Южной Стены. Фотографии двух его собеседников так и не были опознаны никем — похоже, это был ложный след.

Потом он долго сидел на скамье среди желтых и малиновых клумб в саду на площади Султана Ахмеда, задумчиво следя за стойкой хихикающих американских школьниц. Потом он купил пачку открыток у маленьких городских попрошаек, не смутясь головокружительными ценами, и отправился к собору Святой Софии, радуясь в равной мере красотам Юстиниановой Византии и ее

Оттоманского разрушителя. Но главное внимание он сосредоточил на мозаиках Августина и Константина, украшающих церковь Девы Марии, ибо именно там была назначена его тайная встреча с медлительным парнем в штормовке, который тут же стал его гидом. Бок о бок они вновь оглядели все красоты архитектуры, а потом дружно отправились к Босфору на старом американском плимуте и припарковались недалеко от шоссе на Анкару. Потом плимут уехал, снова оставив Януку в одиночестве, но на этот раз одиночество его не было полным — Янука разделил его с красной машиной марки “Мерседес”, на которой он прикатил обратно в “Хилтон”, зарегистрировав ее как свою.

В этот вечер Янука не выходил из отеля, он даже не пошел поглазеть еще раз на танец живота, который так восхитил его накануне, а рано утром следующего дня выехал на запад в сторону Ипсалы. Он выпил кофе в сонном городишке по дороге и сфотографировал аиста, свившего гнездо на куполе мечети. День становился все жарче. На такой дороге у преследователей Януки не было другого варианта, как гнать одну машину далеко впереди “Мерседеса”, а другую — на большом расстоянии позади, моля Бога, чтобы он не вздумал нырнуть в одну из боковых развилок. Добравшись до Ипсалы, он вдруг свернул к центру города, вместо того чтобы проследовать по шоссе в направлении границы. Чего ему понадобилось в этой вонючей пограничной дыре? Уж не намерен ли он сменить машину?

Нет, причиной был Бог. В ничем не примечательной мечети на главной площади Янука в который раз вверил себя Аллаху, что, как отметил Литвак, было в его случае очень кстати. Когда он выходил из мечети, его укусила маленькая злая собачка, что тоже можно было рассматривать как дурное предзнаменование.

В конце концов, ко всеобщему облегчению, он вернулся на шоссе, чтобы пересечь границу. Он проехал по узкому мосту через вязкую зеленую реку и постарался проскочить побыстрее мимо турецких пограничников, пользуясь своим дипломатическим паспортом. Он преуспел в этом, значительно приблизив свой роковой час. На ничьей земле между Турцией и Грецией он купил себе бутылку не облагаемой налогом водки и съел порцию мороженого в маленьком кафе, под наблюдением длинноволосого паренька по имени Рувен, который вот уже три часа пил там кофе с булочками. Как только Янука проехал мимо грозного бронзового бюста Ататюрка, мрачно глядящего из Турции на Грецию, Рувен

вскочил на припаркованный у дверей кафе мотороллер, послал условный сигнал Литваку, который ждал в тридцати километрах на греческой земле, там, где дорога сужается из-за ремонтных работ, и помчался вслед за "Мерседесом", чтобы не пропустить зрелище.

В качестве приманки они использовали девушку, дав ей в руки гитару для убедительности, ибо в наши дни гитара есть признак определенной социальной группы, даже если девушка не умеет на ней играть. Они долго колебались между блондинкой и брюнеткой, зная пристрастие Януки к блондинкам, хоть брюнетками он тоже не брезговал. В конце концов они предпочли все же брюнетку, так как у нее был более аппетитный зад и более игривая походка. Она поджидала Януку там, где кончались дорожные работы. Они верили, что дорожные работы были подарком самого Господа Бога.

Асфальтовая полоса обрывалась внезапно, чтобы смениться колючим щебнем, величиной в теннисный мяч каждый. За щебнем начинался узкий деревянный настил с ограничением скорости не выше десяти километров в час, и только безумец ехал бы быстрее. На другом конце настила по пешеходной дорожке семеняла брюнетка с гитарой. Ей было сказано: не верти головой, продолжай идти не спеша, просто подними указательный палец левой руки.

Девушка была такая хорошенькая, что они слегка побаивались, как бы кто другой не попытался увезти ее до появления Януки. Остальные затаились на разделительной полосе, замусоренной всяким строительным хламом. Не то чтоб их было слишком много – семеро, включая Литвака и девушку с гитарой: Миша Гаврон не расщедрился на большее. Остальные пятеро были одеты в шорты и туристские башмаки, что придавало им вид кочующих бездельников, способных часами стоять бесцельно в самых неподходящих местах.

Приближался полдень, солнце палило нещадно, пыль ела глаза. Мимо тащились тяжелые грузовики со строительной глиной. Лакированный винно-красный "Мерседес" выделялся среди них, как свадебная карета. Он вкатился на дощатый настил со скоростью двадцать км, затем притормозил до десяти и поравнялся с девушкой. Тут Янука обернулся, чтобы убедиться, что лицо девушки не хуже зада – оно было не хуже. Затем "Мерседес" обогнал девушку и выехал на асфальт – на миг Литвак с ужасом подумал, что придется применить второй вариант, требующий добавочных

участников и инсценировку автокатастрофы. Но похоть, или природа, или что там в нас сидит — взяли свое. Янука остановил машину, опустил стекло и, высунув красивую юную голову, стал следить, как девушка грациозно приближается сквозь солнечное сияние. Когда она поравнялась с машиной, он спросил игриво, не намерена ли она идти пешком до самой Калифорнии. Она ответила, тоже по-английски, что идет в Фессалоники — не по дороге ли ему? Он ответил, что с ней ему все по дороге — так, во всяком случае, рассказывает девушка, хоть никто, кроме нее, этого не слышал. Сам Янука впоследствии отрицал, что он вообще ей ответил, так что, возможно, девушка эту фразу сочинила для самоутверждения. Ее глаза смотрели завлекательно, а движения ее были так соблазнительны, что он совсем потерял голову. Что могло быть лучше для здорового арабского парня после двухнедельной суровой тренировки среди ливанских холмов, чем эта одалиска, одетая в потрепанные джинсы?

Поскольку Янука, под стать девушке, был строен и хорош собой, их тут же соединила волна взаимной симпатии — в результате девушка согласно инструкции опустила гитару на землю и стала, грациозно извиваясь, высвобождаться из-под рюкзака. Литвак предсказал, что в ответ на этот жест Янука сделает одно из двух — или откроет заднюю дверцу, или выйдет из машины, чтобы открыть багажник, в любом случае подставляя себя под удар. Литвак знал, что в “Мерседесах” этого выпуска багажник нельзя открыть изнутри, точно так же, как он знал, что даже со своими замечательными арабскими документами Янука не рискнул бы захватить добавочную пассажирку до того, как пересечет турецкую границу.

Янука сделал именно то, о чем Литвак даже и мечтать не смел. Вместо того чтобы, протянув руку, открыть перед девушкой заднюю дверь, он, видимо желая произвести впечатление, с помощью автоматического устройства распахнул сразу все четыре дверцы. Девушка быстро бросила рюкзак и гитару на заднее сиденье. К тому времени, как она, захлопнув заднюю дверцу, двинулась, покачивая бедрами, к передней, чтобы сесть рядом с Янукой, к его виску уже был приставлен пистолет, и Литвак, еще более хрупкий, чем обычно, стоя на коленях на заднем сиденье, зажимал шею Януки мертвой локтевой хваткой левой руки, пока правой вводил ему под кожу наиболее действенное снотворное.

Впоследствии выяснилось, что всех особенно поразила абсолютная беззвучность операции. Тишина была столь полной, что

Литвак услышал, как хрустнули под колесами проезжающей машины солнцезащитные очки Януки, и на миг ужаснулся, что это хрустнула его шея. Поначалу они никак не могли найти запасные фальшивые номерные знаки и документы для дальнейшего путешествия, но и те, и другие оказались в щегольском чемодане Януки под полудюжиной рубашек и фирменных галстуков, которые они вынуждены были конфисковать в целях осуществления дальнейшего замысла, — вместе с золотыми часами от Челлини, массивным золотым браслетом и чеканной нагрудной золотой цепочкой, по легенде — подарком любимой сестры Фатме. К удачам этого дня добавилась еще одна: окна “Мерседеса” были изготовлены из специального матового стекла, так что снаружи ничего не было видно. Они могли бы, по всей вероятности, проехать на красной машине через всю Грецию без особых проблем, но мудрый Литвак предпочел погрузить ее на специально нанятый грузовик с пчелиными ульями. В этом районе бойко идет торговля пчелами, и даже самый ретивый полицейский десять раз подумает, прежде чем влезет в кузов грузовика, полный пчел.

Единственной проблемой оставался укус сердитой собачки возле мечети — как знать, а вдруг она была бешеная? Пришлось вкатить спящему Януке дозу сыворотки, купленной наспех в придорожной аптеке.

.....

Главное теперь было, чтобы ни в Бейруте, ни в каком другом месте не заметили исчезновения Януки. Было известно, что Янука обладал натурой беспечной и легкомысленной. Он возвел в принцип непредсказуемость своих путей и склонность к внезапной перемене планов — частично по прихоти, частично из конспиративной осторожности. Кроме того, в последнее время он увлекся античным греческим искусством и мог запросто свернуть с дороги ради какой-нибудь находки. Это делало слежку за ним невыносимой, как для его друзей, так и для его врагов. Группа Литвака захватила Януку, изъяла его из обращения и вся обратилась в слух. Но ни по одному из каналов, доступных для прослушивания, не прозвучал сигнал тревоги — похоже, к его штучкам привыкли.

Итак, теперь можно было начинать художественную часть, как называл это Курц. Пора было выдавать результаты, чтобы Миша Гаврон не прикрыл всю их затею, тем более что и сам Гаврон

был в тисках — у его коллег-ястребов в любой миг могло лопнуть терпение. Курц вовсе не хотел, чтобы они снова начали свои разрушительные бомбежки.

Свои надежды на успех предприятия Курц возлагал на Англию.

3

Иосиф и Чарли формально были представлены друг другу на острове Миконос во время позднего ланча в пляжном ресторанчике где-то во второй половине августа, когда греческое солнце палит особенно беспощадно.

“Чарли, поздоровайся с Иосифом”, — сказал кто-то возбужденно, и Чарли послушно кивнула.

Вели себя оба так, словно никакого знакомства не произошло — она протянула было руку и тут же по-школьному ее отдернула, а он окинул ее спокойно оценивающим взглядом.

“А, Чарли, привет”, — и он любезно улыбнулся — ровно настолько, насколько этого требовала вежливость. Это он поздоровался, а не она.

Она сразу заметила эту его солдатскую манеру поджимать губы, прежде чем начать говорить. Голос у него был иностранный и сдержанный, но в нем крылась покоряющая нежность — тайное в нем было важнее явного.

Ее полное имя было Чармиан, но все называли ее Чарли, а порой Красная Чарли — в честь ее рыжих волос и откровенно радикальных взглядов, отражавших ее тревогу о мире и ее реакцию на всякую несправедливость. Весь ее облик как-то не вязался с ее шумной компанией, представляющей театральную труппу в отпуску. Компания была тесная, как семья, она снимала запущенную ферму в полумиле от пляжа, который оккупировала в свое удовольствие. И ферма, и пляж, и отпуск на греческом острове — все это было чудом, принять которое беззаботно могли только актеры. Их благотворителем стала богатая фирма, организовавшая им турне по провинциальным городкам, а потом взявшая на себя расходы по их летнему отдыху. Им купили чартерные билеты, заплатили за ферму и впридачу к этому выдали карманные деньги в счет годовой зарплаты. Только капиталистические свиньи могли позволить себе столь разорительную щедрость.

Чарли отнюдь не была самой хорошенькой из актрис, хоть

выделялась из толпы призывной чувственностью и хорошим характером.

У нее был слишком крупный нос, и на детское лицо ее порой набегала тень преждевременной усталой умудренности. Иногда она играла роль наивной девочки, иногда роль заботливой матери для всех, иногда — их неподкупной и требовательной совести. Они позволяли ей это, потому что в ней был класс — она получила образование в частной школе, так как отец ее был преуспевающий биржевой воротила, хоть кончил жизнь — и она этого не скрывала — за решеткой, посаженный за жульничество. Но это не могло понизить ее класс: класс он класс и есть.

А главное — она была их истинная примадонна. Когда по вечерам они разыгрывали маленькие импровизации для собственного удовольствия, Чарли — если она снисходила до участия в их забавах — была бесспорно лучше всех. А когда они бездельничали, покуривая марихуану и потягивая местное дешевое вино, она лежала в стороне и сердилась. “Ничего, дождитесь только Революции, и вы у меня будете репу полоть до завтрака”, — грозила она им. Революцию она собиралась начать в том богатом пригороде, где прошло ее классное детство. “Мы утопим их вонючие “Ягуары” в их вонючих плавательных бассейнах”, — обещала она им. И они прощали ей все, потому что любили ее.

Иосиф же, как они его называли, не был членом их маленькой семьи. В нем была та особая самодостаточность, которую более слабые принимают за храбрость — он был одинокий волк и не нуждался ни в ком, даже в них. Книга, полотенце, фляжка с водой — вот все, чем он довольствовался. И только Чарли знала, что он не человек, а призрак.

.....

Впервые она заметила его здесь после очередной ссоры с Алистером, которая кончилась ее полным поражением. У нее была поразительная способность впутываться в любовные истории с хамами, и ее сегодняшним хамом был шестифутовый шотландец, пьянчуга по имени Длинный Ал, большой знаток анархиста Бакунина. Он был такой же рыжий, как она, и, когда они, взявшись за руки, отправлялись посреди дня на ферму, все присутствующие чувствовали обжигающую силу их страсти. Но когда они начинали ссориться, слабым душам хотелось спрятаться подальше. Наутро

после ночной ссоры Чарли рано выскользнула с фермы, чтобы пойти в город за газетой и чашкой утреннего кофе. Это случилось, когда она покупала “Геральд трибюн” — явление призрака, чистый случай телепатии.

Это был человек в красном блейзере. Он стоял совсем рядом, у киоска, выбирая себе книжку и не обращая на нее никакого внимания. На нем на этот раз был не красный блейзер, а майка, шорты и сандалии. Те же короткие стриженные темные волосы с проседью на висках, те же внимательные карие глаза, которые неотступно следили за ней полный день в театре Барри в Ноттингеме — сперва на утреннем спектакле, потом на вечернем. То же лицо, на котором время не оставляет следа — совершенное лицо настоящего мужчины, так непохожее на изменчивые актерские маски друзей Чарли.

Она играла Жанну д’Арк и страшно злилась на Дофина, который выбегал слишком далеко на авансцену, так что только к концу первого акта она заметила его — единственного взрослого среди школьников, сидящего в первом ряду в полупустом зале. Она было приняла его за учителя, но, когда дети разошлись, он остался сидеть в первом ряду, что-то читая. А когда занавес поднялся опять в начале вечернего спектакля, он сидел все там же — в центре первого ряда, все так же пожирая ее глазами. И когда занавес опустился, она пожалела, что его от нее отделили.

Несколько дней спустя, в Йорке, когда она о нем почти забыла, она готова была поклясться, что снова видит его, но свет ramпы был слишком яркий и слепил глаза. Но она была уверена, что узнала этот взгляд, это лицо, этот красный блейзер. Он был не похож ни на критика, ни на театрального агента, ни на мецената — слишком стройный и сосредоточенный. А когда она увидела его на третьем спектакле — или ей это показалось? — как раз накануне отъезда в отпуск в маленьком театре на Ист-Энд, она чуть было не бросилась к нему с прямым вопросом: чего ему, собственно, от нее надо? Кто он — охотник за автографами, поклонник талантов или обыкновенный сексуальный маньяк? Но столь свойственное ему выражение глубокой благопристойности остановило ее.

Его внезапное появление тут, в двух шагах от нее, перед газетным киоском, повергло ее в смятение. Она обернулась к нему, но он, казалось, был всецело поглощен выбором книги и даже не поднял на нее глаза, — и она стояла и пожирала его взглядом с еще большей страстью, чем он раньше пожирал ее. Правда, ее

преимуществом были темные очки, которые она надела с утра, чтобы скрыть синяк под глазом. Вблизи он оказался слегка старше, чем она думала, еще тоньше и заостренней, словно подточенный долгой бессонницей. В ответ на ее бесцеремонность он глянул на нее так, словно видел ее впервые. Поспешно бросив "Геральд трибюн" обратно на прилавок, Чарли почти бегом пустилась наутек под гостеприимный навес пляжного кафе.

Я просто спятила, думала она, поднося дрожащей рукой ко рту кофейную чашку. Я все это придумала. Или это его двойник. Надо было принять снотворную таблетку после этой дурацкой стычки с Алом, а то мне уже начинают мерещиться призраки. Но, подняв глаза, она опять увидела его: он сидел совсем неподалеку в соседнем кафе, надвинув на глаза козырек шапочки для гольфа, погруженный в чтение английского перевода книги Дэбре "Мои беседы с Альенде". Как раз вчера она подумала, что неплохо бы ее прочесть.

Он явился по мою душу, подумала она, проходя мимо него беспечной походкой, чтобы продемонстрировать свою независимость. Но разве я ему что-нибудь обещала?

.....

В тот же день он явился на пляж и расположился в десяти метрах от их семейки. В черных плавках и в белой шапочке для гольфа он лежал на песке и читал своего Дэбре, не делая ни малейшей попытки к сближению. Но следил за каждым ее шагом — она знала это точно, чувствовала всей кожей. Из всех пляжей Миконоса он выбрал именно этот. Его красивая голова была всегда повернута в ее сторону: выходила ли она из моря или из таверны с бутылкой вина для Ала. Она ничего не могла с этим поделать. И никому рассказать: ее бы просто засмеяли за необузданные нарцистические фантазии. Ей ничего не оставалось, кроме как хранить свою тайну про себя, а ей только того и было надо.

В общем, она не делала ничего, так же как и он, но знала, что он чего-то ждет. Даже когда он лежал совершенно неподвижно, его стройное коричневое тело излучало напряженную бдительность, которая сообщалась и ей. Иногда, словно не в силах вынести напряжение, он вскакивал, быстрым шагом шел к воде, как индейский воин без копья, и прыжком погружался в волну. Она ждала и ждала, а его все не было. Все кончено, утонул, погиб. И когда

она уже окончательно убеждалась в его гибели, он появлялся вдали, у противоположного берега бухты, плывя легкими ровными саженками, и коротко стриженная его голова сверкала на солнце. Голова не поворачивалась в сторону других девушек — она убедилась в этом.

Кому он служит? — думала она. Кто пишет ему реплики и режиссирует его жесты? Он был как актер на сцене — она узнавала актеров всегда. Следя за ним под палящими лучами, она могла фантазировать вволю. Ты — мой, а я — твоя, думала она, и никто вокруг даже не подозревает. Но когда они дружной стайкой направлялись мимо него в таверну обедать, инженерушка Люси, самая хорошенькая в их семейке, кокетливо вильнула бедрами в его сторону.

“Боже, какой великолепный мужик! — нарочито громко воскликнула она. — Я готова убежать с ним на край света!”

“И я!” — откликнулся педик Вилли, томно глядя на своего друга Поля.

Но Иосиф и головы в их сторону не повернул. Когда они вернулись на пляж перед закатом, его там не было. Может, поискать его в ночных клубах, подумала она, но не стала этого делать.

.....

Наутро она решила не ходить на пляж. Неотступность собственных ночных мыслей о нем испугала ее не на шутку. Лежа без сна рядом с храпящим Алом, она пыталась понять, как ее угораздило без ума влюбиться в человека, с которым она и двух слов не сказала. Ради него она готова была хоть сейчас бросить Ала и пойти за ним куда угодно, только бы он позвал. Она встала ни свет ни заря и отправилась ко вчерашнему газетному киоску, но, к ее разочарованию, он не стоял там, как вчера, выбирая книгу, и не сидел в соседнем кафе, надвинув на глаза козырек белой шапочки для гольфа. Когда она вернулась к обеду, ей сообщили, что семейка единогласно обозвала его Иосифом. Это имя подходило к его семитской внешности, к многоцветной полосатой куртке, которую он надевал поверх черных плавок, когда уходил с пляжа, и к той уверенности в своей исключительности, с какой он смотрел на других.

Чарли наблюдала поверх тарелки над их дружным помешательством по поводу ее собственности. Ал, который ненавидел всякого, кого хвалили без его благословения, мрачно заявил, наполняя стакан:

“Тоже мне, нашли Иосифа! Да он такой же вонючий педик, как наши Пол и Вилли. Когда я гляжу на его томные глаза, я готов плюнуть ему в морду”.

Когда они вернулись на пляж и валялись там, совсем обалдев от жары и марихуаны — все, кроме Чарли, — Иосиф лежал поодаль со своей книгой, словно они для него не существовали.

“Сейчас мы проверим, педик он или нет”, — заявила Люси, сбрасывая на песок купальный костюм.

Люси была соблазнительная блондинка, исполнявшая роли сексуально озабоченных девиц, она направилась к Иосифу, небрежно стянув под грудью полы белого халатика. И тут, склонившись над ним с бутылкой вина и пластиковым стаканчиком в руках, она сделала драматическое открытие: он весь был усеян шрамами! Люси с трудом сдержалась. Самый завлекательный шрам величиной в пятипенсовую монету, был аккуратно-круглый — совсем как искусственные пулевые дыры, которые Вилли наклеил на свой “Минни-Моррис”, только эта была настоящая, на левой стороне его живота.

“Ваше здоровье, Иосиф!” — сказала Люси и налила вина в стаканчик.

“Идите к нам, Иосиф!” — крикнул кто-то из ребят, но Иосиф к ним не пошел. Он взял стаканчик из рук Люси, поднял его приветственно, выпил и вернулся к своей книге. Никакой обиды — он просто лег на живот и углубился в чтение, и — о, милосердный Боже! — это действительно была пулевая дыра, ибо на спине был ее выход — большой, как розетка для варенья. Люси стояла рядом с ним немножко, притворяясь, что читает через его плечо, а на самом деле умирая от желания погладить его спину, потому что, несмотря на шрам, спина была высшего класса — волосатая и мускулистая, такая, как она любила. Но она не сделала и этого, как она потом объяснила Чарли, так как не была уверена, что он позволит к себе прикоснуться. Так и не решившись, она поставила бутылку себе на голову и балетным шагом вернулась к семейке, чтобы, задыхаясь от возбуждения, рассказать им о шрамах и заснуть на чьих-то коленях.

.....

Случай, который дал им наконец повод для формального знакомства, произошел на следующий день. Поводом послужил Длинный Ал, который покидал их. Его агент прислал телеграмму,

что само по себе было чудом, ибо до сих пор этот агент в жизни не пользовался столь дорогим средством связи. Телеграмма туманно обещала главную роль в коммерческом фильме; ничто не могло быть заманчивей для Ала, весь смысл жизни которого был — прорваться в кино. Когда все члены семейки прочли телеграмму, они страшно обрадовались за Ала и еще больше за себя, потому что всем надоело его хамство по отношению к Чарли. Обрадовались все, кроме Чарли, хоть она уже давно мечтала избавиться от Ала: ей больно было предвидеть, что еще один кусок ее жизни подходит к концу. После обеда вся семейка отправилась в город заказывать для Ала билет на утренний рейс авиакомпании “Олимпик”. По дороге Чарли, бледная и напряженная, уверяла всех, что билетов не будет и им придется еще долго терпеть общество Ала.

Но она ошиблась: их ждал не просто билет, а билет, заказанный из Лондона три дня тому назад на имя Ала. Этот факт обезоружил последних скептиков: было ясно, что Ал стоял на пороге великой карьеры!

Чарли погладила его по руке и нежно шепнула: “Ал!” — но рыжий гигант не стал мягче и добрей от успеха, разбитая губа Чарли свидетельствовала об этом.

На пляже Ал заранее поносил будущего режиссера и сценарий, а за ужином, когда он торжественно уселся во главе стола, они с ужасом обнаружили, что он потерял свой бумажник с паспортом, билетом, кредитными карточками и всем другим хламом, который, по мнению любого уважающего себя анархиста, общество избобрело для закабаления своих членов.

.....

Другие члены семейки сначала ничего не заметили, они просто подумали, что между Алом и Чарли начался привычный скандал. Ал стал выкручивать ей руку и что-то выкрикивать, а она морщилась и взвизгивала от боли, пока наконец смысл его слов не прояснился для окружающих:

“Ты, глупая корова, разве я не сказал тебе спрятать все в сумочку? Ты оставила все там, на прилавке, вместо того чтобы положить в свою идиотскую сумочку. Или ты думала, что я какой-нибудь вшивый педик, чтобы таскать с собой сумочку, а? Так куда же ты его дела, а? Или ты думала, что меня можно остановить на пути к большой карьере? Никто не может преградить мужчине

дорогу, никакая феминистская дура, как бы ей не было завидно! Никто не остановит меня – я все равно прорвусь!”

И тут на сцену вышел Иосиф – неизвестно, откуда он тут взялся, словно кто-то потерял лампу Аладина, как сказал Вилли. Кое-кто утверждал потом, что он вышел слева, то есть со стороны моря. Как бы там ни было, он вдруг возник возле их стола в своей многоцветной полосатой куртке с паспортом, билетом и другими документами Ала, которые он подобрал на песке у входа в таверну. Он стоял, невозмутимый, разве только чуть-чуть озадаченный яростью Ала, и ждал, пока на него обратят внимание. Тогда он выложил свои находки на стол. Одну за другой. Все это в полной тишине, которую нарушали только шлепки документов об стол. Потом он сказал:

“Простите за вторжение, но я подумал, что кто-то из вас уже ищет эти бумажки, которые осложняют жизнь, но без которых никак не прожить”.

Никто, кроме Люси, не слышал до сих пор его голоса, а она была в тот раз слишком возбуждена, чтобы заметить его слишком правильный английский, из которого были изгнаны все возможные оттенки и ошибки. Знали бы они раньше, вот бы они его передразнивали! А теперь они были полны восторга и благодарности, они умоляли его присесть к их столу, но он отказался. Однако они настаивали, и он был вынужден согласиться. Он поглядел на Чарли, отвел глаза, глянул опять: “Ладно, раз вы так настаиваете”. Люси обняла его, Пол и Вилли тоже, и наконец наступил момент поединка пылающих голубых глаз Чарли со спокойными карими Иосифа, сердитого смущения Чарли с его сдержанным триумфом, который был – только она это знала – лишь маской, скрывающей его истинные мысли и цели.

“А, Чарли, привет”, – сказал он и улыбнулся. Улыбка у него была словно птица, вырвавшаяся наконец из клетки – мальчишеская, юная и неотразимая. “А я думал, Чарли – это имя для мальчишка?”

“Но я девочка, это точно”, – сказала Чарли, и все засмеялись.

.....

На остаток отпускных дней Иосиф стал баловнем их семейки. Все предлагали ему свою любовь – и Люси, и Вилли, и Пол, и все были отвергнуты. Было решено, что он дал обет целомудрия.

Они уже было начали скучать по лондонским дождям, по городским улицам, насыщенным автомобильным угаром и ароматом жареного бэкона, как появление Иосифа вновь всколыхнуло их интерес к жизни. Они устроили на ферме званый вечер в его честь, и только Чарли, испуганная собственными чувствами и собственной незащищенностью от него после отъезда Ала, не хотела его признавать.

“Он просто пожилой мошенник, разве вы не видите, вы, слепые звереныши?” — твердила она, удивляя всех. За ужином и обедом, где он теперь всегда был во главе стола, она старалась сесть как можно дальше от него. Он очень хорошо слушал — и они поверяли ему свои мысли, свои мечты, свои любовные секреты, — но сам говорил мало. Даже национальность его оставалась тайной. Любовник Люси Роберт объявил его португальцем, Вилли предположил, что он армянин, уцелевший после турецкой резни, а Пол, который был еврей, утверждал, что он “один из наших”, но Пол говорил это обо всех, и потому в семейке решили считать его арабом, назло Полу.

Но никто не решался задавать ему вопросы напрямик, а когда они наводили разговор на его профессию, он уклонялся, только сказал, что раньше много путешествовал, а теперь пристрастился к домашнему уюту. Что же он все-таки делает? На кого работает? Ну, как сказать — можно считать, он сам себе хозяин. Все были этим ответом удовлетворены, все, кроме Чарли. Она спросила, требовательно вспыхнув рыжим румянцем:

“А что ты все же делаешь? Книжки читаешь? Или просто тратишь денешки, как вонючий паразит на свои вонючие удовольствия?”

Он снисходительно улыбнулся в ответ на этот взрыв:

“Разве нет на этом райском берегу более интересной темы, чем обсуждение денег и работы?”

На что Чарли выпалила: “Говорить с тобой, все равно что с Чеширским котом!” — и пошла, и пошла. Она орала и стучала ладошкой по столу, так что сорвала пластиковую скатерть и разбила бутылку из-под лимонада, которая служила им ловушкой для ос, и, не стесняясь в выражениях, обвиняла его в том, что он разыгрывает из себя демона перед малолетними идиотами, злоупотребляя их идиотизмом и малолетством. Она хотела еще упомянуть о его демонических появлениях в Ноттингаме и Йорке, но в последнюю минуту струсила — а вдруг это все-таки был не он?

Он и не подумал рассердиться или обидеться, он просто спросил с любопытством: “Чего ты, собственно, хочешь, Чарли?”

“По крайней мере, знать, как тебя зовут”.

“Тут меня зовут Иосиф”.

“А на самом деле?”

Тут даже самые верные друзья Чарли почувствовали к ней неприязнь.

“Рихтховен, — ответил он после некоторого раздумья, словно выбирая из нескольких возможных имен. — И что — я вдруг стал другим человеком? И вообще, если я такой негодяй, как ты говоришь, с какой стати ты мне поверишь?”

“Рихтховен — кто? Как зовут?”

“Петер, — опять после паузы, словно он решал, как его зовут. — Но мне больше нравится Иосиф. Хочешь мой адрес впридачу? Я живу в Вене, но ты не найдешь меня в телефонной книге. Я много путешествую”.

“Значит, ты — австриец? Можно посмотреть твой паспорт? Ты нам нашел паспорт Ала, может, ты и свой найдешь? Я хочу знать — год рождения, особые приметы, место рождения. Ну?” — и она щелкнула пальцами у него перед носом.

Сначала он внимательно поглядел на ее торчащие перед его глазами пальцы, потом на ее пылающие щеки и наконец улыбнулся. Улыбка скользнула по его лицу, как мгновенный луч по зеркальной поверхности, скрывающей глубокие тайны и опасные недосказанности.

“Я думал, для всех нас личность гораздо богаче, чем кусок бумаги, проштемпелеванной государством. Разве для тебя не так?”

Он взял ее руку в свои и, аккуратно распрямив ее сведенные пальцы, бережно отпустил.

.....

Чарли и Иосиф отправились в свое совместное путешествие по Греции через неделю. Как и многие другие успешные затеи, эта обошлась без формального приглашения. Началось все с того, что Чарли, отколовшись от семейки, стала часто ходить в город одна — там она перекусывала в кабачках, пила крепкий кофе и зубрила свою роль в шекспировском “Как вам это понравится”, турне с которым планировалось на осень. На второй день,

почувствовав на себе чей-то взгляд, она подняла глаза и увидела направлявшегося к ней Иосифа. Он вышел из пансиона, где — как она обнаружила накануне — он поселился: Петер Рихтховен, номер восемнадцатый. Конечно, уверяла она себя, это вышло совершенно случайно, что она пила кофе в кафе напротив этого пансиона как раз в тот час, когда он обычно шел на пляж. Увидев ее, он подошел и присел к ее столику.

“Уходи”, — сказала она.

Он улыбнулся и заказал себе кофе. Потом он протянул руку и взял со стола тетрадь с ее ролью, и через минуту оказалось, что они эту роль оживленно обсуждают — сцена за сценой. Иосиф сказал: “Она одновременно и хорошая, и мудрая, и проницательная, и совестливая. Ты очень подходишь на эту роль, Чарли”.

И тут она решилась: “Ты был когда-нибудь в Ноттингаме, Жозе?” — и без улыбки посмотрела ему прямо в глаза.

“В Ноттингаме? Боюсь, никогда. А что там такое — там бывают достойные люди?”

Ей свело губы от напряжения: “Просто я там играла в прошлом месяце. И я подумала — вдруг ты был в театре”.

“А что за спектакль?”

“Жанна д’Арк. Я играла Жанну”.

“Я обожаю эту пьесу! Ты еще будешь ее играть? Может, я еще смогу тебя увидеть в этой роли?”

“Мы играли ее и в Йорке, — сказала она, вглядываясь в его глаза. — В Йорке ты тоже не был?”

“Никогда не заезжал дальше Хэмпстеда. Но мне говорили, что Йорк — очаровательный город”.

Она продолжала всматриваться в это лицо, которое тогда было обращено к ней из первого ряда партера. Она искала в этих темных глазах хоть какие-нибудь признаки затаенного смеха, но нет, он ничем себя не выдал, если лгал.

Может, у него выпадение памяти? Или у меня? О, Боже милосердный!

Он не предложил ей позавтракать с ним, а то бы она наверняка отказалась. Он просто подозвал официанта и спросил, какая сегодня рыба в меню, словно знал наверняка, что она любит именно рыбу. А потом стал снова болтать о театре, будто не было ничего особенного в болтовне о театре за ранним завтраком с рыбой и вином. Сам он, правда, пил “Колу”, но о театре говорил со знанием дела. Может, он и не выезжал из Лондона дальше Хэмпстеда,

но лондонские театры он знал, как свои пять пальцев. Странно, что он ни разу не выдал своих познаний никому из семейки. И опять у нее было то же головокружительное ощущение неправдоподобия всего реального, будто за словами и делами его скрывается другая его жизнь, другое его лицо, другая цель. Она спросила, часто ли он бывает в Лондоне. Он признался, что после Вены Лондон — самый любимый его город. Английский его был слишком уж насыщен идиомами — ей так и виделась долгие ночные часы над фразеологическим словарем с заучиванием идиом наизусть.

“А ведь несколько недель назад мы давали “Жанну д’Арк” в Лондоне”.

“На Вест Энде? Как же я пропустил — где об этом писали?”

“На Ист Энде”, — поправила она его мрачно.

На следующий день они встретились в другом ресторанчике, и так и осталось неясным, случайной была встреча или нет. Там он спросил как бы между прочим, когда у нее начинаются репетиции “Как вам это понравится”, и она — просто для поддержания разговора — ответила, что не раньше октября, а то и позже.

А как она намерена провести время до начала репетиций? — спросил он без особого интереса, а она ответила без особых уточнений, что, может, найдет себе работу официантки или барменши, а что?

Иосиф огорчился за нее: как, такая талантливая актриса будет работать официанткой? Почему не заняться политикой?

Ее насмешила его наивность: “У нас, с нашей безработицей? Интересно, кто станет платить разрушительнице существующей системы? Я же считаюсь неблагонадежной!”

Он улыбнулся в ответ, не уверенный, как это принять — в шутку или всерьез: “То есть? Что это значит?”

“А то и значит, что я — неблагонадежная”.

“Я думал, ты консерватор. За кого же ты?”

Она почувствовала, что сейчас он ее переспорит, и пустилась на хитрость:

“Слушай, Жозе, что ты пристал? Мы сюда приехали отдыхать, правда? Так оставь в покое мои взгляды, и я оставлю в покое твой паспорт”.

Он тут же понял намек и отступил. Она даже испугалась такой своей власти над ним — ей-то казалось, что ему на нее наплевать. Он послушно принялся за свой лимонад и поинтересовался, много

ли греческих красот она видела за время отпуска. Это был обычный светский вопрос, и Чарли охотно ответила, что вместе с Алом съездила посмотреть Храм Аполлона на Делосе, и все. И только когда он стал выяснять подробности про ее обратный билет в Англию, она начала подозревать, что его любопытство вовсе не невинно. Иосиф захотел взглянуть на ее билет, и она, пожав плечами, достала его из сумочки. Он взял его и начал вдумчиво листать.

“По этому билету ты свободно можешь улететь из Фессалоники. Ты не возражаешь, если я попрошу своего приятеля из бюро путешествий переписать его? Тогда мы сможем вместе поехать по Греции”, — объяснил он так, словно по этому вопросу они уже договорились раньше.

Она не знала, что сказать. В душе ее все составные части пришли в смятение: мать и дитя, проститутка и монахиня, все перессорились. Одежда мучительно щекотала кожу, спина разом покрылась потом, и язык присох к небу.

“Мне через неделю надо быть в Фессалоники, — продолжал он как ни в чем не бывало, — так что мы можем взять в Афинах машину напрокат, заехать в Дельфы и пару дней попутешествовать вместе. А из Фессалоники ты сможешь улететь в Лондон”. Ее молчание вовсе не беспокоило его. “Мы можем вести машину по очереди, все говорят — ты замечательно водишь. Плачу за все конечно я”.

“Конечно ты”, — сказала она.

“Ну, так решено?”

Она стала лихорадочно перебирать в уме все возможные причины отказа, подготовленные ею на подобные случаи жизни. Но тут она вспомнила Ала — как скучно с ним было где угодно, кроме постели, а последнее время — и в постели, а также о скудной жизни на хлебе с сыром, которая поджидала ее по возвращении в Лондон: с удивительной пронизательностью Иосиф напомнил ей об этом. Она искоса глянула на Иосифа: он и не думал просить ее о чем-нибудь — “значит, решено?” — и все тут. Она вспомнила, как его тело — мускулистое и стройное — рассекает морские волны, вспомнила почти угрожающую нотку узнавания, прозвучавшую в том его первом “А, Чарли, привет!” и его неотразимую улыбку, столь редкую гостью на его лице. И еще она в который раз подумала, какой получится резонанс, когда такой сдержанный человек даст себе волю — это было главное, что притягивало ее к нему как магнитом.

И потому она только и нашлась сказать: “Я не хочу, чтобы кто-нибудь в семейке узнал, — и спрятала лицо за бокал с вином. — Ты должен это как-то устроить, а то они меня засмеют”.

На что он ответил быстро, что уедет завтра, чтобы все организовать: “Если ты действительно не хочешь, чтобы твои друзья знали...”

“Конечно не хочу”.

Тогда он предлагает так, сказал Иосиф самым будничным тоном, — интересно, он заранее продумал этот план или у него такой практичный ум? “Ты поедешь вместе со всеми на пароходе до Пирея. Перед самым прибытием в Пирей ты объявишь им, что тебе хочется немножко побродяжничать по Греции в одиночестве. Ты ведь прославилась своими неожиданными выходками. Не говори им слишком рано, а то они всю дорогу будут тебя переубеждать. И не говори слишком много — это признак нечистой совести”, — он говорил, как приказ отдавал.

“А если у меня денег нет?” — ляпнула она, прежде чем успела прикусить себе язык. Если бы он предложил ей деньги, она тут же бы бросила их ему в лицо, но он вроде предчувствовал это:

“Они знают, что у тебя нет денег?”

“Конечно нет”. “Значит, они не могут тебя разоблачить”, — с этими словами он сунул ее билет в карман своей куртки.

“Эй, отдай обратно!” — завопила она, но не вслух, а про себя.

“Как только ты от них избавишься, бери такси до площади Колокотрони, — он написал название на листке. — Это будет стоить около двухсот драхм”. Это было ей по карману: у нее оставалось около восьмисот. Ей нравилось подчиняться его командирскому тону. В переулке рядом с площадью есть маленький ресторанчик “У Диогена”, там он будет ее ждать, внутри, не на улице, там прохладно и уютно. Он порвал листок и велел: “Повтори название — у Диогена”. Она послушно повторила, удивляясь себе самой.

“Рядом с ресторанчиком находится отель “Париж”. Если по какой-то причине я не смогу быть в ресторане, я оставляю сообщение у портъе, его зовут Ларкос, он мой приятель. Если тебе что-нибудь будет нужно — деньги, совет, помощь, — он все сделает, дай ему мою визитную карточку”, — он положил карточку на стол: Рихтховен, экспортная фирма и адрес — номер почтового ящика в Вене.

.....

Проходя мимо газетного киоска, она почувствовала такой прилив жизненных сил, что купила пачку открыток и вязаную скатерть в подарок своей ненавистной мамочке. Две открытки она отправила своему агенту Неда Квили — одну шуточную с вопросом: “Может ли падшая женщина утонуть?” — а другую серьезную с сообщением, что задерживается на неделю для осмотра античных достопримечательностей Греции. Когда она опускала открытки в почтовый ящик, она почувствовала на себе чей-то взгляд и быстро обернулась, ожидая увидеть Иосифа. Но мимо пробежал знакомый мальчишка-хиппи, который в последнее время крутился возле них на пляже. Он приветственно поднял руку, она махнула в ответ с улыбкой.

Третью открытку она написала Алу — притворно сетуя на слишком долгую разлуку. На Ала ей было плевать, но насчет Неда Квили ей иногда казалось, что он был ее единственной любовью.

4

Курц и Литвак появились в лондонском агентстве Неда Квили в туманный полдень дождливой пятницы, как только им стало известно об успехе операции “Иосиф—Чарли”. К этому времени они почти отчаялись: неотступный Гаврон донимал их телефонными требованиями — или начинать, или признать поражение. Внутренне напряженно вслушиваясь в тиканье часов, внешне они выглядели вполне респектабельно: два американца европейского происхождения в солидных дождевиках, один — кряжистый и властный, второй — молодой и улыбчивый. Они представились как мистер Голд и мистер Карман из фирмы “ГК Продукция”, о чем свидетельствовала сине-золотая монограмма их рекомендательного письма. Они заранее назначили час свидания через американское посольство и пришли минута в минуту как деловые представители театрального мира, которыми они не были.

Курц представился мисс Лонгмор, многолетней секретарше Квили, а Литвак любезно улыбнулся ей через его плечо. Лестница в агентстве была крутая и скользкая, и большинство американских гостей обычно останавливались для отдыха на полпути вверх, чтобы перевести дыхание и пожаловаться мисс Лонгмор на крутизну. Но не эти двое. Они взлетели по лестнице без передышки, словно слыхом не слыхали о существовании лифта. Небось, бегают

у себя в Центральном парке каждый день, подумала мисс Лонгмор, снова принимаясь за свое вязанье.

Когда Нед Квили распахнул перед ними дверь своего кабинета, они опять представились Голдом и Карманом, и Курц протянул руку Неду, сказав, что это знакомство — большая честь для них.

Нед возразил, что это честь для него, и провел гостей в оконную нишу, где, по традиции, заведенной еще его отцом, визитеры, потягивая шерри, могли любоваться оживленной жизнью Сохо. Не нарушая традиции, Нед открыл дверцы бара, замаскированного под книжный шкаф, и извлек оттуда графинчик шерри и хрустальные стопки. Наполняя стопки, он пытался понять, зачем они явились — он чувствовал, как внимательно они следят за каждым его движением, словно пытаясь увидеть его насквозь. Он ужаснулся своему предположению, первому, которое пришло ему в голову, и спросил нервно:

“Вы не собираетесь перекупить мою фирму?”

Курц заверил его, что они и в мыслях этого не имели, и засмеялся. Литвак ему вторил жизнерадостно.

Немного успокоившись, Нед пригубил свой шерри и спросил вежливо, где они остановились. Курц ответил, что в “Белгравии” и что они там чувствуют себя совсем как дома. Эта часть была истинной правдой: они действительно заказали номера в “Белгравии”, злорадно предвидя, что Мишу Гаврона хватит удар, когда ему предъявят счет. Но, продолжал он, они здесь ненадолго — завтра они улетают в Мюнхен.

“Нас там ждут деньги на копродукцию”, — пояснил Литвак словоохотливо. Выразив возмущение тем, что немцы опять богаче всех в Европе, словно не они проиграли войну, Нед попытался опять наполнить их стопки, будто не замечая, что они все еще полны. Тогда он наполнил свою и замолчал, — дождь за окном сгустился в непроницаемую мрачную мглу.

“Нед, — сказал Курц, после продолжительной паузы, — я хочу рассказать, кто мы, почему мы к вам обратились и ради чего тратим ваше драгоценное время”.

Нед покорно улыбнулся в ответ и приготовился слушать — сердце его подрагивало от неприятных предчувствий.

Речь Курца была плавной и ритмичной, как речь радиокомментатора. Он объяснил, что он — Голд — отвечает в фирме за юридическую сторону, тогда как Карман (легкий кивок в сторону улыбающегося Литвака) занят творческой стороной дела. До сих

пор они оперировали в Канаде и в центральных Штатах, а недавно открыли отделение в Нью-Йорке, занимаясь программами для независимого телевидения.

“Мы занимаемся идеями и деньгами, постановкой занимаются продюсеры”, — заключил Курц и зачем-то поглядел на свои ручные часы, словно проверял, успеет ли он вовремя.

Нед наморщил лоб, отодвинул свою стопку подальше и посмотрел на нее с тем же напряженным вниманием, с каким Курц смотрел на часы: “Если вы продаете идеи, чего вы хотите от меня? Чем я могу отплатить за приглашение на ланч?”

И тут Курц захохотал — совершенно неожиданно и неуместно. Хохот его наполнил мирный уют старомодного кабинета, выявляя незаметные до того морщинки в углах глаз и на шее: если раньше Нед дал бы ему не более сорока пяти, сейчас он тянул на все шестьдесят. Нед почувствовал себя странным образом обведенным вокруг пальца, но в этот миг в игру вступил Литвак. Он проговорил на хорошо американизированном английском, над которым хорошо потрудились еврейские учителя из Бостона:

“Мы готовим совершенно оригинальный проект — такого еще не было в театральном мире. Мы хотим создать бродячую труппу телевизионных актеров — собрать группу разнообразных талантов с яркой индивидуальностью, из англичан и американцев. Это должна быть репертуарная труппа, где каждый играет разные роли, то главные, то второстепенные. И чтобы пьесы были разные — порой животрепещущие, злободневные, порой классические, знаменитые, мы уже позаботились о приобретении авторских прав. Труппа будет путешествовать по городам и весям, и мы будем путешествовать вместе с ней, разделяя ее будни, заботясь о ее быте, мы будем их папами и мамами, их исповедниками и няньками. Наша задача — помочь молодым талантам так, чтобы каждый мог показать все грани своего дарования. Мы заключаем контракт как минимум на четыре месяца, оставляя обеим сторонам возможность его продления. Вот наша идея, и нашим инвесторам она, кажется, нравится”.

Нед Квили хотел было поздравить своих гостей со столь блестящим замыслом, но Курц не дал ему и рта раскрыть. Он ловко перехватил эстафету: “Мы хотели бы предложить контракт вашей Чарли”, — объявил он торжественно, как шекспировский глашатай, и поднял правую руку. Тут Нед приготовился опять вставить словцо, он набрал воздух в легкие и застыл — словесный поток

Курца еще не иссяк: “Мы знаем, что у Чарли огромный запас талантов, ума, обаяния. Если вы сумеете помочь нам разобраться в некоторых деталях ее биографии, мы, я полагаю, сумеем предложить ей в нашей труппе такое положение, о котором она не пожалеет”.

На этот раз Неда перебил Литвак:

“Мы почти уже приняли решение насчет Чарли. Ответьте нам на пару вопросов — и дело в шляпе, ее карьера обеспечена”.

И вдруг наступила тишина, нарушаемая лишь музыкой в сердце Неда. Он подтянул запонки на манжетах и поправил свежую розу, которую жена его Марджи сунула утром в петлицу его пиджака, пока в который раз предостерегала его от злоупотреблений алкоголем во время ланча. Но Марджи изменила бы свое мнение сейчас, если б знала, что его новые друзья явились вовсе не с целью перекупить его агентство, а с заманчивым предложением для их любимицы Чарли.

.....

Курц и Литвак сами пили только чай, но Неда они с легкостью уговорили заказать графинчик легкого вина к семге и запотевший бокал шабли для начала. Еще в такси, которое они взяли, чтобы не промокнуть до нитки, Нед принялся рассказывать трогательную историю своего знакомства с Чарли.

“Я влип с первого взгляда -- такого со мной раньше никогда не случалось, а тут влип, как старый идиот. Не то чтобы это был замечательный спектакль — знаете, перелицованное под современность старомодное ревю, но Чарли играла блистательно. Как только занавес упал, я пустился к ней за кулисы, чтобы разыграть из себя Пигмалиона. Она мне сперва не поверила, подумала, что я ее просто кадрю, так что пришлось привести к ней Марджи для доказательства чистоты моих намерений”.

“И что было потом? — полюбопытствовал Курц, придвигая Неду масленку. — Путь, усталый розами?”

“Ничего подобного. Стремительный взлет сразу после окончания актерской школы, а затем полный штиль, так, мелкие театрики, короткие контракты. Многие не справляются, но Чарли не отступила. Работала как одержимая. Будем надеяться, что наконец пришел ее час!” — он поднял бокал, сам удивляясь собственной чувствительности. Они слушали как зачарованные. Потом, обсуждая

с Марджи этот визит, он с удивлением отметил, как изменилось их поведение: в агентстве они ему и слова не давали вставить, в ресторане вдруг полностью обратились в слух. А потом — черт его знает, что с ними случилось потом, — он от них совсем обалдел.

“У нее было ужасное детство, — сообщил Нед и добавил философски: — У многих актрис бывает ужасное детство — наверно, страдание в детстве способствует развитию таланта. Заставляет входить в роль других людей, может более счастливых, может более несчастных”.

На вопрос Литвака, что, собственно, было столь ужасным в детстве Чарли, он сообщил сведения, почерпнутые урывками во время дружеских бесед с нею за ланчами, которыми он порой баловал ее. “Мать у нее дура, а отец оказался вором — он умер в тюрьме, куда его посадили за растрату денег его клиентов. Ужасный удар для девочки”.

Литвак осторожно переспросил: “Отец умер в тюрьме?”

“Да, и там же похоронен. Мать была так оскорблена его поведением, что не захотела тратиться на похороны”.

“Это Чарли сама рассказала? А кто-нибудь подтвердил, что это так?”

Нед озадачился: “Кто же мог подтвердить?”

Тут Курц поспешно вмешался: “Не обращайтесь на него внимания, Нед, он слишком подозрителен”.

Только тогда Нед сообразил спросить, какие спектакли Чарли они видели, и с удовольствием обнаружил, что они очень и очень осведомлены — они читали все рецензии с малейшим упоминанием ее имени и даже не пожалели времени съездить в эту дыру Ноттингам, чтобы увидеть ее в роли Жанны д’Арк.

“Боже, что за скрытность! — воскликнул Нед, пока официант разрезал жареную утку. — Позвонили бы мне, я б вас подбросил туда на машине. Вы хоть подошли к ней, поздравили, пригласили на ужин? Нет? Почему нет? Если вы хотите пригласить ее в свой проект?..” — тут он осекся с разгону под их настороженными взглядами. Лица у них стали кислые, словно они проглотили по тухлой устрице. Потом Литвак спросил, утирая рот: “Можно задать вопрос?”

“Ради Бога”, — ответил Нед, слегка озадаченный.

“Вы можете сказать нам честно, как Чарли разговаривает с журналистами?”

Нед поставил бокал на стол: “С журналистами? О, она ведет

себя совершенно естественно. У нее есть врожденное чутье, она нюхом чувствует, что им надо, — хамелеон, вот она кто. Можете не беспокоиться”, — и он отхлебнул вина.

Но Литвак этот ответ вовсе не обрадовал. Поджав губы, он начал тщательно собирать крошки со скатерти длинными нервными пальцами. Игнорируя ищущий взгляд Неда, он повернулся к Курцу, словно призывая его в свидетели неизвестно чего. Курц включился тут же. “У них будто общий приводной ремень, — жаловался потом Нед Марджи, — так легко они включают и выключают друг друга”.

“Нед, — сказал Курц, — если мы подпишем контракт с Чарли, она окажется в центре внимания. Ей придется отвечать на вопросы газетчиков обо всем — не только о своей личной жизни, о своей семье и о своем любимом певце, не только о своем отце, но и своих политических взглядах, о своем отношении к религии”.

“А что можно сказать о ее политических взглядах?” — прошептал Литвак и смел крошки со стола одним взмахом. Тут Нед вдруг потерял аппетит и, положив нож и вилку, стал вслушиваться в речь Курца. “Наши акционеры, Нед, — солидные состоятельные американцы. У них есть неблагодарные дети, лишние деньги и твердая шкала ценностей — и это главное. И они хотят, чтоб наша программа прославляла именно их ценности — а ведь это телевидение, только оно и делает деньги, что поделать”.

“Американское телевидение”, — выдохнул Литвак гордясь.

“Нед, мы будем с вами вполне откровенны: мы уже почти готовы были написать вам о Чарли, предлагая заплатить неустойку по всем ее подписанным контрактам. Но не стану скрывать, что за последние пару дней нам пришлось услышать о ней кое-какие подробности, заставившие нас насторожиться. Нет сомнения в ее таланте, о, нет, но есть сомнение, что кто-нибудь захочет дать под нее деньги. Нет, только честно — она благонадежна?”

Тут Литвак, трагически глядя на Неда сквозь стекла оправленных в черное очков, поставил последнюю точку над i:

“Мы слышали, она принадлежит к крайне левым. К воинствующим левым. Кроме того, она в связи с известным анархистом, не совсем нормальным хулиганом. Если верить слухам, она ведет себя, как мать Фиделя Кастро и сестра Ясера Арафата в одном лице”.

Съездившись под прицелом двух пар внимательных глаз, Нед готов был поклясться, что управляются они одним общим оптиче-

ским устройством. Он не мог ответить ничего путного — уж не слишком ли быстро выпил он свой бокал шабли? Его охватила паника, усиленная ощущением полной беспомощности перед этой парой: он не мог им противостоять, он был слишком слаб, слишком стар. И кроме того, он ненавидел сплетни и слухи, ибо хорошо знал, как под их напором рушатся репутации и карьеры. Он чуть было не высказал им свое отношение к слухам, но сдержался: он был воспитанный человек, он ел их ланч, и, кроме того, они были иностранцы, у них могли быть совершенно другие принципы. Кроме того, нельзя было не признать, что у них были свои проблемы и они не обязаны были подвергать свой проект риску ради либеральных капризов Чарли — ведь кое в чем они были, к несчастью, правы. Равно как нельзя было не признать, что участие в их проекте означало стремительную перемену в жизни Чарли — после этого ничто уже не могло бы снизить ее цену на актерском рынке.

А Курц тем временем заключил свою речь кратким тезисом: “Я жду вашего слова, Нед. Вы должны поручиться, что Чарли не сорвет наш проект после первого съемочного дня, ибо ни один из граждан штата Миннесота не заплатит четверть миллиона долларов открытому врагу демократии”, — и палец его нацелился в Неда, как дуло пистолета.

.....

К чести Неда надо сказать, что он сдался не сразу. Поначалу он сослался на трудное детство Чарли, в частности, и на общеизвестную неустойчивость актерской природы вообще. Потом во рту у него пересохло, и за его плечом возник официант с винной картой в руке. Нед заказал еще вина, а тем временем Литвак вытащил из кармана небольшой блокнот.

“Я предлагаю начать с основных фактов, — мягко предложил он, — когда, где, с кем, — он отчеркнул поля, вероятно, для дат. — Демонстрации против, марши в защиту, петиции — все, что могло иметь общественный резонанс. Зная факты, мы можем принимать решения”.

И Нед начал рассказывать, — как он потом жаловался Марджи, они просто выкачивали из него сведения. Не то чтобы он знал слишком много, и не всегда он рассказывал все откровенно, порой он слегка привирал и приукрашивал действительность,

но, в общем, он кое-что наболтал, о чем пожалел впоследствии. Ну, деятельность против апартеида и против размещения ядерного оружия — это общеизвестно, но он рассказал и про Группу Радикальных Реформ, которая сорвала спектакль в Национальном театре, и про скандал, учиненный ею вместе с другими феминистками в зале Сан-Панкрац, и про ее звонок среди ночи из полицейского участка пару лет назад, когда ее арестовали за участие в беспорядках в Дюрхаме.

“Этот скандал обошел все газеты, они даже напечатали ее портреты, не так ли, мистер Квили?”

“Нет, нет, это было после Рединга, немного позже”.

“А что случилось в Рединге?” — спросил Литвак.

“Кто-то поджег автобус, и их всех арестовали — они протестовали там против чего-то, по-моему, против дискриминации черных, которых не брали в кондукторы. Автобус был пустой, — добавил Нед поспешно, — так что никто не пострадал. И она, конечно, пожалела об этом, ведь она очень повзрослела за последнее время”.

“Она сама вам призналась, что сожалеет о своей деятельности?” — спросил Курц сурово, как судья на процессе.

“Нет, но я уверен...” — пролепетал Нед.

“Может, она говорила это кому-то другому — подруге, любовнику, родным? Каялась в своих ошибках и признавалась в отходе от радикализма?” — настаивал Курц.

“Нет, по-моему, никому не говорила. Она ведь очень скрытная”.

И тут Нед перехватил этот странный взгляд, которым они обменялись над его склоненной головой, — во взгляде этом было явное облегчение, словно они были рады услышать, что Чарли на деле и не думала отказываться от своего воинствующего радикализма.

Тем временем Литвак уже перехватил эстафету и спросил деловито:

“Есть ли у вас в конторе картотека с подробностями относительно ваших клиентов?”

“Конечно, мы регистрируем все что надо”.

“Что именно — гонорары, расходы, контракты, всякие деловые детали?”

“Не только. Даты — дни рождения, свадьбы, какие цветы кто предпочитает, их любимые рестораны, имена мужей, собак и детей, вырезки из газет”.

“А как насчет личных писем?”

“Ну конечно, мы храним все письма своих клиентов”.

Тут Курц вмешался недовольно: "Карман, к чему эта настойчивость? Мистер Квили и так потратил на нас уйму своего драгоценного времени. Мы можем обсудить остальное с Чарли лично, если она в этом заинтересована. Спасибо, сэр, мы вам крайне благодарны".

Но Литвака было не так легко сбить со следа: "Мистер Квили не откажет нам, я уверен. Ведь мы не можем ждать, пока Чарли вернется, — нам надо принимать решение срочно. И если мы посмотрим ее письма, мы можем найти в них то, что поможет нам устранить наши сомнения. Если мистер Квили хочет, чтобы этот контракт был подписан, разумеется", — в голосе его прозвучал оттенок угрозы.

"Конечно, он хочет, что за вопрос", — завершил диалог Курц, словно все остальное, кроме желания мистера Квили, само собой разумелось.

.....

Дождь прекратился, и они пошли обратно пешком, осторожно приспособивая свой стремительный шаг к спотыкающемуся шарканью Неда. Он брел между ними, одурманенный алкогольными парами, которые даже сырой воздух не мог развеять, и думал вяло: чего они от меня хотят? Мисс Лонгмор оглядела его при входе неодобрительно, и по ее взгляду он понял, что здорово перебрал за ланчем. Курц настоял, чтобы Нед шел по лестнице впереди их, так что у него было ощущение, будто в затылок ему нацелен пистолет. Под их взглядами он вызвал из своего кабинета мисс Эллис, секретаршу, и попросил ее принести письма Чарли. Захватив письма, его странные гости устроились в гостиной, пообещав не беспокоить хозяина, а просто постучать мисс Эллис по окончании чтения.

Там, в гостиной, возле круглого полированного стола розового дерева, уставленного картонными коробками с письмами, он видел их в последний раз в жизни. Они выглядели, как налоговые инспекторы, пытающиеся поймать злого неплательщика — Голд, тот, что постарше, снял пиджак и повесил на спинку кресла. Потом Нед задремал в кабинете и, проснувшись около пяти, обнаружил, что их и след простыл. Когда он вызвал мисс Лонгмор, она хмуро сообщила ему, что гости ушли не желая его тревожить.

.....

Он не рассказал Марджи сразу. “А, эти... — протянул он в ответ на ее вопрос после ужина. — Ничего особенного, ищут актеров для телевидения по дороге в Мюнхен”.

“Евреи, что ли?”

“Похоже, что евреи, — согласился Нед, и Марджи кивнула, словно заранее это предполагала, — но симпатичные”.

Марджи не стала в тот вечер настаивать, она знала, что Нед от нее не убежит далеко. Наутро Нед позвонил в Нью-Йорк своему приятелю Билу, который не знал никаких подробностей насчет Голда и Кармана, кроме того, что это новая фирма. Что-то в его голосе не понравилось Неду, и он недолго думая набрал нью-йоркский номер, обозначенный на визитной карточке Голда. Это оказалась информационная служба, не сообщающая никаких сведений о своих клиентах. С этой минуты Нед не мог думать ни о чем другом, кроме Голда и Кармана, он проклинал ту минуту, когда согласился на их приглашение. Назавтра он позвонил в отель в Мюнхене, мимоходом названный Голдом. Администратор сухо ответил, что господа Голд и Карман провели там одну ночь и рано утром отбыли в неизвестном направлении. То же самое сказал немецкий кинопродюсер, упомянутый Голдом в разговоре как предполагаемый компаньон.

Вечером он во всем сознался Марджи: “Они так спешили, — сказал он оправдываясь. — Они мне вздохнуть не давали. Надо сообщить о них в полицию”.

“Я думаю, они сами из полиции”, — возразила Марджи.

“Тогда я должен написать Чарли, я должен ее предупредить, — заволновался Нед, — а то она еще попадет в беду”.

Но даже если бы он написал Чарли, было бы уже поздно: сорок восемь часов прошло с тех пор, как Чарли отправилась в Афины на свидание с Иосифом.

.....

В тот же вечер Курц доложил об успехе этой малой — по сравнению со всем остальным, — но рискованной операции Мише Гавро-ну. У них были разные другие идеи, как добыть письма Чарли: они хотели было попытаться счастья у ее матери и бывших любовников. Но в конце концов остановились на Неде Квили — переписка Чарли с ним была самой обширной и подробной. Так что игра стоила свеч.

Наутро после получения писем Курц, как и обещал Неду, вылетел в Мюнхен, где его и впрямь ожидала группа — правда, не киносъёмочная, но это уже детали. Там он посетил обе свои явочные квартиры, чтобы подбодрить своих людей. Кроме того, он опять встретился со своим другом доктором Алексисом, и они славно пообедали в симпатичном ресторанчике в пригороде. За обедом они не обсуждали никаких актуальных вопросов — но разве хорошие друзья не могут обойтись без деловых бесед?

Из Мюнхена он улетел в Афины, где его ждали насущные дела, требующие его присутствия.

(Продолжение следует.)

ЖУРНАЛ "АЛЕФ" —

одно из самых популярных периодических изданий
на русском языке.

Сегодня журнал "Алеф" нашел своего читателя в Израиле, США, Канаде, Австралии, Бельгии, Франции, Греции, Испании и даже... в СССР.

Название рубрик журнала: "Вокруг света", "Проблемы дня", "Экономическое обозрение", "Приглашение к спору", "Страничка ЦАХАЛа", Это — Израиль, это — евреи", "Знакомые незнакомцы", "Люди среди людей", "Библейская археология", "Из истории Эрец-Исраэль", "Дела секретные", "Террор", "Литературная страница", "Детективы", "Женская страничка" — говорят о разнообразии журнала, о том, что каждый может найти в нем материалы, которые будут ему интересны.

Наш адрес: Тель-Авив, П.Я. 37356, Израиль, тел. 03/621-682.
Стоимость журнала в Израиле — 350 шекелей, за границей — 1,5 доллара (вместе с пересылкой)

Михаил Генделеев

ВОЙНА В САДУ

I

Взят череп в шлем
в ремни и пряжки челюсть
язык
взят
в рот

тьма
тьма и есть
покуда смотришь через
а не
наоборот

тьма это тьма
когда смотреть снаружи
но — взгляд
на черную росу покрывшую оружие
войну тому назад.

II

В том
апельсиновом
полуденном
саду
где
воздух так колыхнется горячий
как
в
кто там помнит!
а — никто

в каком году
вблизи помойки
на наемной даче
наощупь где ревень ложится в лебеду

здесь
в гибельном саду в простреленном углу
страны иной
откуда
что надейся
вернуться
что — вернись
а никуда не деться
как по себе свистать хулу и похвалу
а то
с улыбкой идиотской детства
как я стоять
живой
припав щекой к стволу.

III

Так
перегной перепахан
что
трудом белых рук
труп посадишь в садах Аллаха
и к утру зацветает труп

белым вьюнком увенчан
чей побег
от виска
отвести отшатнувшись
не легче
чем бы сделала это рука
лишь
тогда
с отдаленных плантаций
мне неизвестных пород этим пчелам золотым
дам я право слетаться
с руки моей слизывать мед.

IV

Из
выколотой в несозвездья
звезды созвездья Близнеца
стекали тьма со светом вместе
через края его лица
оставив
полной тишиною
пасть
но
сочился до конца
свет несозвездья Близнеца
над костяной его скулою
он был начальник караула
их
ненавидивший
собак
на замирение аулов
ходивший в красных сапогах
давно косивший зверовато
в полупустые небеса
и
верно ли
пророк Исса!
его врагом был Император.

V

Мы шли к Дамуру
мы не проходили садом
а шли
через ночной
сад
где и если двое были рядом
то тьма была второй
и так
был этот сад слепыми соткан
и
неприкосновенным сохранен

что мы и бабочки еще ночные совки
одни
водились в нем
и так был сад устроен
чтобы проще
нам
впредь
в ночном бою творящемся на ощупь
беспрекословно
умереть
за то
что мотыльки в пространстве чертят
развертки жестов а не контуры фигур
что
не найдя телам
опору даже в смерти
мы через сад прошли и вышли на Дамур.

VI

Славную мы проиграли войну
и неизвестно кому
рукокрылых
хлопки
мышей
в амфитеатре траншей
кому плащи с остатками кож
плещут
свесившись с каменных лож
и
яму
на верные сто голосов
затягивает песок
но
сдували с небес жерла наших фанфар
ангелов и ворон
а
когда протрубил шофар
снега осыпал Хермон

и
скажи Император
ну!
какую мы проиграли войну
если эха нет
и не может ров
вернуть нам низы хоров

ладно!
мы проиграли войну
и можно еще одну
что ж
мы вернемся в свою страну
и будем в голубизну
невинных небес
то есть
с неба свод
смотреть
и займем свой рот
дудкой
и будем пасти твой скот у Дамаских ворот.

Л.М.

VII

Не перевернется страница
а
с мясом
вырвется :
ах!
в мгновенном бою на границе
у белого дня на глазах

с прищуром
тем более узким
чем
пристальнее
устремлен
Господь нам не знает по-русски
и русских не помнит имен.

СТИХИ

воздух в паутине перегара
щучье порционное желе
в августе на север пролегала
ветка центробежная жедэ
стыло сердце пригнанное к ритму
стыками колеблемых купе
на посадке я окликнул римму
с килькой в доморощенном кульке
там на тризне быстрой и суровой
на помин рассыпавшихся дней
мы себя расслабили зубровой
с рыбьими кадавриками к ней
ящик волжского она везла
но с похмелья было мне нельзя

ощупью до ближнего сортира
я дополз пока стоял состав
римма полуночникам светила
челюсти компостера достав
легионы огненных опилок
август раздувал над полотном
молодости тщательный обмылок
в зеркале клубился пояском
молнии ворочала вдали
полночь в облачении вдовы

о загадочной мата-хари или нефертити
слагает стихи один областной талант

пресловутый женский образ которой
запал в сердце за чтением календаря
словоцветия типа мельхиор и вибрион
будоражат невозделанное воображение

по-своему недурна пригородная природа
но в ней дефицит лоска и трепета
разве знакомую свезти на острова
прельстить познаниями в сферах
вечерами кошки шумно предаются похоти
их эволюция в бездуховном тупике
это объяснимо и вполне научно-популярно
но сердце содрогается о вечном
тетраэдр презумпция джамбаттиста вико
так учит непогрешимый календарь

об этом и петь чтобы любое слово
гордилось высоким званием метафоры
пускай за стеной безвредно спит семья
знакомая зовет к материальным издержкам
пускай длится в обгаженных маргаритках
неугомонный коитус кошек

от крайней северной до восточной оконечности
расстояние порядка семи световых рублей
страной правит хор и мени пятницкого
обширные уголья засеваются озимой воблой
довольно места культурно отдохнуть

сведения из оккультной географии
рудиментарны и недостоверны
из нравов помню манеру обитателей
перемежать беседу восклицанием бя
это фантом увядающего ума
область куда я беззащитно засыпаю

когда межевали свет и тьму
осталась полоса сверхсметных сумерек

лесостепное кочевое волчье
временами бредится мы оттуда родом

миновало большеглазое время веры
в буку в кинокефала и строфокамила
нынче наука по всему фронту
все для выдумки происки обскурантов
моя родина геометрия

местная осень по остов объест
сад что сводили медведки да слизни
область печального образа жизни
гуманитарной науки объект
здесь у корней обескровленной флоры
водки ручей и ветчинные горы
каждый предельную дозу жует
завтрак внезапен как выстрел в живот
лопнул хитиновый житель режима
спазмы внеплановой линьки вредны
и существоемость жизни внутри
недоверна и опровержима
осень со сна припадает к ведру
птичий скелетик порхает вверху

нежный пейзаж до основы облез
век артефакта мучительно краток
видно отпущено было в обрез
на баловство это зренья и красок
ветер свистит над газетным листом
мысль повисает в сосуде пустом
нищенка ночь калибрует объедки
по чертежам составляет сову
стрелка часов у багровой отметки
в жилистом словно железном саду

готической ночи постройка
в спирту призовые мозги

нам было с сопровским просторно
в большом кашалоте москвы
бетонные ребра синели
дежурная фляжка к бедру
деревья нездешней сирени
над нами шумели в бреду
до стенки рассвета картонной
пешком из бульварной петли
мы шли подкрепляясь картошкой
которую впрок напекли

за поздний урок идеала
я был в этой жизни казним
почти что была илиада
с головкиным вовой одним
я рос Достоевским подростком
любви не щадил на себя
а в этом тщедушном сопровском
был веры запас навсегда
он жил без ущерба и горя
союз ему был не указ
и было не менее года
на каждого жизни у нас

ученик озноба и недоумения
навек всеимперский лауреат
автор известной рыбы

собрался и стою с вещами
немного надо рук
часы отзванивают северо-запад
первые угрызения душевной зари

станция в испоконных липах
житель с бледной бутылкой наотвес
уговорил себя в клепсидру
соратник по биологическому виду
расплакаться о нем

его лицо
безлюдно

приходят какие-то проститься
под ногами с визгом и скрежетом
растет трава

признание в любви некрасивой девушке
дружба двух предсмертных старичков
вера в необходимость дворового пса
сиюминутные хрупкие предметы

но если в этом чрезмерно преуспеть
наблюдать планеты и кротко гербаризировать
но если на лавочке в солнечном чаду
в кругу нежных малюток и пчел

в тени сердца произрастает камень
тела ветвятся на мраморе метро
какой-нибудь гунявый брежнев кому
он трогателен своей тщетной мощью
револьвер засулич или хинкли
отмеряющий возмездие миропорядку
такой же акт любви

(завтра он сам проговорится
шакалам из вашингтон пост)

взгляд цветка пронцающий недра
триумф моментальной ветхой вещи
старички с их утлыми собачками
фтор фосфор и все-таки аргон
сапожный отпечаток бога
самородок надежды в пемзе

пространство как море смеркается книзу
умом помыкают слова

но каждую в точности воблу и крысу
любовь соблюдает своя
в покоех где свет невысок от угара
нас в камень безвестнее вмять
и загодя всякую вещь отругала
своя справедливая мать
легенды вещей в геометрии схожи
сошьет себе крылышки скажем из кожи
какой-нибудь слесарь в лесу
и лес оставляет внизу

безвыходен сон как душевная поза
уловка в ночную страду
нам время устроили с целью гипноза
события видеть в строю
любой краевед лошадиное бремя
лису промышляет с седла
которую проще усвоить из брэма
а смерть наступает всегда
в двустволку очей изнутри фиолетов
субъект озирает теченье предметов
нагнется тщеславясь к ведру
и прочь растворится вверху

на диво у нас биография птичья
мякину клевать подпевать из приличья
порхать и гнездиться везде
нутром в рукотворную темень взгляните
где остовом костным трепещет в зените
находчивый слесарь в венце

гитару напрягал ровесникам-ребятам
слюны пословицу вколачивал в припев
тщась память выгадать в потомстве и ревмя там
век вечереющий в поту хрипел

все статую себе мерещил из металла
как у бульварного стояльца-рогача

речь скрипочка сверчка гомерова гитара
забыться князем славу рокоча

нет лучше как в саду меж бабами морскими
жить вдребезги что твой татарский гость садко
но бронхами ли хвор перенапряг мозги ли
всласть начато да вытянуть слабо

бобров обтруханный за тщетною конторкой
зайдется чайником аж классикам беда
с кого-то спросится что жизнь была короткой
и для чего она вообще была

родиться набело в краю свинца и ситца
в древесных пальцах нить осенняя тонка
гитару в сторону давай друг другу сниться
а жить само сумеется тогда

изгнанник букваря твой сладкий ад женева
секунды шелестят как мятное драже
и памятник тебе из братского железа
в подземном силосе настоroje

1982 г.

Уважаемый г. редактор,

очень прошу поместить на страницах Вашего журнала следующее разъяснение. В книге Г. Бутмана "Время молчать и время говорить" я назван ее редактором по чьему-то недосмотру и никакой ответственности за текст книги не несу. Я заранее просил редакцию серии "Библиотека — Алия" мое имя в книге не проставлять, так как автор практически не сотрудничал со мной как с редактором, а главное, рукопись с самого начала не казалась мне достойной публикации, о чем и было мною сказано как автору, так и редакции серии.

Заранее благодарю

Феликс Розинер

В амстердамском аэропорту я, не останавливаясь, прошел по движущейся дорожке — Nothing to declare — и у выхода разменял канадскую сотню. Вместо солидной сотни в руках остались разноцветные ярмарочные бумажки с портретами уса-тых молодцов. “На гульдене ярком... На гульдене ярком портрет Арамиса

Мою королеву

Сегодня сменил...”. Дальше вытягивалось в столбик.

Похоже, что королева лишится сегодня одного из своих подданных. Со спичечного коробка на меня глянули улыбающиеся принц Чарлз и леди Диана. Честнее было бы их тоже поменять на голландские спички. Или на зонтик. Я давно уже не видел голубых дождей. На конечной остановке скучал голубой автобус. Голубоглазый водитель с топорщившимся голубым усом собрал с пассажиров деньги и по дымящемуся шоссе покатил к городу.

Сверху Голландия завораживает своей геометричностью, а по дороге из аэропорта строгая исчерченность исчезла. И пейзаж стал земным и обычным: бурьян вдоль автострады и на балконах однообразных новостроек мокло забытое белье. Остальное — праздник святого Николая, го-

Михаил Федотов

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

(Роман, книга первая;
окончание; нач. в № 37)

родскую охрану и водяные мельницы — можно было додумывать самому. Был, впрочем, поворот на Гаарлем, со сказочными амстердамскими морскими воротами и тенью Франса Хальса, но сразу за указателем начиналось большое автомобильное кладбище, на котором рабочий-араб сбрасывал с грузоподъемника покореженные ржавые дверцы. И автобус помчался дальше. Земля была низкой, намытой вровень с чернью каналов. И кораблики и баржи тоже были низкими и скользили бережно, чтобы не вытеснить на мостовые ни грамма соленой воды.

Я стал быстро привыкать к городам. Было чувство, что в этом городе я не третий раз случайным проездом, а жил здесь всегда. Вот на этой Малой Невке. Сидел с удочкой на деревянных сваях. Учился на этой Карповке, заросшей крапивой и лопухами. Еще сотня ярдов — и будет амстердамский лепрозорий. Триста лет назад он был за этим поворотом. И железнодорожный вокзал снова был окутан зеленой сеткой и строительными лесами. И мимо шли озабоченные знакомые люди.

Но они меня не знали.

Я вышел из автобуса и по мощеной мостовой пошел разыскивать свою *straat* за площадью Рембрандта.

На площади стоял прохладный трамвайный вагончик — я его потрогал рукой, и он неожиданно зазвенел и унесся в глубь города. В таком городе приятно работать каменщиком. Но на это рассчитывать не приходилось. И пора было решать, что же делать дальше. О Канаде забудь. Можно поехать в любой город с булыжной мостовой, который меня на год примет. Не знаю куда. В Португалию. Чтобы над головой сушилось белье и из дворов несло интригами и кознями. Или рыбой. Или чем-нибудь реальным. И чтобы улицы назывались "Рембрандтами", а не трехзначными номерами.

Я кружил еще минут десять по каналам и остановился наконец у странного здания, которое было для меня ориентиром: с фасада окна двух этажей, а по торцу, вслед за возносящейся под очень острым углом красной черепичной крышей, шел бесконечный ряд мелких окошечек. Может быть для гномов или для троллей. Чугунные ворота нехотя раздвинулись — высокая очкастая старуха проводила меня внимательным взглядом. Я ей поклонился. Чет-нечет: тесный дворик выложен разноцветными брусками. Пять уровней мокрых крыш сходились над крытой галереей. За открытыми бордовыми ставнями виднелись непроницаемые витражные окна. Вход был дальше, в центре галереи. Звонка я не

нашел и несколько раз негромко постучал. Мать Стива была фламандкой, а отец – канадским французом, в Европу они наезжали редко, и десять месяцев в году квартира пустовала. Правда, верхнюю часть этого стиснутого домика они сдавали. Загудел зуммер, и Стив в халате пробормотал приветствие из дверей бейсмента: “Andreas, alive”.

Элайв-элайв. Справа в прихожей сушилось несколько глиняных бюстов. Я спустился вниз по мягкой лестнице. В сводчатом подвале было сыровато, я уже имел удовольствие здесь неделю назад напиться, но за неделю квартира стала похожа на жилье, а не на угрюмую кальвинистскую темницу. Пока Стив одевался в спальне, я перебрал его погребок, открыл бренди и, позевывая, откинулся в кресле. Сейчас бы лег и проспал трое суток. Хоть бы и на этом биллиарде. Не влияет. Свет мне тоже не мешает.

Мне мешает, что если устраиваться спать, то потом труднее будет разговаривать о деньгах. Деньги и документы – вот все мои с ним дела.

За эти дни моя стойка существенно изменилась: у Борьки в Тель-Авиве лежал мой диплом и хоть одна страна в мире готова была признать меня врачом. У меня было чувство, что я держу в руках свой поводок и опять не знаю, кому его вручить. Можно снять в гостинице номер и неделю пожить в Амстердаме. Или лететь к Борьке? “Надоело жить в Рязани и всю жизнь плясать кадрили”. Даже забавно. Возьму диплом, встречусь с Борькой. Там посмотрим. Денег на год хватит. Если я протяну год. Не жить же этот год в амстердамской гостинице, висеть у себя над душой и вести самому с собой пьяные диалоги. Удивительно дерьмовое бренди. Стив выполз из своей горенки, и я заметил, что глаза у него мутноваты. Он начал стучать меня по плечам, но достаточно формально. Из-под бархатного халата торчали худые нетвердые икры, скорее, не легионера, а сатира. Боже мой, как хочется спать. И спина болит. Как я все-таки всегда чувствую, что меня собираются надуть. Так не хочется никаких эмоциональных взрывов из-за денег.

– This is Hyanita.

Это красивый ход. Хуаниты я не видел, но какие-то звуки доносились. Потом из спальни выплыла темная девочка с замечательной осанкой. Отъем денег неожиданно затрудняется. Я всегда делаю одну и ту же ошибку -- мне достаточно слова, я не люблю письменных договоров. А когда приходит время расплачиваться,

слова их паршивого недостаточно, всегда начинаются игры. Хоть он тебе друг, хоть брат. У Хуаниты удивительный таз – не больше коробка хозяйственных спичек.

– I bet you are from Jamaica.

Так я и думал, фирма “Ливай” шьет для Ямайки специальные джинсы. Из одних штанин.

– How come you are here in Amsterdam?

– Studying.

Чему еще можно учиться, имея такую фигуру? Но все-таки что у нас происходит с деньгами? Сегодня. Я уезжаю сегодня. Сейчас. Хорошо, я подожду, Стив. Посижу сколько нужно и буду любоваться Ямайкой. Может, правильнее было бы сейчас лечь в постель вот с такой славной девочкой, которая любит этим заниматься? К белым любовникам она, похоже, относится снисходительно. И цену себе знает. Очень мило, что я теперь свободен. В далекой северной стране я получил отставку. Ты думал, что тебе нельзя найти замену? Я именно так и думал. А что ты теперь думаешь? Теперь я думаю, что у Хуаниты самая крошечная попка из тех, из всех тех, одним словом, из тех, которые я держал в ладонях. И забыть с такой зверюшкой обо всех поездках. У меня остался год, и я ни о чем больше не хочу помнить. Я пьянею, Стив. Я не чувствую к тебе никакой вражды, но для меня эта полутемная квартира необитаема. Только пьяные видения, и мне не с кем их разделить. Люди, которые могут меня услышать, все, странное дело, живут в Ленинграде, а меня носит как дерьмо по чужим квартирам, в которых мне нечего обсуждать. У Хуаниты замечательная грудь. Нераскрытые бутоны. Вздорные эллипсы. Но мы с вами разных видов, ребята, как собаки и волки. Мало, Стив, мало. Посмотри-ка на меня. Знал же ты, милый, что я приеду. До чего они цепко держат деньги. Да, я понимаю, что пришлешь, но мне бы лучше cash, и не потом, а сразу. Не увидимся мы, Стив, наверное, больше никогда. Жалко. Мне трудно расставаться с людьми. Спасибо за внимание. Fun is over. Второй доктор уже вернулся в свою “Торону”, уже снова смотрит Хоккей. С большой буквы. Я бы сейчас тоже посмотрел. Замечательный суррогат жизни. Через год вы, ребята, купите себе виллы в Британской Колумбии и спортивные самолеты. И я даже не уверен, что своим марципановым женам вы станете рассказывать, что же с нами происходило. No problem. В Канаде все люди говорят “no problem”. А сейчас короткий миг, когда мы еще не забыли, что в мире есть

проблемы. Героического с нами происходило очень мало. Героическое показывают по телевизору. И цепь неловких отвратительных дней можно превратить в легенду. Мерзость и унижения — все можно превратить в легенду. Трехлетних девочек с оторванными кистями — в легенду. То, что мой народ им подбрасывает заминированные игрушки, превращается в анекдот. Это не КейДжиБи подбрасывает, которого вы все так боитесь. Это мой народ подбрасывает. Завод в Серпухове. Сидят два цеха девочек и минируют кукол. Но это — мой народ. И поэтому, Стив, нам друг друга не понять. Я не знаю, что ты обо мне думаешь. А я думаю, что злые духи высосали из тебя душу и ты без нее прекрасно обходишься, понесло же тебя даже в такую жуткую авантюру. И мы прожили вместе не совсем обычный кусок жизни. Спину ломит. Сажусь и уже не разогнуться. Вот так, “бади”. Выяснилось, что жизнь не состоит из play off и налогов Трюдо. Play off мы видели на шоссе у Газни. По имени Саша Топорков из города Томска. Замечательная еще одна зловонная легенда, залитая испражнениями. Наши афганские друзья обрубили ему руки до плеч и ноги чуть выше колен. И аккуратно перетянули культы голубеньким электрическим проводом. Leutenant Sasha был еще в сознании. Чудного цвета. Как наша сексапильная подруга с Ямайки. Вот так, Стив. Видишь, я тоже все помню. Даже число — двадцать четвертое июня тысяча девятьсот восемьдесят второго года от рождения Христова. Шоссе Газни—Кандагар. Ваше здоровье! Мы его спустили по откосу к шоссе — это все, что можно было для него сделать. И потом еще долго не могли отмыться. У меня, кажется, еще до сих пор пахнут руки. Ладно, нет больше денег, значит, нет.

— So you owe me two grand. Don't forget! No cheating.

Самое смешное, что твои fucking money мне могут не понадобиться, но ты мне их вышли. Вещи? Вещи я возьму. Нужно вставать. Как бы удержаться и Хуаниту не погладить. Ее хочется съесть. Фантастическая фигура. Я уже год не дотрагивался до женщин. Кожа зеленая. Очень удобный цвет. Все, ауф видер зейн, я поехал в Израиль.

На улице мутить стало меньше. Дождь кончился. Я вернулся на вокзальную площадь, оставил спортивную сумку и “дипломатку” с бумагами на дебаркадере и посмотрел на свое тусклое отражение в воде. Стая нырков проплыла. Все похоже: пыль и ветер. Деревья так же гнутся. Пора возвращаться в аэропорт. Оставалась

последняя Беломоринка. Я закурил и бросил в канал пустую пачку. Визитом своим я доволен не был. Я не люблю, когда меня подводят. Поэтому я не принимаю никаких чужих услуг. Чтобы потом меня не постукивали по плечам со словами “май френд, у меня нет наличных денег”. Пропади он пропадом.

Смятую пачку “Беломора” прибило волной к стенке у моих ног, и недокуренный хабарик отправился следом. Пора переходить на ментоловый More. В общем-то, я неплохо съездил. Без неожиданностей. Я ездил прощаться с Дашей — и я попрощался. Если от жизни ничего не ждать, то и разочарований существенно меньше.

Итоги жизни неутешительные: тебя помнит один человек на свете, и, поскольку этот человек учится в пятом классе, шансов увидеться у вас уже нет. Мать ее нисколько не изменилась. Смешно было надеяться, что она меня ждет.

Пусть я сто раз виноват, но она ведь и писем моих не читала, и ничего слышать не хотела. Тяжело привыкнуть, что с твоей женой кто-то спит и она во сне кладет кому-то голову на плечо. Но тебе еще ко многому придется привыкнуть. Всюду крах. Финал. Ничего бы так не хотелось, как остаться в Ленинграде. Жить у нее на кухне и есть из рук. Плевать. Конечно, плевать. Что же я все-таки ее не окликнул? Неужели из тщеславия? Может быть, и так. Дай ей Бог здоровья. С этой темой покончено. К причалу пришвартовался уютный белый кораблик, речная собака, такие болтаются летом за Аничковым мостом, я останавливался около них в субботу. От “Европы” по Невскому, по пустым набережным — одинокий американский турист, со стриженным “по-ихнему” затылком. Меня никто не вел, и из уличного автомата я сговорился с шефом и с Геркой.

А на следующий день поймал Дашку, и Дашка была в порядке. Она надеется на встречу через семь лет, и я тоже обещал в это верить. Что еще я ей мог сказать. Таких детей надо было штамповать. Было-сплыло. Анка встала на ноги. И этого своего, так называемого мужа, она удерживает на дистанции. Так мне, по крайней мере, по ее движениям показалось.

И больше ни с кем я встречаться не мог. Два на два, если не считать Дашку: Герка и шеф, но зато родители отказались меня видеть. Я говорил с ними по очереди: задал отцу вопрос и через десять минут перезвонил. Подошла мать и сказала, что отец не может прийти в себя от моей наглости. Нет — значит, нет. А шеф узнал мой голос и сразу сказал: “Конечно, приходи, только ак-

куратненько". Что можно было отнести к его хирургическим присказкам. Шеф оставлял конец операции ассистентам и всегда просил: "Вы только аккуратненько". Шеф был самым вежливым человеком на свете. Его можно принять за лысого циркового борца. Из казанского цирка. Глаза стали жестче. Лицо — жестче. Татарская складка на затылке тяжелее легла на воротник.

Я показал ему свои метки на спине. И это была вторая причина моего приезда: Дашка и мнение Шакира. Глазами и руками. Безо всяких биопсий. Пока не влезают инструментом, еще на что-то можно надеяться. Не верить в операцию у меня хватает ума. И под электричку, пожалуй, я бросаться не буду. Чего я ною: я отлично прожил. У меня ни к кому нет претензий. И я готов к расплате. Диагноз, к сожалению, ясный. Мелана. Самая что ни есть. Но посоветоваться с Шакиром — это то, что я мог себе позволить.

Сначала мы поговорили о хоккее. Люди не видятся четыре года и начинают свой разговор с хоккея. О чем еще можно говорить с канадцами? За последний год я мало слышал о хоккее, разве что о травяном. Год назад я видел наших в Эдмонтоне. Странно, что канадцы проиграли турнир. Один Грецки стоит там целого "Спартак".

— Я сейчас не из Канады.

— А...

И все. Шакир не переспрашивал. Лучше меньше знать. После этого я снял свитер и показал эту штуку на пояснице. Цвета антрацита. Глаза у Шакира сузились до точки, и это все, что я хотел увидеть.

Потом он помял узлы. Стесняясь, посмотрел над ключицей. Небрежно посмотрел. Я все ждал, что он там посмотрит, и он понимал, что я жду, и я понимал, что он понимает. Если есть узел над ключицей, то можно отпевать.

— Я сам смотрю тут каждый день, но вроде бы нет ничего.

— Одевайся, Андрюша.

— Чем меня порадуете?

— Всякое бывает, Андрюша.

— Вроде бы явная.

— Неподтвержденная -- никогда не явная. По виду похоже, но ты же сам говоришь, что за год она не изменилась.

— Может быть, цвет.

-- Как ты ее заметил?

— Родинка там была давно, а я в прошлом году работал арматурщиком, знаете, весь день на поясе монтажном висишь. Где-то я ее и смял.

— Ты хоть мне не рассказывай, что ты теперь арматурщик, — задумчиво протянул Шакир. Он открыл бутылку “Ахтамар”. Он помнил, что это мой любимый коньяк. Разговор не очень клеился: мы чокались и молча пили.

— Может быть, вернешься?

— Все равно теперь, больше мороки.

— Ледохович при тебе защитился?

— Нет. Ну, так сколько, по-вашему?

— Почему ты не хочешь лечиться?

— Сколько у меня есть, Шакир Фитяхович?

— Ты же сам знаешь, что на такой вопрос не ответить. Хочешь, я скажу тебе — год?

— Мне тоже так кажется.

— Что же ты теперь собираешься делать?

— Не знаю. Скорее всего, послезавтра улечу.

Он неопределенно показал на мою спину.

— Ничего.

— Может быть, хоть голод попробуешь?

— Я уже пробовал. Ничего больше делать не хочу — будь что будет.

— Можно и так. Пишут же о самоизлечении.

О самоизлечении только пишут — я не видел. И Шакир в онкологии уже двадцать пять лет, но и он тоже не видел. Видели только журналисты. Шакир хотел что-то спросить про Анку, но я покачал головой. Мы обнялись. Ближе меня у Шакира не было никого.

А потом я поехал к Герке. И около Геркиного дома была случайная встреча, которых я так боялся. С какой-то нашей стародавней соседкой. Я ее не видел лет двадцать и на вопросы отвечал односложно: “Да, да, здоровы, работаю”. У соседки умер муж, и мы постояли, пока она вздыхала. Потом начала жаловаться, что в магазинах ничего нет — тема, от которой я поотвык. Она приехала в Ленинград из леспромхоза, и мы повспоминали еще, как пилили вместе дрова во дворе. Пилила она классно: пилу не дергала и ногу ставила на козлы, как мужик. Такие встречи были опаснее всего. А потом вышел толстый Герка, пошутил про Штирлица, и мы, как в детской игре, с шестидесятого номера вернули Буратино на тридцать пять ходов назад, в Геркином

скособоченном доме, в его крохотной квартире, сидячая ванна была по-прежнему забита бельем, и мы, как всегда, варили кофе в джезле и заедали его сухой печенюшкой. Без калорий. У Герки я снова закурил. Последнюю сигарету до этого я выкурил в марте, когда мы из Пешавара выезжали к афганской границе. Я не хотел ничем себя связывать, даже сигаретами. Чем меньше вещей призывает тебя к жизни, тем меньше хочется жить.

Герка сбежал в лабаз и принес две пачки "Беломора". Одна из них еще плавала неподалеку.

Встретаться с Анной Герка мне не посоветовал. Сказал, что она хорошо живет, успокоилась и не нужно ее дергать. И еще Герка сказал, что ему удалось добыть копии моих документов и он послал их моему сводному брату Борьке в Израиль и тот уже подтвердил получение. Герка порылся в бумагах, но письма не нашел.

Пора было уже что-нибудь съесть. Я побрел с вещами вдоль канала, набрел на ларек с сосисками, неторопливо поел, вымазал горчицу хлебом, заказал еще одну порцию и банку кислого английского пива. Набережная была грязноватой, грязнее, чем улицы в Швеции и в Канаде. Потом я сел на камень над покачивающейся яхтой, допил пиво и снова закурил. Яхта называлась "BAMBI". Наверное, назвали для детей. Как она отсюда выбирается в залив? Мосты все были невысокими. Может быть, разводят центральные пролеты. Снять домик в Португалии и купить такую яхту. Можно взять с собой девчущку с Ямайки и следить, чтобы она не трахалась с соседскими мальчишками. Денег как раз должно хватить. На Хуаниту и яхту. Когда Хуанита станет бабушкой, она будет весить сто сорок восемь килограммов. А ее спичечная попа станет размером вот с этот фургон. Что же делается с костями, они вроде бы к старости не растут? Как удастся пронести центнер лишнего веса на прежних костях? Это интересная диссертационная тема: "Экстензия тазовых костей у коренных жительниц Вест-Индии".

Какой же сегодня день? Неужели еще вторник? И только вчера я посадил Дашу в метро на Звездной, пропустил два поезда и поехал за ней следом? До этого мы три часа провели вместе в Павловске. В гостинице мои вещи тем временем добросовестно прошмонали, но там трудно было что-нибудь найти. Даже одежда фабрики Володарского давно истлела. Или не Володарского, Володарского папиросы, но похожее название.

Я чувствовал, что так кончится: за мной с утра пристроились

два стертых мальчика, и мы ходили втроем у Думы, поглазели на прохожих. А потом спустились в метро. Это все-таки удивительно: уезжаешь-приезжаешь, жизнь проходит. А метро как ни в чем не бывало работает. Эскалаторы вниз едут и вверх. Еще даже ноги высоту ступенек не забыли. В подошедший поезд я не сел, и мы имели возможность осмотреть друг друга, оставшись втроем на платформе. А в следующем поезде я придержал дверцу ногой и успел выскочить, а они уехали к "Техноложке". Второй раз бы я так рисковать не стал.

А вот в этой "дипломатке", которая оставалась в Амстердаме, уже было много на русском языке и лишнего: дневники за несколько лет и тетрадка стихотворного блуда. Непонятно было, что с этим литературным наследием делать. Дневники я писал, чтобы унять страсть к переписке и общению с людьми. Можно наделать бумажных корабликов и пустить их в канал. Или запечатать в фигурные бутылочки из-под "Кока-Колы". Я потянул наугад одну страницу: "...делаешь над собой усилие, когда женщина раздевается и, выворачивая себя наизнанку, стесняясь, сутулясь, обнажает очень-очень стыдную грудь. И через это, через щемящее сочувствие, вдруг в грудь влюбляешься, влюбляешь себя, в никакую, в высушенную, в любую, в сам этот стыд, акцентируешь самое уязвимое место и начинаешь здесь расслаблять, приручать ее...

...почему-то за границей женщины вяжут, но не мотают постоянно бесконечные клубки. Мотать клубки -- это какое-то наше национальное таинство...

...сильное предубеждение против немцев, при том, что любимые писатели -- немцы. И против немок. Против немок, пожалуй, больше нет. Во многих, как и в русских, есть незавершенность и отсюда свобода. Лени у Белля похожа на Ленку Сонину..."

Романтично. Дневник молодого Вертера. До конца не поверить, что я когда-то мог это писать. Тогда я еще мотался по Европе. Оказалось, что без легализованного диплома никакая медицина нигде мне не светила. А легализованного в министерстве юстиции диплома у меня с собой случайно не оказалось. Всем моим сомнительным богатством оставался советский паспорт. Клыкастый и мордастый.

Врачебная мафия везде очень хорошо охраняет себя от вторжений.

Первый кораблик получился с низкими бортами, и ленивой

волной проходящего мимо катера его сразу залило. И он, вместе с немками, и русскими, и “уязвимой грудью”, начал медленно погружаться.

Больше читать не хотелось. Идея Амстердама начала себя изживать. Я уже мог возвращаться в аэропорт.

.....
Мой рейс несколько раз переносили, пока наконец не назначили на пять часов утра. И ночь я, вытянув ноги, провел в кресле. А в четыре утра сам проснулся.

Залы на Израиль были оцеплены военной полицией. Я сполоснул лицо в туалете и пригладил волосы.

В кармане еще бренчала голландская мелочь: можно было закупить в никелированном автомате презервативов, надуть праздничные шары и полететь с ними по миру.

Глава 21. От Анны

К Герке я попала...

Хочется все перевернуть. Очень все раздражает. Снова нужно стричься. Я прочитала, что в кончиках волос хранится память — идешь к парикмахеру, и каждый раз кажется, что жизнь начнется заново.

К Герке я попала только через три дня. Телефон не отвечал. После работы я прогвливалась у него под дверью — моя записка торчала нетронутой в складке лопнувшего дерматина.

В понедельник, не застав Герку, я поехала к родителям Андрея. Я не видела их больше года. Надо вспомнить: год и три месяца. Телефонные разговоры не в счет. Когда-то мы вместе с ними жили, но не очень долго. Несколько месяцев. Тогда я сделала для себя очень интересное открытие: нельзя хорошо относиться к человеку, который тебя не переносит.

Далинские живут на Голодае. Это единственное место в Ленинграде, которое не переболело девятнадцатым веком. Много света, залив в осоке, пешеходов сдувает вдоль матросских слобод. Мне никто не верит: я видела там один раз двух живых коров.

Солнце уходило в воду.

От близости моря меня сразу стало познабливать. Ничего не случится — зайду на секунду, спрошу и уйду. Еще сорок лет прожить, и все равно она останется для меня свекровью, вызывающей

во мне дрожь. Дверь в квартиру была приоткрыта, в воздухе светились пылинки, и на фоне солнечного окна за столом сидели два постаревших силуэта. Два силуэта. Больше никого. Ни души. Я гонялась за тенью. Арон начал суетиться, подставляя под меня табуретку, я, грешным делом, подумала, что он пьян. Он был в тужурке без погон, со следами орденских планок и затертыми форменными пуговицами. Они только сели ужинать. Пока Арон Максимович снимал мой плащ, у него дрожали руки. Но мне он мог не вкручивать: несмотря на двух уехавших сыновей от обоих его браков, он оставался профессором-консультантом крупного НИИ, и ни уволить, ни тронуть с места его почему-то не могли. Там работала жена Юрки Сорокина, и она говорила, что если на свете бывают живые драконы, то один из них пудовыми волосатыми кулаками сейчас накладывал мне на тарелку селедочный винегрет.

Но я не стала долго ломаться и спросила: "От Андрея ничего не было?" Пуф-треск-бум-трах. Ладно, ладно, я пошла. "...такую наглость" и "...с ним ничего общего". Я сама не имею с ним ничего общего. Во всяком случае, не имею, пока я его не нашла. Заявлений для печати при мне можно не делать. Арон Максимович, впрочем, молчал. Ел свой винегрет, будто ничего не слышит. У меня мелькнуло подозрение, что без этой мегеры он бы мне что-нибудь мог сказать.

Дашка их любит. И они Дашку любят. Следующий раз пошлю Дашку. У меня дико разболелась голова, и от Далинских я решила поехать в аэропорт. Я не надеялась его там увидеть, просто хотелось успокоиться, но мне там даже посидеть не удалось. Я металась по залам и еще больше устала. К залам иностранцев я и не приближалась, видела издали, как привезли два автобуса нарумяненных скандинавов. И сгрузили.

Хвост такси стоял, машин восемьдесят свободных. Но куда на них еще поехать, я не знала.

В следующие дни я только заходила к Герке в его промозглый подъезд. Ничего. Резанет острым кошачьим запахом, и в дверях белеет моя записка. Герку никто из знакомых не видел. А в четверг я, не размыываясь, отстояла две операции, и еще вечером у меня было длинное дежурство — я кого-то замещала до полуночи. Я успела написать почти все истории, переводной эпикриз и двух больных выписать; от одной из них мне весь день удавалось уворачиваться, но вечером она меня подстерегла у двери с большим свертком в газете. Когда я подошла, она стала мне засовывать

сверток в руки. Сверток я взяла. “Анна Васильевна, что же у меня все-таки?” Я посадила больную за свой стол, незаметно прикрыв все бумаги с полулатинскими диагнозами, и начала свои стереотипные перепевы: “Ничего от вас не хочу скрывать (это предварительная фраза полного вранья). Плохого (я со значением зависаю на этом слове) ничего особенно нет, но и порядка тоже нет. В общем, вовремя мы вас оперировали”. Большого я сказать не могу – вроде бы в других странах говорят, но у нас не принято, считается, что очень травмирует психику. Что думают про себя сами больные, никому не известно. Заболевшие врачи, с которыми я сталкивалась, мысль о болезни от себя гонят и всему стараются верить. Правда, для врачей мы заводим по две истории – поддельные отдаем на пост, а настоящие держим в столе у заведующего. Работай я в своей собственной клинике, я бы говорила правду. Или не говорила бы. Я не могу окончательно решить.

Остаток историй я дописала на кухне, пока снимала вечернюю пробу. Поболтала немного с потной поварихой, она мне рассказывала какие-то небылицы, а я писала машинально свое “состояние удовлетворительное, сердце, дыхание, живот мягкий, безболезненный” и ей поддакивала. Я люблю сидеть на кухне, но и здесь меня нашли: в хирургии у послеоперационного промокла повязка, а в радиологии больная с кобальтом пожаловалась на острые боли в животе, пришлось ее разрядить. И у двух больных были послекамфарные абсцессы. Я сделала выговор постовой сестре, что они не греют ампулы, а она огрызнулась, что и назначать не зачем. Я подумала и сдержалась. Сама я камфору не назначаю, а с радиологическим отделением отношения у нас прохладные, пусть что хотят делают. Перед самым уходом, когда меня, растерзанную, пришел менять свеженький и отутюженный коллега, я набрала наудачу Геркин номер – было занято. Я набрала внимательно каждую цифру – занят. Я, видимо, была немного не в себе, доктор Клементьев, я чувствовала его взгляд, с интересом меня рассматривал. Я не стала ждать, позвонила Алешке, сказала, что задержусь на работе (доктор Клементьев хмыкнул), под проливным тарабанившим дождем поймала у больницы машину и поехала на Петроградскую сторону.

У Герки горел свет. Записки в дверях больше не было. Я сняла мокрый плащ и стряхнула его над зияющей подвальной лестницей. За шиворот текла противная холодная струйка. Я пошарила в сумочке, но зеркальца не нашла. Где-то я его сегодня забыла. Ноги

стали совсем ватными. Я точно знала, что сейчас произойдет чудо. Я редко настолько доверяю своей интуиции, но сейчас меня как вспышкой ослепило — он здесь. Я точно знала, что он был за этой дверью. Я видела его сквозь стену. Я дала себе волю, о престиже можно было не заботиться — зрителей все равно не было. Я медленно нажала красную кнопку звонка. Дожила: я уже перестала верить, что в жизни может случиться что-нибудь хорошее. Господи, сейчас все твое. За дверью были глухо слышны голоса. Я должна была успеть что-нибудь обещать. Как на падающую звезду. Пока она летит. Меня осматривали в смотровой глазок. Уже открывают. Если он здесь... Что? Я не знаю что. Я должна успеть, пока не открыли дверь. Ни слова лжи в моей жизни. Даже если его здесь нет. Даже если его здесь нет. Зазвенела цепочка. Я успела. "Баа!" — открывая дверь, протяжно сказал Герка. Он сиял и приветственно отдувался. В каком-то немыслимом шелковом халате с черными тюльпанами. На голую розовую грудь. Я прошла сквозь него в комнату. Андрея не было. На диване сидел развалившись этот их семнадцатилетний звереныш и смотрел на меня почти испуганно.

Я упала в кресло и попросила у Герки разрешения сбросить туфли. Туфли очень жали — узкая колодка, нужно было по лужам бежать босой. Девочка, похоже, ждала, что я сейчас разденусь догола. Андрея не было. Сидела вместо него Машенька и неодобрительно меня оглядывала. Я бы сейчас еще сняла колготки. Мне все мешало. Глаза у меня, наверное, немного блестели. Но я была очень спокойна. Мир не перевернулся. Я могла запросто с ними разговаривать. Трубачев на все реагировал очень мило: он постоял в дверях и пошел заваривать мне кофе. Вся квартира пропахла кофейными зернами.

Я выпью с ними кофе. А глаза могут блестеть от дождя. И от ветра. Я чудесно все замечала: у Герки появилось новое кресло, раскиданы были пыльные книжки, перефотографированная "Лолита" третью неделю была раскрыта на сто четвертой странице, "Доктор Живаго" без обложки и всякий еще печатный вздор, которым Герка соблазнял новых девочек.

Я их много разных видела, большинство в плиссированных юбочках и обязательно челочка заколота невидимкой. На девочек из хороших семей особенно действует беспорядок: тиски, канифоль, паяльники на столах, станки с колесами. От ювелирных мастерских они совсем пьянеют. И у Герки тоже мило: разобран-

ные магнитофоны, печатные машинки без корпусов, старые афиши, облезший медведь на диване, в которого можно закутаться и сидеть часами. Геркины девочки, в конце концов, выходили замуж за инженеров, которые рано засыпали и прихрапывали.

— Нежареный зеленый кофе, только сегодня украден из порта!

— Я чувствую, что его уже поджарили. Можно, я руки помою?

В ванную было жутко входить. Я не торопясь, теплой водой помыла руки и вытерла каждый палец отдельно и шею. В ванной кисло замоченное белье, я подумала, что можно постирать его для Герки, но у меня не хватило порогу до него дотрагиваться. Интересно, когда эта девочка пойдет домой, скоро уже транспорт перестанет ходить.

Герка сидел на подоконнике и картинно разглагольствовал: “Я, Машенька, не боюсь ответственности — я ее принципиально отвергаю: я не женюсь, потому что я ни одной женщине не могу гарантировать, что я с ней проживу всю жизнь, а обманывать жену мне противно, я не завожу детей, чтобы не обрекать их на безотцовщину и на всю эту грязь, к которой мы по необходимости привыкли. Зачем рожать детей, чтобы их так калечить? Я не взваливаю на себя больше, чем могу унести. И наконец, я не работаю. И не буду. Я ничего не создаю, но я и не вношу в мир лишнего зла, а кто еще этим может похвалиться? Назови мне хоть одну городскую специальность, минусы которой не перевешивали бы сомнительную пользу! Вот спроси у Анночки, она уважаемый член общества, помогают ли больным ее операции? Она полна благородной уверенности, что в состоянии продлить старушкам жизнь...”

— В этом я как раз не уверена, — сказала я.

— ...но, во-первых, надо спросить старушку...

— Герка, ты знаешь, зачем я приехала?

Машенька подняла голову.

— Думаю, что ты приехала соблазнить своего старого друга.

Ануля, ты не могла бы объяснить Машеньке...

— Хорошо, я объясню. Скажи, что, он в городе?

— Кто он?

— Андрей.

Герка недоуменно поджал нижнюю губу:

— Насколько я знаю — нет. А почему ты спрашиваешь?

— Я пошутила. А ты серьезно считаешь, что старушки...

Ответа я не слышала. Глаза слипались, и в одну секунду на ме-

ня напала невероятная сонливость. И еще было смешно. Я засыпала и тихонечко смеялась: ничего не было, я придумала все от начала и до конца. Моногамная истеричка. Сладкий бред. И как красиво. Чудесная вставочка про зеленые плащи. Не нужно всплесков. Никому не придет в голову звонить тебе на работу. Дана тебе жизнь и спокойненько ее проживай. Без игр в таинственные звонки и международных ковбоев. Любимый исчез, но зато я теперь могу утешаться тем, что моей жизни коснулась печать мистики. Среди всего этого безобразия звонит мой сбежавший герой. Я смеялась чуть слышно, но девочка все-таки спросила меня исподлобья: "Что у вас стряслось?" Я покачала головой. Но звонок был таким явственным, как Геркина комната и это несчастье на диване. И звучал, как сейчас, его голос. Я снова услышала голос Андрея и сказала ему: "Мне показалось, что ты звонил" — "Я жду тебя внизу". — "Тут лестница не работает". "Непочатый край работы", — сказал он почему-то, и я очень осторожно приоткрыла глаза и снова закрыла, чтобы они видели, что я не сплю, а просто так щурюсь. Не может быть, чтобы они не слышали наш разговор. А у Машеньки я разглядела разноцветные радужки: правый глаз зеленоватый, а левая радужка с рыжей подпалиной. Я почему-то решила, что она любовница Андрея. Наверное, я все-таки успела увидеть сон: насколько меня находили нужным ставить в известность, Андрей девчонками не интересовался. А я дала бы голову на отсечение, что Машенька — девственница-перевственница, тело у нее было скручено в пружинку, а на губах еще лежала пыльца. Как у бабочки. Я все еще смеялась, и они смотрели на меня растерянно.

-- Герушка, сейчас я уйду, и ты девочке все дальше расскажешь.

Я собрала себя по частям и, пошатываясь, пошла к выходу. Герка шел за моей спиной и нес мои туфли. Время было уже около трех. Фонари горели мертвенным блеском. В парк прошел троллейбус. Я могла пойти пешком, но с Карповки выехало такси и взвизгнуло, тормознув у тротуара.

— На ту сторону? Не успеем!

— Может, попробуете?

-- Я поеду, но не обещаю.

Мы понеслись по Кировскому подо все светофоры.

— Успеем?

— Да какое там, вон уже елдырь встает. Теперь только через Володарский мост.

Меня вдруг как током дернуло.

— Вы можете остановиться у телефона?

Я снова набрала номер.

— Герка, это опять я. Только ты не ври! А он БЫЛ здесь?

— Был.

— Сколько времени?

— Три дня.

— И ты его видел?

— Да.

Как просто все. Спокойной ночи. В такси было накурено и темко. На Кировском мосту уже стояло несколько машин. К нам в окошко постучали:

— Эй, Баранкин, поедешь на Комендантский?

— Не видишь, занят! — огрызнулся мой шофер не поворачивая головы.

— Тебе же все равно стоять!

— А куда я барышню сажу? — и обратился ко мне. — Так стоять или через Володарский?

— Стойте. Сведут же его когда-нибудь. Я сумочку тут оставляю, пойду на мост посмотрю.

Шофер ничего не ответил и положил голову на руль. Я прошла за ограждение и подошла к самому краю моста. Два буксира на растяжках проводили вверх по течению длинную баржу с горой песка. На палубе, переплетая ноги, стояла женщина, и около нее лежала непородистая шавка. Больше никого не было видно. Белье на веревочке сушилось: узкие простыни и детские вещи. С женщиной я встретилась глазами, она была года на три моложе меня. В песок можно было с моей стороны оттолкнуться и прыгнуть — ничего бы не стряслось. Я вернулась в машину. На счетчике было около полутора рублей. Проснулась я уже утром. Как я домой добралась, я не помню. Ничего не помню. Выглядела я ужасно — лицо асфальтового цвета.

Глава 22. От Андрея

В самолет вел голый складной коридор. Люди по нему шли не очень еврейские. Два здоровенных американских негра дело-

вито на ходу поправляли джинсы, а за моей спиной был сплошной поток японцев, и я на всякий случай проверил надпись на билете. Японцы быстро и весело расселись, женщины отбросили подлокотники и устроились босичком досыпать растерзанную ночь. Рядом со мной руководитель японской группы держал на коленях гору паспортов и составлял длинный список. Веки слипались. Мне передалась общая сонливость. Небо постепенно начало сереть. Когда я закрывал глаза, по телу пробегал дурманящий ток и мимо начинали проноситься завитушки и обрывки рифм, стихотворных осколков и ядер. Их можно было пощупать и записать. Плохие рифмы принадлежали мне, а хорошие попадались по ошибке, и их нужно было выпускать обратно. “Я весь день писал стихи, путал “Доджик” с дождиком, с голодом пустой живот, сапоги с сапожником...”, “В окошко улица видна: шериф, пожарник, склад зерна, кареты стук...”, “Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным...”, “...и сплю я тревожно Германию всю” – начало прослушал, “что-то-там-квартал, и я оставлю в тайне, куда я на три дня летал из Франкфурта-на-Майне”. Во Франкфурте жареные сардельки в ларьках были вкуснее голландских и мудрено назывались Колбассен. Из такого слова Андерсен мог бы сочинить целую аппетитную сказку.

Когда я открывал глаза, рифмы исчезали. Тогда я тоже сбросил туфли и попытался настроиться на японский поток сознания, но у меня ничего не получилось. В уме сложился китайский ресторан в американском чайна-тауне и жареная, но почему-то живая, утка. Потом снова бесполезные клочки: “Для них пляши – нас будят криками индейцы-алкаши”, “и в город, куда больше нету пути” – начало опять прослушал.

В активе была женщина, которую я бросил. А в пассиве было, что я ее все еще люблю, и она вышла замуж. И три часа полета для того, чтобы от этого освободиться. Я выйду из этого самолета и больше никогда о ней не вспомню. И в памяти не останется следов.

Я достал свою дипломатку и вынул из нее пожелтевшую ученическую тетрадь. Но сначала я внимательно прочитал надписи на обложке: законы пионеров Советского Союза и адрес московской фабрики “Восход”, Олсуфьевский переулок, дом 10, год и артикул. Артикул и Колбассен не рифмуются. Жили-были два друга – Артикул и Колбассен.

В самолете делали объявления на трех языках, один из которых был английским, а один из двух оставшихся, наверное, ивритом. Японец с каменным лицом смотрел вперед и мне не мешал, я посплюнул палец и открыл первую страницу.

Мороз три ночи кряду.
Подвал мой леденя,
Надежно ты, Канада,
Упрятала меня.
И скудные зарубки
В твоём календаре:
Забывший голос в трубке
И письма в январе.
Разлуке где завещанной
Незримая черта?
Но Пулково зловещего
Не раскрывает рта...
и так далее.

Режь по живому. Нельзя оставлять никаких долгов, а любовь – это долг. И связывает и меня, и ее. Мне никто не нужен. Следует это хорошенечко запомнить. “Зловещего рта” – была первая зима в Канаде, в городе, где за зиму было по пятнадцать весен. Горячий воздух спускался в мисочку, окруженную холмами, и все оттаивало. И сразу выяснялось, что это не зимой в этом городе нечего делать – в нем вообще было нечего делать.

...Я в офисе: “Какой подлец накапал?!” –
Под писсуаром ночью пятна тру.
Давно ли, сэр, швырял ты скальпель на пол,
Сердясь на подающую сестру...

Мне было интересно испробовать все эмигрантские работы. До сих пор я огорчен, что так и не довелось вымыть груды ресторанной посуды. В ресторане я входил в социальную группу номер восемь: я возил мрачную оцинкованную бочку со сложным раствором для туалетов и вмонтированной системой для отжимания квача.

Через два месяца я стал замечать, что вырабатывающееся на этой службе выражение лица – смесь высокомерия и ожесточенности

на фоне малайской фисташковой желтизны — начало фиксироваться. Я не предполагал, что работа накладывает такой отпечаток на внешность. Существенно новым был страх, с которым, громыхая бочкой, я стучался в женские туалеты на каждом из этажей. Это было больше меня — pitfall, волчья яма сексуального маньяка. Розовые пятна на полу открывали тайники ажиотации, в норме недоступные.

От порыва ветра и от взгляда,
Ты, глаза ладонью заслоня,
У ворот Юсуповского сада
Встретишь виноватого меня.
Моего не слушая вопроса
И мотнув изящно головой,
Ты мне снова "нет" напишешь косо
Мелом...

И приписано: "Когда тебе год не отвечают на письма, пропадает желание писать. Сначала я думал, что она моих писем не получает. Пустота не временная, а как пережил всех родных и уже поздно заводить новых".

На вершинах Альп уже был снег. Хотелось взять две пригоршни и потереть им морду. Над Италией полоса дождей кончилась. Мы летели над морем, над темными разбойничьими островами с глубокими сабельными шрамами — от виска до подбородка. На тележке развозили напитки, я выбрал сок и не ошибся. Стюард забрал стакан и обещал завтрак. Читать уже не хотелось. В иллюминатор был виден длинный танкер. Может быть, наш. Острова-кляксы. Кипр. Греция. Или Турция. По Турции проходит Пулковский меридиан. Нет, Турция левее. Продукция Олсуфьевского переулка все еще лежала у меня на коленях, страничка была для Дашки: в ту зиму и весну я работал шофером. Какой же это год? Все уже сбилось. Год, когда на смотровой площадке у "Крайслера" побило градом все новенькие машинки.

...Сигара, темные очки,
И шляпа на затылке:
Из леса в парк вожу дички,
Звенящие бутылки
(они "сдаются" без борьбы),

Потом везу кусок трубы,
Забор, лопаты, тачки,
Бычка, кухонную плиту,
Газет четыре пачки...
Пора признаться: "Борода,
Ты что-то ездешь не туда!"

Грузовичок у меня был маленький, уютный и трехтонный, но в центре города, в Даун-тауне, даже небольшой грузовик запарковать было очень сложно. Приходилось делать круг за кругом, пока не освобождалась маленькая щелка, или ставить его вторым рядом, с огнями, и бежать, запаренному, с каким-нибудь ящиком или с цветным телевизором, рвать из рук у секретарши подписанную накладную и успевать к машине, когда ее уже обнюхивала полиция.

Подклеено письмо от Дашки, и в нем Дашкино стихотворение:

Мне не уснуть —
Я днем спала,
Так голова кружилась,
Жаль, книгу на ночь не взяла,
Не помню, как ложилась... (Девять лет.)

И внизу про школу и что она кончает "Трех товарищей": "...Ленца убили!" Принесли горячий завтрак. Я взял с подноса пластмассовый нож, разжал олсуфьевские скрепки и вынул из тетради середину, потому что середина была написана ей. А "ее" на свете больше не было. Тетрадка стала худенькой и строгой. Под ногами лежала приоткрытая сумка японца и, пока он бегал по самолету, я по ошибке сунул четыре ученических листа на дно глубокого бокового кармана. И с плеч ушла тяжесть. Остались всякие молодецкие вирши, которые никого не задевали и не грели. Даже и не стихи, а стихи-письма дочери.

Шагаю один по обочине пыльной
С улыбкою глупой, с надеждою сильной,
Несу на себе инструментов полпуда,
А стройка моя миль сто десять отсюда.
В ущелье лесном, как разбойник из сказки,
Я стану рабочим в оранжевой каске...

Все было намного прозаичнее: сидел вечером у знакомых из Душанбе, и весь вечер с Раисом жрали водку. А его жена разбирала старые вещи и наткнулась на свою марлевую маску. Я взял эту маску и завязал ее — под уши и на макушку, я не любил завязывать маски на шею. Валька расплакалась: она раньше работала заведующей анестезиологическим отделением в республиканской больнице, и запах с маски за два года еще не выветрился. Я тогда работал в Банфе, горном курорте рядом с Калгари — что за черт, ни в одном городе я не смог дожидаться Олимпиады! Я висел целыми днями на поясе и вязал арматуру, а над строящимся водохранилищем пролетали вертолеты с раскачивающимися сетками, и я жалел, что рядом нету Дашки: мы работали в заповеднике и в сетках перевозили потревоженных бульдозерами гризли. И для Дашки были горы и гризли.

Холодное утро и час еще пятый,
Иду я растрепанный, грязный, помятый,
Попутки ловлю большим пальцем руки,
Металлом обиты мои башмаки,
И сам я стальной — мои мускулы троньте,
Жаль только, машина моя на ремонте...

Точнее, не машина, а оба-два одра, “Форд” и “Олдсмобиль” десятилетней давности стояли на приколе вдоль дома, и нужно было покупать третью — меньше и новее. А эти майна-вира и на свалку. На следующей странице был уже нормальный сухой голос американского функционера, которого я добивался.

Давно из всех глагольных форм
Я верю только в present.
Мы по weekendam (я и форд)
Какой-то ищем crescent,
Поставив крест на “пустяке” —
На всех, на жизни данной,
Чтоб на канадском языке
Кого-то трахать в ванной.

И дописано: “Нескладная жизнь, даже жениться нету мочи”.

Когда же все это происходило? Я помнил, что ездил в столицу провинции говорить с медицинским консулом. И в обратном автобусе я два раза поймал женский взгляд и сел рядом. Было уже очень поздно. Или темнело рано. Часа два мы молчали. Было

только какое-то ерзанье. А потом она положила мне голову на плечо. Так это началось. Позже Helen сказала мне, что я был невероятно напряжен. "I thought you are German".

Опять про Канаду, про которую я уже ничего не могу слышать.

Случилось это исподволь, не сразу,
И город ведь, попал я не в "дыру":
Проходит день — не только целой фразы —
Я к вечеру двух слов не наберу...

И в том же духе шутивное письмо Косте Нестерову:

Тоскуем все и жить начать бы заново,
Вернуться на Васильевский в КаБэ,
К ребятам вечером ввалиться в дом в Чертаново
И греться у сангала в Душанбе.
Россия, — та, пожалуй, ближе к Богу,
Как "Беломор" честнее, чем "БэТэ",
Зубрим язык, нет времени на йогу,
И денег нет на школу каратэ.
И не живешь, а так — в потемках шарить,
Вот вырвались, казалось, из оков.
Считаем деньги, водку пьем "Tovarish"
И долго материм большевиков.
Работы — нет, с любовью туго плотской...
Не торопись! Целуй своих, пока.
P. S. Сказали мне — в Москве погиб Высоцкий
И Саня Якушев ушел из "Спартака".

Было еще что-то из "юношеской лирики", но меня это уже никак не трогало. Никак.

Я так хочу, Канаду сдуть как пену,
(Очень свежее пивное сравнение.)
Тебя с трамвая встретить на Сенной...
(Не могу вспомнить, почему именно на Сенной.)
О, Господи, какую просишь цену,
Чтоб эта женщина всегда была со мной?!
(Японец уже, к сожалению, вернулся на свое место.)

Приписано:

"Я переоценил свою независимость от нее. Есть типы привязанности, напоминающие наркоманию: не отнять. "Я ее люблю" на

письме выговаривается через силу. Хоть пора себе в этом признаться. Чтобы не обращать на нее внимания, мне нужно иметь ее на расстоянии вытянутой руки. То ли полменя, то ли привычка?"

Не то и не другое. Любовь -- это управляемый мною процесс. Моя шкура затягивалась прямо на глазах. На последней странице было одно чрезвычайно смешное стихотворение, кончавшееся словами:

"...дотронуться до Вас
и умереть".

Я дотронулся. И не умер. Я съел курицу и начал высматривать в иллюминатор африканское побережье.

Глава 23. От Андрея

*"Как вишни расцвели!
Они с коня согнали
И князя-гордеца".*

*О. Исса. С японского.
Конец восемнадцатого века.*

Сначала показалась тонкая полоска, поясок на яркой небесной рубашке. И она долго не приобретала объема. Будто на плоском голубом панно они наметили себе узкую щель земли. Мой японец схватился за камеру и начал очень часто фотографировать.

— It reminds me of kamikazi flying along at wave level on their way to the target.

Японец вежливо улыбнулся.

— Do you know what I mean?

Японец кивнул.

— American aircraft carrier is not worth sacrificing the cream of Japanese manhood*.

Японец еще раз вежливо улыбнулся. Хорошо бы он до приземления не начал копаться в своей сумке.

* — Это напоминает мне камикадзе, летящего к борту авианосца вдоль волны.

— Вы понимаете, что я имею в виду?

— Нет смысла уничтожать цвет японской нации из-за американского корабля.

У берега болтались несколько цветных парусов и точечные макушки купальщиков. И белый город. Как угадать город, в котором выпадет умереть? Этот был, на мой вкус, слишком белым.

Самолет приземлился, и его снова оцепили автоматчики. Не полиция — армия. Так я себе представлял Родезию: джипы, пальмы и автоматчики. Но меня интересовали лица. Никогда бы я не принял этих мальчиков за евреев. Скорее, греки. Смуглые сухопарые солдаты с пилотками под погонами и такие же воронята-девчонки в формах на пропускном пункте. Я ущипнул себя за ухо — занесло же меня, я нахожусь в мифическом Израиле — вот он. Таможня меня даже не осмотрела. На улице начинало печь. Таксисты расхватывали пассажиров — меня увлек за собой нагловатый разбойник, назвавший меня “мистером”, и я ему ответил: “Мне в Гагры!”. Он засмеялся золотым зубом и сказал по-русски с акцентом: “Сделаем, дорогой, как угадал, что я с России?” — “Чутье”. И мы поболтали по дороге о том и о сем. Место называлось Рамат-Ганом, я расплатился канадскими долларами, и шофер их принял. “В Грузию-то не хочется вернуться?” — спросил я, вылезая из машины. “В Грузию не хочется. В Ташкент хочется”, — сказал он и уехал, а я обнаружил себя около трехэтажного дома без особенных затей. Стены и крыша на восьми куриных ножках, вероятно, от наводнения. Я поднялся на последний этаж — дверь была закрыта. Тогда я уселся с вещами на маленький заборчик во дворе и начал раздумывать, что мне делать дальше. Пожилой араб в косыночке цементировал на корточках забор. Куда ж нам плыть? Было еще достаточно рано. “За окошком света мало, белый снег валит, валит...” — нужно где-нибудь оставить вещи и отправляться на поиски. Почему же я из Амстердама Борье не позвонил? Дешевый любитель сюрпризов.

Тут я заметил, что с ближайшего балкона меня внимательно разглядывает пожилая женщина. Была не была.

— Экскьюз ми, Далинский. Бо-рис Да-лин-ский. Шпрехен зи дейч?

— В седьмую квартиру зайдите, она должна знать, — ответила она.

В руках у женщины был заварочный чайничек, из которого она поливала кактусы. Второй встреченный человек говорил по-русски. Чудеса.

И я еще раз поднялся наверх. В седьмой квартире жила довольно молодая женщина, не толстая, а какая-то расплывшаяся, в России

таких зовут “распустехами”. Мы объяснялись под младенческий вой, и то, что я услышал, меня особенно порадовать не могло: Борька с женой разошелся, служит на севере, в Тель-Авиве бывает редко. Год назад у них умерла дочь, про которую я, к стыду своему, вообще ничего не знал. Я оставил вещи, обещал прийти за ними вечером и взамен получил бумагу с двумя адресами и Борькиным домашним телефоном. Борькина жена переехала на соседнюю улицу, домой возвращается в семь часов вечера. На правах бывшего родственника я решил к ней вечером забежать, может быть, она еще какой-нибудь его адрес знает. Не такой уж этот город и белый. Разошлись. Невеселая история. Мою племянницу звали Елизаветой, и было ей два года.

Человек родился, и вдруг в два года он умирает. Или в тридцать шесть. Невеселая история.

До вечера я свободен, город отдается на разграбление. Надо было в чемодане взять плавки. Куплю.

Меня не покидало ощущение странной улицы — обычный европейский квартал, каждый метр на лавочках — угловые, тесные, овощные, обувные, но чего-то не хватало. Ага! Не хватало окон. Жалюзи, жалюзи, жалюзи — ни одного окна. “За окошком света мало...” — привязалась ко мне с утра эта мелодия.

Машинки после американских казались игрушечными — “Пежо”, “Фольксвагены” и “Фиаты”. Еще какие-то причудливые коробки с обводами “бабочкой”. Я зашел в прохладный банк и поменял деньги: денежный калейдоскоп продолжался, пачку вручили не такую яркую, как в Голландии, но зато еще толще. Теперь можно купить плавки и залезть в море. И не вылезать до семи вечера. Квартиру сниму у воды, с полным пансионом, буду ходить на пляж, думать о вечном и чинить хозяйке пробки. Что еще должен делать мужчина в доме? Я давно не был мужчиной в доме. И о вечности все было не подумать. А смерть и жизнь — это равные переходные состояния. Одно не лучше другого. И мне уже давно не два года. Я посмотрел, где я нахожусь — “Жаботинского”, легко запомнить, я знаю целых двух, потом по этой аллее и налево. Можно садиться на автобус. Движение в городе было довольно плотным. Водитель в маленькой бархатной кипе, прикрепленной к плотной, как битум, проволочной смоляной шевелюре, на ходу принимал деньги, курил, отрывал билетки, болтал, рулил и подкручивал транзистор. Я неловко пробрался в середину автобуса — все-таки казалось, что на меня косо поглядывают —

и обомлел: в круглой собольей шапке, лакированных штиблетах и высоких белых носках, в которые были заправлены брюки, сидел вылитый Гришка Липовецкий с длинными закрученными пейсами, а рядом расположилась бесформенная особа, совершенно точно не Ленка, в парике, шелковых чулках, с необъятным кисельным тазом, и человек восемь детей в белых рубашоночках и с такими же, как у папы, висюльками. Четверо младших сидели на руках и сосали разных форм бутылки и соски. От родителей несло тропическим жаром. Но это еще не все, в автобусе была такая мешанина, что можно было обалдеть! Вертлявые школьницы, прибранные мальчики в кипах, с узкими лицами молодых Пастернаков, три пятнадцатилетних господинчика в шелковых черных костюмах и оперных цилиндрах, девушки в драных шортах, женщины в шелковых платьях, трусах, душных париках, корсетах. На заднем сиденье солдат обнимался с подружкой в военной форме, а две стоявшие рядом старушки, которым никто не уступал места, доброжелательно на них посматривали. Ехали несколько стариков, состоящих из углов, с выправкой бывших военных, две девчонки с пилотками под погончиками и пропечатанными под гимнастерками крошечными сосками, автоматчики-резервисты с круглыми животиками. Автоматы валялись под ногами в проходе, и вид этих солдат меня неожиданно успокоил: в Союзе я чувствовал себя ровесником сначала капитанов, потом майоров, подполковников, а сейчас я уже приближался к генеральскому возрасту, а этим трем пузатым обжорам явно было под сорок.

Автобус раскладывался на составные части: на высокие армейские ботинки или мохнатые кисти рук, на мертвые парики, на голые ноги с проступившими венами или на жемчужные мелкие зубки девчонок. И вся эта улыбающаяся, курящая, жующая, потная, кудрявая толпа, с кистями из-под костюмов и волочащимися сандалиями, автоматами под ногами, с прилипшими к губам лушпайками подсолнухов, с синими прожилками и форменными сосочками, облепленными детишками с выбритыми лбами, была абсолютно беззлойной.

Автобус проехал над высохшей речкой -- оставалась узкая, мутная струйка, мимо пустырей, развалившихся халуп, двадцатиэтажных башен, пахло глубинками Петроградской стороны, постройками тридцатых годов, тенистыми улицами.

Мне надоело ехать, и на одной из центральных улиц я вышел. Ленты, кружева, ботинки — библейскими буквами. Настроение

было не тяжелым, скорее, страшным. Не было внутренней спешки, мне наконец удалось согреться, и я опять был совершенно один в мире — компания очень надежная, но несколько малочисленная. Я посидел в уличном кафе, выпил две большие чашки кофе, поглазел, как в школьном дворе мальчишки в кипах играли в футбол. С мячом они обращались очень хорошо — в техничной и мягкой закавказской манере. В голову лезла всякая чушь — я вспомнил, как мы с Мишей Джанишвили смотрели футбол в Тбилиси, когда “Динамо” жутко проигрывало “Арарату”, и народ толпами покидал трибуны, выбрасывая годичные абонементы. Пока мы садились в машину, армяне забили четвертый гол. Дома нас встретила Мишина бабушка-армянка и сказала: “Ну что? Надрали вашим жопу?” “Пригрели змею!” — недовольно ответил Мишин отец.

Пляж был полупустым. Вода — горячей. Балтийский песок и дно, как тетрадь в линейку. За пару монет я взял шезлонг и уселся. Парень, который выдавал шезлонги, обрюзгший детина с набитым ртом, был точной копией Вовки Беззубенко, анестезиолога из Института Онкологии. Густовато двойников! Два за час. Если так пойдет дальше, то как бы не повстречать себя.

Я купался и сох. Снова сох и снова купался. Шлялись стайки голубей, по кромке моря трусили бегуны, яркие паруса загорались и снова в воде гасли, и так до момента, пока солнце не покраснело и не начало заваливаться вниз. Тогда я опомнился, по дороге перекусил и пошел обратно на автобус.

Хороший день. Мне удалось расслабиться. Я доехал до нужной остановки, уже стемнело. Город пузырился огнями, шумел, смеялся. Может быть, и я вылезу. Я ведь все вру. Я чертовски хочу жить. Громадные чинары над головой переплелись ветвями, тугой дурманящий воздух, запах зелени, фонари на аллее. Было чувство стыда за охватившее меня счастье. Впереди меня шла высокая длинноногая женщина в белом свободном платье, подхваченном широким мягким поясом. Я вспомнил, что на свете еще есть женщины вот с такими движениями, абсолютно ровными ногами, гибкими бедрами. С таким сумасшедшим профилем. Поправляют матовые волосы лебединой рукой. И если они не понимают моего языка, то я буду объясняться знаками.

Я удержал себя от того, чтобы ее догнать, сел в тень на скамейку и засмеялся. Рядом два старика кашляли и спорили на идише. Я — один. Но я сравнивал со всеми счеты. Я жив. И буду жить, пока

я хочу. Пока меня доводит до дрожи, когда женщина поправляет прическу. Темнота впиталась в меня — только пылали на руке фосфором мои старые командирские часы. Я отвык от цивилизации, мне еще долго все будут казаться красавицами, как эта белая женщина с короткой мальчишеской прической и высокой шеей, которая таяла в воздухе, стала плоской стереоскопической картинкой и исчезла.

Я сейчас возьму свои вещи и остановлюсь в самой дорогой гостинице на побережье, чтобы Средиземное море дышало в окно. Жизнь возвращалась. Я пошел разыскивать Борькину жену, и мне было так страшно хорошо. Я даже пытался плыть по воздуху, как эта молодая женщина, у которой голени и бедра были одинаковой толщины, но плыть не получалось, а получалось смеяться, над собой, над смертью, над жизнью. Потом я позвонил, и кто-то стал открывать мне изнутри. Нужно было купить цветов, но я стесняюсь цветов, когда у людей было несчастье, у моих родственников, о которых я мало знал. I am retired. Не знаю, как перевести. Не на пенсии, а в отставке.

Лестницу залило светом, и я остался стоять на площадке, а женщина, которая мне открыла, тоже молчала и недоуменно ждала. А я ничего не говорил, и с каждой секундой говорить было уже трудно и поздно. И я только покраснел — это единственное действие, на которое у меня хватило сил. Она улыбалась одними глазами, но мне казалось, что она занята своими мыслями и ждет, когда ситуация прояснится и я уйду.

И дело было не в том, что эту женщину в белом платье я догонял десять минут назад в аллее, и дело было не в том, что у нее были голубые белки и она была обжигающе, неприлично красива, так что у меня язык прилип к гортани и даже улыбнуться в ответ я не мог, и даже не в том, что это была Борькина жена, которой я волен был представляться деверем или нет. Дело было в том, что я эту женщину уже видел и узнал, а она меня нет, и вымолвить, что я Борькин брат, я не решался.

Так вот, на ком он женился.

Я когда-то отдыхал смену у Борьки, в альплагере, и там по камням и скалам носилось что-то такое девчонского пола, переставляя пощеничьими руками и ногами, так что каждая рука и каждая нога двигались отдельно. Дочь одной из лагерных инструкторш альпинизма. И было однажды, что мальчишки-балкарцы привели в лагерь двух коней, и я взял одного из коней прокатиться, и эта

девчонка, которая всюду вертелась, выпросила второго, обогнала меня, и ее понесло к обрыву. И я заметил сначала, что это нелепое восторженное существо с широкими чуть сутуловатыми плечами на фоне гор, Шхельды, снега и неба размахивает руками, ногами, отчаянно оборачивается, и знаете что? И смеется. А потом уже я спохватился, догнал и грубо обругал ее, потому что картина была слишком внезапной, как стихия, и мне не нужно было на мою голову свалившихся в пропасть девчонок. И наверное, она никуда тогда не свалилась, потому что она стояла напротив меня и молчала и не была двойником, а на грудь, плечи и шею я старался не смотреть.

Вот тебе и брат Борька. Теперь я вспомнил, что действительно ту девчонку звали Наташей.

Красавицы вызывают у меня безумный страх.

И она была женой моего брата.

И у них случилось несчастье. И вмешиваться в их жизнь я не мог.

— I am sorry. It's a mistake.

Она еще раз улыбнулась, недоуменно пожала плечами. И закрыла дверь.

Глава 24. От Лены Липовецкой

Я хочу добрать ночные часы сна. Лежу, и хочется отгонять мух хвостом. Я даже не чувствую, что жмет купальник. Вода лижет пятки, каждая девятая волна передвигает бахрому морской пены и подбирается к животу.

Осень. Мы четвертый день в заброшенном каштановом ущелье под Сухуми, где в это время года, кроме нас, никто не стоит. Мне повезло в жизни, все, кого я люблю, рядом со мной. Почти все. И все такие невыносимые, такие неудобные для жизни люди, что вокруг них создается особенный микроклимат, который очень похож на счастье.

Машин нет. Даже радио нет. Так здорово! И безумное количество животных — драных котов, диких и бездомных собак. Брынзу и колбасу приходится подвешивать в котле на дерево — по утрам под ним бешено пляшут шакалы. Из-за шакалов страшно ходить к ручью за водой, от нашего одиночества они смеются, вечером воют, а под утро начинают бегать по лагерю. Мимо пробежала корова. Жует водоросли. Бреди, бреди! Сейчас появится

ленивый пастух на лошади. Скажет: "Ыык". Здесь живет симпатичный несуетный абхазский народ — женщины работают, а мужчины курят на улице и оценивают проходящих курортниц.

Медузу вынесло на ступню, громадную, больше чайного гриба. Хорошо бы, она не жалилась. Я ей не враг, я ее обмякшая сестра.

Гриша побежал на базар и на почту. Потацил с собой мешок каштанов — будет менять на масло. Остальные все встали посреди ночи с чумным видом и отправились грабить фруктовый сад на "цэковской" даче. Кит не пошел, как лицо поднадзорное. Он ходит с видом сосланного на Кавказ поручика в красных трикотажных плавках и высоких резиновых сапогах и не очень понимает, на каком он свете.

Если дотянусь до сухого листа, нужно прикрепить его слюнями на нос, а то нос опять обгорит. Кроме того, что я медуза, я еще исполняю обязанности матроса-спасателя. Каждый, кто хочет купаться, должен меня разбудить, и я сплю по-волчьи: свернусь клубком на десять минут, посторожу детей и снова сплю. Сначала дети по очереди отпросились не делать уроки — на обеденном столе, сделанном из санаторного топчана, лежат кипы "задания на утро". Родители вернутся -- будут ругаться: "Ничего от них не требуешь, они должны работать!" Но мне математику все равно не проверить, Севочка со второго класса на меня кричит, что я все неправильно объясняю. Наверно, я не совсем доразвита. И учиться "работать" никому не нужно, и учить этому не нужно. Нужно учить любить людей и учить радоваться, а остальному дети научатся сами. По стволу красного дерева ползет бурая жаба — я закрыла глаза, чтобы ее не видеть, она сама не знает, какая она некрасивая. Мальчишки вместо уроков обещали выкопать сегодня наконец "клад" — наше прошлогоднее барахло. Важнее всего там котел для плова, большой топор и двуручная пила.

Мы — это семнадцать взрослых и одиннадцать детей. Лето опять пропустили, уже октябрь. Днем еще можно дуреть от жары и собирать опять с гниющих пней, но по здешним меркам уже зима. Ночью холодно, я сплю в трех свитерах. От костра не отойти. Ночью Кит поет у костра воровские песни про громил. Про "баб на мясозаготовку, девок в облигацию". И про любовь. Первую неделю все оттаивают от Ленинграда. Постепенно я начинаю чувствовать, что вокруг что-то происходит. Я боюсь вникать. Вслух ничего не говорится, но я вдруг замечаю, что какая-нибудь не-

ожиданная пара столкнулась в сумерках лбами. И всех начинает сильно лихорадить.

Хорошо бы отсюда совсем не уезжать. Построить дом и ничего не закапывать. Стукаться лбами. Еды хватит на год. Одних макарон от туристов осталось шестьдесят кило. Каштаны, орехи, рапанов можно есть. Ходить за вином, книг завались. Надя Арцикова занимается с детьми английским. Купаемся голыми и почти не ругаемся. Я на всякий случай постучала по дереву, а грустная жаба всполошилась и с криком шлепнулась в ручей. Одним глазом я наблюдала, как из серебристой палатки вылезает Нестеров: мелькнула голова, оскаленный рот, необъятные плечи и весь этот непутевый человек.

— Сво-бо-да!!

— Кит! Беги скорее купаться, на огне овсянка и кофе.

Но он сначала согрел себе воду в консервной банке и начал бриться у осколка автомобильного зеркала. Бич божий! Саврас без узды! Насмешливый, обаятельный бабник. Но сам он зато никогда никого не осуждает, и если что-нибудь случается, то на него очень хорошо можно опереться.

Через час я заметила, что Кит зачем-то среди дня начал разводить большой костер, до неба. Он стоял на коленях, раздувал с мальчишками вчерашние угли и что-то им рассказывал. Я немного потерпела, но все-таки не выдержала, обмотала себя полотенцем и подошла к костру.

— ...Но на этом берегу происходили и другие истории, интересные для серьезных кладоискателей. Вот на этом месте, где обрывается дорога и обломки скал торчат из воды, как стрелы, на три дневных перехода обгоняя передовые когорты римлян, выходил к Понту Эвксинскому Митридат Шестой, царь Понтийского царства...

...Третью войну проигрывал Риму. Митридат сделал маленькую ошибку, и она привела его к ошибке побольше, а потом постепенно каждый шаг становился ошибкой, и только между ошибками приходилось выбирать. Ему следовало атаковать римскую колонну на марше, а он дал Помпею окружить себя, и хоть Митридату с небольшим отрядом удалось прорвать ряды римлян, но младший его сын уже здесь, в Колхиде, был убит, а Фарнак, сын его любимой жены-албанки, бросил его седьмого дня ночью. И Митридат пробирался по своей земле, как ночной вор. За его голову уже дважды была объявлена высочайшая награда — и римлянами, и предавшим

его армянским царем Тиграном. За неделю Митридат сменил четырех коней, раздал драгоценные одежды телохранителям и наблюдал вон с той скалы, как римский флот приближается к берегу. Ноги у Митридата, знаете, какие были? Как столбы! С шести лет в походах. В одиннадцать лет — царь! Подряд пятьдесят лет — царь! Понимаете? Море было черно от римских галер. У него очень болела спина, не разогнуться. Телохранители зарывали около того инжира царские сокровища, поглядывали на Митридата и недовольно хрюкали. Но Митридату было не до них. “Спина болит, — думал он, — завтра велю изловить ведьму, пусть натирает спину змеиным соком. Не повезло. Десять дочерей, ни одной путной. И три сына. Один — кретин. Второй меня бросил. Третьего разорвали в клочья, нечего было хоронить. Что там врать, я любил второго. Ушел, собака, к албанцам, всех греков с собой увел. Трех центурионов увел, которых мне прислал из Испании Серторий. Подрос, скоро двадцать, я ему мешаю, никого не любит, равнодушная собака, настоящий будет царь, страшнее меня. Глубже копайте! Опасно оставлять свидетелей, потом буду на себе волосы рвать, но самому, хоть умри, будет не вспомнить, куда они эту дребедень закопали. Приличную армию можно собрать не ближе Колхиды. Это еще месяц пути. По дороге ни одного цивилизованного племени. Правлю страной животных, ковыряются в земле и поют. Может, Фарнак и прав: следует пустить сюда римлян, все равно они не отступятся. Войне конца не будет. По всей логике так и нужно сделать. И против этого только моя честь — совершенно нелепое понятие, даже родным детям не объяснить. Когда я слышу слово “римская культура”... да...”. Митридат стоял и вспоминал, как учил своего сына стрелять из лука и говорить по-иберийски. И очень на себя за это злился.

Считается, что отсюда в свои боспорские владения Митридат Шестой, Евпатор, ушел один. Половина его драгоценностей зарыта здесь, и их никто никогда не видел. Боюсь, что они глубоко и до них не докопаться, но вот посмотрите, что я вчера нашел около этой ямы. Стоп, руками не цапать. Называется бронза. Держишь вот так, двумя руками, и никто не страшен. Песок внимательно проверять, а вы копаете безо всякого толку. Берите-ка лопаты, покажу-покажу, все покажу, но попозже! Сначала выкопайте яму, чтобы в нее можно было посадить мамонта. Золотые и серебряные вещи отдавайте Леночке, оружие складывайте за моей палаткой. Леночка за вами посмотрит. А я пока вскипачу в двух

котлах воду и накормлю всех обедом. Но кормить буду только тех, кто что-нибудь в песке отыщет...

Глава 25. От Андрея

Я провел замечательные три дня. Я купил себе широкополую шляпу. Ее можно было сдвигать на нос. Я сидел на пляже под ярким зонтом и читал газеты на настоящем русском языке. В журналах была роскошная европейская светская хроника, на русском она блестела, как фальшивые бриллианты. Я купил пачку "Советских спортивных" и с наслаждением читал их на ночь. Я узнал все, что можно узнать о киевском "Динамо" и ленинградском "Зените". На четвертый день мне уже сильно надоело, даже шляпа не помогала. А на пятый день я стал думать, куда мне ехать дальше. На пятый день я был в этом городе уже настолько лишним человеком, что Печорин и Онегин захлебнулись бы черной завистью. Пять дней — это мой рекорд. В Канаде я начал изнывать на второй, правда, я прилетел туда поздно ночью. Я люблю жить в городах, где все люди лишние, а не только один я. Мне нигде не прижиться. Я могу остаться на одном месте, только приковав себя цепями. Но это не значит, что я свободный человек: я раб самой тонкой из цепей, которой держат и капиталисты, и коммунисты, оборачивают сладкой оберткой и приписывают ей весь спектр земных достоинств — я раб интереса к работе. А Ленин хоть и говорил, что свобода — это осознанная необходимость, но все-таки он сам выбирал себе необходимость, которую он соглашался осознавать.

Борька служил в Ливане. Прошло полмесяца, пока он заявился на несколько часов к себе на квартиру, узнал, что я в Тель-Авиве, вытащил меня в четыре часа утра из гостиницы, и мы с ним катанули через полстраны до Тверии. Отсюда он должен был возвращаться на север, к себе в часть, а я — на автобус и к нему домой, куда мы по дороге успели забросить мои вещи. От этой утренней спешки мое чувство неприкаянности только усилилось. Завтракать мы заскочили в небольшой рыбный ресторанчик, недалеко от озера. И уже пятый час подряд было не встать и не уйти. Я давно созрел, чтобы расплатиться и спуститься к воде, официант с недоумением поглядывал в нашу сторону, но Борьку было не сдвинуть. Он сидел распаренный, с кирпичным лбом, и очень напоминал мне молодого отца, каким я его видел на фотографии.

Мы успели обсудить, как каждый из нас похож на отца. Борька уже вылил на меня все свои детские обиды, и каждый из нас чувствовал себя "старшим братом". Борька старше меня на три года, он родился в эвакуации, а после войны отец поехал в Ленинград и к ним уже не вернулся. И я успел шесть раз рассказать ему о своем последнем разговоре с отцом, вспоминая и придумывая новые подробности, потому что Борька отца видел редко, ревновал его и любил, а я отца видел часто и относился к нему спокойнее. Борька считал отца умным, а я хитрым. Борька считал его способным, а я ловким, и я старался помалкивать, но по поводу отца нам с ним было не договориться. В последний час Борька тыкал пальцем в газету и рассказывал мне, что у него солдаты не слишком плохие и не слишком хорошие — ограниченные домашние мальчишки из семейной страны, и перерезать сотни детей и женщин они были не в состоянии, а сделали это ливанские христиане-фалангисты, сводившие с палестинцами свои кровавые счета. И такие боины в Ливане происходят раз в два месяца, но на этот раз историю раздули, потому что она произошла в зоне, занятой израильянами. То, что он рассказывал, было слишком похоже на правду, чтобы об этом можно было долго разговаривать.

Борька сидел спиной к окну, и я в основном следил, чтобы Борькины погоны выравнились по гребням другого берега, и слушал, как за моей спиной поет громадный допотопный вентилятор. Тот, другой берег был не в фокусе: террасу ресторана я видел очень четко и зубастых американок в желтых купальниках — четко, громадные платаны у самой воды показывали каждый листик, а над серединой озера воздух слоился и менял формы предметов, так что стая черных птиц на лету становилась разорванной и размытой.

— ...дети лежат в лужах крови со взрезанными животами, и старухи валяются с перерезанным горлом. Боиня, еби их мать! Как теперь служить? Я не представляю!

— Ты же говоришь, что это фалангисты?

— Конечно, фалангисты. И только фалангисты. Но кто их к палестинцам в лагерь пустил? Тетя? Нами было все оцеплено — я там каждый кустик знаю. Не при тебе сказано, но без министра обороны такие вещи не делаются. А как служить, если выше себя никому не доверять? Я же осколками поливаю площадь, может быть — гектар. Я теперь всегда буду думать, что там сидит сто детей и сто старух.

— А раньше ты не думал?

Борька посмотрел на меня очень внимательно, стараясь понять, не укоряю ли я его в чем-нибудь. Но я не укорял, я спрашивал. Я не вмешиваюсь в чужие проблемы, есть вещи, которые постороннему не решить: мне не нравятся белые американцы, я предпочитаю японцев и негров, но я до сих пор не понял, кого нужно защищать — белых от черных или черных от белых.

— А раньше я не думал, — наконец ответил он, — ты понимаешь, сынок, раньше я не думал.

— Сам ты “сынок”.

— Ты это не прими за громкие слова, но раньше я думал, что это война Бога.

— Кого?

— Бога! Я же ничего не соблюдаю, даже шабат, но сидит у меня в глубине, что сбываются все пророчества. И этому ощущению я себя передоверил. А если это война не Бога, а людей, и люди допускают резать старух, то мне нужно к этой мысли еще привыкнуть. Ты чего смеешься?

— Для меня Бог — это абстрактная идея. Мне забавно, что ты его к себе в дивизию причислил. Пойдем пройдемся, не пей, тебе же сейчас за руль.

— Мальчик, я пью раз в год. Знаешь, как пьют в Израиле: в каждом доме батарея бутылок — “вот эту подарили нам к свадьбе”, “эту к свадьбе младшей дочери” — вот так и я пью. Но у меня, понимаешь, сегодня событие, мальчик. Ко мне брат приехал. Стоп, платить буду я. Ты мне расскажи лучше в деталях, что отец обо мне спрашивал?

Мы вышли на улицу. На улице было жарковато. Даже просто очень жарко. Влажное пекло — градусов двести.

— Слушай, а чего бы тебе здесь не жениться? — сказал Борька, пока мы шли к его машине.

— О какой женитьбе можно думать в такую жару? На ком? На снежной бабе?

— Дурак, на самой горячей! Ты же здесь не зимовал: тут не топят. Самые холодные зимы бывают в жарких странах — брр, страшно вспомнить.

— А летом?

— Летом можно спать отдельно. Ты джип водил?

— Мечта детства.

— Вертится, как волчок.

Мы уже съезжали к воде. Пока Борька разворачивался, я спрыгнул с машины и пошел потрогать воду. Вода в этом озере, которое называлось Кинеретом и Галилейским морем, была тугой, как ртуть. На дне лежали то ли булыжники, то ли пушечные ядра неземной правильности и расцветки.

Я вдруг понял, что такое “родственные чувства” — это когда вдруг посреди земного шара оказывается малознакомый человек, которого не нужно опасаться. И его волнует, что о нем сказал отец. И два часа подряд он может рассказывать тебе, как умерла маленькая дочка, и ты чувствуешь, что ему становится несравненно легче. А отец ничего о нем не спрашивал, да и давно это было, пятый год пошел.

Я засучил джинсы, ополоснулся и прошелся по дну. Свою страсть к купанию я уже утолил на море. Дно было похожим на байкальское, тревожным и скользким.

-- Так ты говоришь, все девчонки погибли, — вдруг вспомнил Борька. Он полулежал на вывороченных из земли красных лакированных корнях, курил и смотрел на меня.

— Да, было в газетах. Я думал, что еще при тебе.

— Какое там при мне: я Эльку Шаталову в последнее лето перед отъездом видел. Она мне говорила, что хочет делать пик Коммунизма.

— Шла чисто женская команда, что случилось, я точно не помню. Кажется, попали в лавину.

— Всех девок отлично знал, и эту Эльку вторую из Алма-Аты, Мухамедзянова или как-то так. Девки все чудные были. Странно, смерть отсюда не очень отчетливо воспринимается. Как будто сам умер или они там все умерли, как в другой жизни, глухо. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Более-менее. День какой хороший. Я очень рад тебя видеть.

— Так, может, останешься, не будешь уезжать?

— Тяжелый вопрос.

— Конечно, жизнь здесь херовая: война, жарко, нет денег...

-- Деньги меня не очень интересуют.

— Они не интересуют, пока они есть. А когда их нет, они очень интересуют. Я просто не хочу тебя зря обнадеживать. Но ты учитывай, что я тоже буду очень рад, если ты здесь останешься.

— Обменялись формальными любезностями.

— Ну мы же с тобой не девушки — неудобно вслух говорить.

Я теперь домой буду чаще возвращаться. Ходи в кино, еще куда-нибудь, в синагогу — не знаю, что еще тебе предложить.

— Боб, мне не остаться. Я чувствую, что меня отсюда уже начинают выжимать...

— Что же ты будешь делать?

— Мне нужен город, чтобы затеряться в нем. Чтобы был европейский муравейник, в котором растворяешься бесследно.

Борька криво усмехнулся и сказал:

— Что-то в этом же роде я слышал от Наташки.

Второй раз сегодня он упомянул о своей жене, и второй раз я от этого разговора ушел. Мы искупались, развели на камнях крошечный примус и сделали себе по стаканчику кофе.

— Значит, ты хочешь уехать, — еще раз повторил он. — Давай зайдем к делу с другого бока. Если ты не соглашаешься остаться и все-таки уезжаешь...

Я молчал и ждал, что он скажет.

— ...может, ты заберешь с собой Наташку?..

Теперь я уже просто молчал.

— ...в конечном счете я предлагаю это для себя: ни мне, ни ей жизни нет. Она томится, а у меня она, как заноза. Мы же не виделись после смерти Лизки, два раза по телефону разговаривали.

Я взглянул на него с удивлением, но ничего не спросил.

— Она не хочет видиться. Нет, ко мне она не вернется. Почему? Как тебе объяснить? Такой она человек. Я уже смирился. Все равно ребенок вечно между нами будет. Ее же дома не было, когда это случилось. Ладно, не хочу больше об этом говорить. Пусть она отсюда уедет, выйдет замуж, рождает себе детей. А я уж свою жизнь как-нибудь устрою.

— Странная у тебя роль, — ответил я и на некоторое время задумался.

— Увези ее отсюда. Для меня!

— Боб, я нездоров, я не могу никого на себя брать.

— Ты дай ей где-нибудь зацепиться. Тебе не нужно ее на себя брать...

— Это одно и то же. Кроме того, не исключено, что я поеду в Африку.

— Нет так нет. А что, нельзя здесь врачом работать?

— Скучно.

— Что тебе скучно?

— Да я уже узнавал: хирургов полно, мест нет, это я уже все

в Америке видел: обычная свара за кусок пирога. Медицина — это не "бизнес", они чего-то путают...

— У тебя ложное советское отношение к деньгам.

— Скорее всего, но мне уже поздно переучиваться. Вроде бы мы просохли, можно ехать.

В машине Борис навел приемник на армейскую волну, и я спросил его довольно отсутствующим голосом:

— А почему ты уверен, что у нее никого нет?

— Да вертится какой-то придурок, но его сейчас взяли на полтора года в армию.

— Такой молодой?

— Двадцать пять лет, как ей, но здесь же всех в армию берут. Бери ключи, живи хорошо, через неделю я приеду.

— А что ты с армией решил?

— С какой армией?

— Не будешь уходить?

— Ах, ты об этом. Бывают ошибки. Ты опять улыбаешься. Главного я тебе не сказал, ты поверь моему военному чутью: вот на этом месте, где мы сейчас находимся, скоро будет война с Союзом — я не прощу себе потом, если я из армии уйду. Переведи тебе новости?

Мне хватает новостей и без перевода. Похоже, что у нас с ним одинаковый братский комплекс: эта соблазнительная идея — воевать с Союзом. С дремучей и таинственной страной комиссаров. Но когда доходит до дела и нужно стрелять в русских, у меня не поворачивается рука. Борьке я об этом не сказал. Последние известия кончились, нежно запела девочка на иврите, и Борька сказал мне, что она поет про любовь. Но я и сам понял, что про любовь. Мы слушали, думали каждый о своем и до самого автобусного вокзала в Твери ехали молча.

Глава 26. От Анны

Рука не поворачивается. Шея не поворачивается. Очень болит голова. Каждую секунду головная боль усиливается. В первые дни я еще ходила, казалось, что боль пройдет. А сейчас только лежать с закрытыми глазами и никого не слышать. Анальгин глотаю пачку за пачкой. Если будет катер, поеду в Сухуми, к врачу. Пусть что-нибудь сделают. Голову отрежут. Сегодня вокруг тише.

Чувствую, что Дашка где-то рядом ходит. И слышала ее голос. Она собиралась уйти со взрослыми. Ее и Иннокентия Шахматова всегда берут со взрослыми. Но Иннокентий пошел, а она узнала, что в лагере остается Кит, и осталась меня стеречь. Смех. Шагу нельзя ступить. Леночка Липовецкая очень мягко, но каждую секунду за нами следит. Нестеров подстерегает меня, когда я иду, покачиваясь, в лес. Даже глаза открывать тяжело. Все по очереди пробовали снять мне мигрень. Большие все сострадательные лекари. Век лекарей...

– Сваа-бо-даа!!

Как он противно орет. Нужно пойти куда-нибудь и зарыться головой в песок. Не получается встать. Организм устал от боли. То проходит день, то час — я уже плохо в них ориентируюсь. Если здесь на море такая разламывающая боль, то со мной что-то не в порядке. Вчера вечером приехала Катька Павлова из Москвы, и вместе с ней прилетел Герка. Проморочил мне голову до ночи, потом соблаговолит со мной поделиться. Приполз.

– Ну, привет.

– Ты похож на человека, который приходит по вызову травить тараканов.

– Хочешь, помассирую?

– Я уже не знаю, Нестеров, чего я хочу. Помассируй. Только безо всяких дел...

– Тцтцтц! “Безо всяких дел” не можем.

– Тогда убирайся к дьяволу! И не кричи так громко. Мне больно слушать.

Кит живет в одной палатке с Надькой Арциковой. Думает меня этим задеть. Бога ради. Опять сейчас будет приставать — очень голова болит сопротивляться. Все сначала. Я так стабильно жила, и опять приехал этот человек и меня сдернул. Чего он добивался своим идиотским звонком по телефону? Он именно этого и добивался, он добивался того, чтобы поставить меня на место. Опять растравил. До дна. Чтобы у меня своей жизни не было, чтобы я его, мерзавца, помнила. Герка меня вчера томил весь вечер. Я должна была с головной болью у костра выслушивать, как отец-Булавкин пять часов подряд дает детям урок астрономии. Все желто-оранжевые звезды, все символические прямоугольники четвертой величины. Нет желто-оранжевых звезд, звезды все на свете белые! После звезд семья Булавкиных вместе с Севкой Липовецким начала выяснять, в каких, в “А” или в “Б” классах всегда

учатся подхалимы и мамочкины сынки. А потом Герка мне сказал, что видел у Андрея черные точки на спине. Черные так черные, для первого разговора этой информации мне вполне хватило. Сегодня вечером я могу послушать еще, я очень благодарный слушатель.

Попробую-ка я встать. Сколько света! Кит собрал вокруг себя детей у костра и что-то им с загадочным видом намурлыкивает. Говорит, что для любви нужна крепкая спина. Голова нужна крепкая. Чтобы ни на какие провокации не попадаться. Что Андрей сейчас себе думает? Что я теперь опять могу спокойно жить? Целую, люблю, зеленые плащи... и опять уехал на всю жизнь. Или он думает, что я ничего не чувствую? Как я теперь дальше должна жить?

— ...наверняка не знает, хоть она и хвалится, что до шестого класса была отличницей и у нее есть похвальные грамоты с Лениным и Сталиным. Только с Лениным? Значит, только с Лениным. Понимаете, это было давно, за шестьдесят лет до рождения Христа, но люди были точно такие же, как сейчас: вместо Помпея вы можете представлять себе жестокого и благородного Герку. Марк Красс был похож на Саню Ланского, в наши дни он был бы заведующим крупной парикмахерской. А Митридатом? Митридатом был я!..

Я прикрыла глаза и побрела потихонечку мимо, чтобы даже его голоса не слышать. Под ноги попадались шоколадные каштаны с капельками росы на кожуре, но у меня не было сил за ними нагнуться. Я люблю собирать каштаны и любые ягоды, даже клюкву. Но эти только подтолкнула ногой поближе к тропинчке.

Когда я вернулась обратно, никого не было видно — один Нестеров сидел у входа в мою палатку и самодовольно улыбался. Детей всех, наверное, утопил, чтобы не мешали.

— Без дураков: массаж и все. Отвернись! Я сейчас бочком буду забираться, мне не согнуться, тебе нельзя смотреть.

Я легла и, пока Кит перед массажем медитировал и молился, постаралась отключиться. От ступни до мозга прокатилась знакомая дрожь, теплый ток, по мне начали гулять пальцы. Я подумала, что они все спекулируют своей энергией, закружилась, ресницы дрогнули, и я заснула. А очнулась оттого, что Кит пытался меня раздеть. Я вырвалась и швырнула в него тем, что попало под руку — Лешкиной рубашкой.

— Нет, Нестеров, даже речи об этом быть не может.

Опять появилась пульсация в висках, но уже не сильная, и густого тумана в глазах уже не было. Я, наверное, недостаточно убедительно швырнула в него рубашкой.

— Не напрягайся, дурочка, я еще не кончил массаж, да перестань ты ломаться, я только ослабляю...

— Нестеров, ты свинья...

— Хорошо так?

— Нестеров, ты свинья, Нестеров. Все, Нестеров, пусти.

У Кита волосы цвета темной меди.

— Спасибо за лечение. Выкатывайся. Руки убирай. В связи с отсутствием оргазма половой акт считать несостоявшимся...

— Считать девицей!

— Именно так. Но ты знаешь, Нестеров, мне стало легче. Уходи, милый, дети возвращаются.

Слышны были истошные крики. Кит вылез из палатки, чтобы посмотреть, что происходит.

Опять все сначала. Такой год я уже однажды провела. Он приехал и опять превратил меня в шлюху. И чем-то нужно жить, пробудить в себе хоть какой-нибудь интерес к жизни. Никакого к черту секса. Считать девицей. Спротивляться Нестерову сколько хватит сил.

Очень хотелось есть. Я открыла полог палатки — мимо меня с визгом пробежали дети, впереди всех летел Севка в настоящем римском шлеме. По тропинке под скалами к лагерю возвращался Гришка Липовецкий и издалека размахивал клочком белой бумаги. Сунул ее нам в руки и полез купаться.

В телеграмме было: "Положение ухудшилось срочно возвращайся целую ася".

— Иди к костру, согрейся. Сделать кофе? — спросил Кит.

— Ага, я очень замерзла.

— Герка мне сказал, что этот фраер был здесь. Жизнь не устает баловать нас сюрпризами.

— Ну и бурда! Это ты заваривал?

— Сахара добавь. Слушай, я никогда не поверю, что ты тоже его не видела.

Гришка плескался у самого берега. Чего я не видела, так это чтобы люди так плавали: он быстро-быстро дрыгал под собой руками и ногами и фыркал. Так мальчишки купаются в деревенских речках.

Я держала горячую кружку двумя руками и лязгала об нее

зубами. Кит принес на плечах высохший пень с замысловатыми корнями и бросил его в костер. Потом сел задумчиво на бревна, поднял с песка гитару, немного попел и начал говорить.

— Я не думал никогда, что Андрей может приехать и ко мне не зайти...

Я ничего не отвечала, сидела и ковырялась в костре лыжной палкой. Какое мне дело до его обид на Андрея? Угли еще с ночи были горячими. Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюбленно?

— “Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюбленно?”... Зачем же он, Анюта, приехал?.. Знаешь, я замечал, что у судьбы есть такие приемы: если какие-то... ну, что-нибудь, события какие-то, не могут произойти в тех условиях, в которых мы находимся, то эти ребята, — Кит мотнул головой наверх, — вносят в нашу жизнь сильнейшую тягу к перемещениям. “Ах, как мало любви, обещаний так много...”. Обещаний так много, Анюта. Тягу к перемещениям. Это только кажется, что от нас самих что-нибудь может зависеть.

Из леса выбежала свора бродячих собак. Значит, кто-то шел. Собаки всегда увязывались следом, а к морю выбегали первыми. Гришка сверкнул голыми боками и мелкой пробежкой понесся за палатку вытираться.

-- Что дальше делать будем, Волкова?

За деревьями показались рюкзаки, свист, улюлюканье. Алешка шел.

-- Что делать будем, Волкова? Может быть, ты уже побывала за ним замужем, и хватит? А? Ты хочешь, чтобы я первым тебе сказал...

— Меньше всего.

-- Выгони его к черту. Я устал видеть тебя один раз в неделю. Сколько это может продолжаться. Хочется вместе просыпаться утром.

— Нестеров, ты не должен снижать свой образ. Ты обветренный викинг, ты не можешь по роли обращаться к женщинам с такими предложениями. Ты еще, чего доброго, предложишь мне поехать за тобой в ссылку. Я угадала? Ах, ты обиделся! Может, ты еще и ребеночка от меня хочешь?

- Волкова...

— Что “Волкова”? Что “Волкова”! Вы же все большие любители

детей. “Плодиться и размножаться”! А потом появляется “сильнейшая тяга к перемещениям”!

— ...я диву даюсь, сколько в тебе жестокости.

— Не смей!

Ребята уже были совсем близко. Очень удачно, что они вернулись.

Вечером Герка Трубачев рассказал мне до конца все, что он знал. У костра еще пели и о чем-то пьяно спорили. Кит и Надька закрылись в своей палатке и даже к ужину не выходили.

Даша крепко спала, разметавшись поверх одеял. Я накрыла ее и аккуратно сдвинула к самому центру палатки.

Значит, они с Андреем виделись. Завтра мне предстоит заново знакомиться со своей дочкой.

Глава 27, в которой всплывает автор

Перед тем как перейти к следующей главе, я вынужден сделать несколько откровенных заявлений. Это большая роскошь — добрести наконец из топи до твердого места, где можно начать разговаривать своим собственным голосом. Вернее, писать своим собственным голосом, потому что в разговоре я очень сильно заикаюсь, так что говорить с людьми мне тяжело и им еще тяжелее слушать. Это не литературный прием, нет, просто я не имею права сейчас ничего скрывать и поэтому пишу о вещах, которых очень стесняюсь.

“НИ К КОМУ ИЗ РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮДЕЙ ГЕРОИ ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ” — такой надписью страхуют себя режиссеры и писатели, и мне ничего не остается, как признаться, что мои герои “да, имеют” отношение к реальным людям, а отношения не имею я. К ним. Или имею очень мало, и моя роль строго ограничилась разбором дневников, чужих писем, и если я и вносил что-нибудь от себя, то касалось это только компановки глав и некоторой цензуры, потому что герои мои — люди, безразличные к чужому мнению — подчас наворачивали такие откровенные подробности, что выпускать их под своим именем я боюсь и не могу. Кстати об имени, и это будет вторым признанием, потому что фамилию, такую мучительную для жизни в Израиле, я ношу в память о фиктивном браке, и это было ошибкой — мое желание ассимилироваться в России

при помощи этого нескладного брака, в результате которого очаровательная девушка по имени Вероника получила московскую прописку, наградила меня этой французской фамилией и еще больше усугубила мой страх перед всем, что касается девушек и женщин, загадочного и завораживающего отношения полов, которое я знаю только как доброту и нежность. Своего опыта у меня нет. Но мне нравятся многие девушки, и я надеюсь, что когда-нибудь найдется одна, которая или исправит мою речь, или действительно сможет не обращать на это внимание. У меня было несколько настоящих возможностей сблизиться с девушками тоже с дефектами речи, но как-то очень глупо. Как двое калек. Я как представляю, что я лежу с кем-то рядом в постели и мы по полчаса вымучиваем из себя каждое слово, у меня все желания сразу пропадают.

Люди любят посмеиваться надо мной, но не зло, и я им за это очень благодарен. У меня не было никаких трудностей с выездом из Москвы, но ласковая девочка-инспектор ОВИРа, когда отдавала мне последние документы, обернулась по сторонам, чтобы убедиться, что ее слов никто не слышит, и сказала мне: "Зачем вы все-таки едете?" И чтобы не обижать меня, добавила: "И мама у вас такая старенькая?" Самое смешное и грустное, что этот вопрос мне столько раз повторяли в Иерусалиме, что я и счет потерял. И мама действительно очень старенькая. Последнее время она себя плохо чувствует и из дома выходит редко. Она лежит на диване, много курит и читает французские романы и любые попадающиеся ей сказки — киргизские, таджикские, карело-финские, ей все равно. Пыльные французские романы в оборванных переплетах я покупаю ей в мебельной комиссионке, с инициалами и ремарками умерших одиноких старух, а новые сказки удается достать очень редко, и мама на меня за это очень сердится, но я отношусь к ее крикам терпеливо. В Иерусалиме я малодушно окончил бухгалтерские курсы и имею диплом "менаэль хашбот" — начальника счетов, потому что остальные мои специальности касаются русского языка, а в Израиле это не очень понятно, не очень надежно и чуточку даже позорно. А деньги на жизнь нужны: мама тратит раз в пять больше, чем ее пенсия, которая вся уходит на сигареты, сыр и кофе, от которых мама отказываться не хочет. Я мечтаю когда-нибудь вставить ей выпавшие передние зубы, но каждый зуб почти равен моей месячной зарплате, и похоже, что мне с этим пока не справиться.

Последние месяцы мама заперла себя дома, никого, кроме меня, не впускает, и даже прогнать ее раз в месяц в банк за пенсией стало большой проблемой. К старости у нее абсолютно не накапливается терпимость, ее начали сильно раздражать все люди, особенно религиозные — всех религий, арабы, иудеи, монахи, хасиды — все, она им вслед бормочет разные нецензурные ругательства и говорит, что мы живем в столице мирового мещанства. Если я осмеливаюсь возражать, она и меня называет ханжой, лгуном, духоборцем и религиозным спекулянтом, а это не так. Но я немногo скептик, потому что я не верю, что люди в состоянии объяснить друг другу самые очевидные вещи. И даже не верю, что они хотят понять самые очевидные вещи. На сегодняшний день, кроме Бориса Далинского, в Израиле не осталось ни одного родственника, который бы пускал меня в гости. Всем надоело мое мелочное, занудное правдоискательство. Мой двоюродный брат, Оська Бен-Давид, говорит, что я путаюсь у Израиля под ногами, конечно, так и есть, но я ничего не могу с собой поделатъ. Вы понимаете, самые милые, самые честные люди искренне верят, что если они разделят посуду на мясную и молочную, наденут теплый парик и перестанут жарить курицу в сливочном масле, то это будет иметь какое-то отношение к вере в Бога и еще накладывает на них какие-то неясные обязательства перед миром. Границы этих обязательств им самим не очень ясны, но понятно, что высокие. Такие высокие, что даже подумать о границах — кружится голова. Христианство сразу объявляется фальсификацией, и я нигде не спорю, но я начинаю спрашивать, что делать с христианами. Все-таки, что ни говори, их уже скопилось во всем мире довольно немало, и чем им заменить эту фальсификацию — это то, чего я ни от кого не могу добиться. Рав Кук, самый авторитетный раввин этого столетия, писал, что, видимо, Христос все-таки был Мессией, но Мессией только для гоев. То есть, если, например, у вас мама — еврейка, а папа, например, швед, то для папы Христос был Мессией, а для мамы — именно что нет!

Но самое главное, что мой двоюродный брат догадывается, что я понимаю, почему они сменили фамилию Сундуковы на Бен-Давид. Мне-то Оська не вкрутит, что такой была фамилия его покойного дедушки: я был знаком с этим дедушкой. Оськин дедушка тоже был Сундуковым. Они уже триста лет Сундуковы. Это был печальный жулик с мохнатыми ушами: летом он работал в системе пионерских санаториев и, сколько я помню, продавал

всем родственникам за четверть цены ворованные сатиновые трусы и простыни с пионерскими штампами, а зимой дедушка Сундуков до самой своей смерти точил коньки в Сокольниках, прямо напротив моего дома, и одновременно, на вторую зарплату, переставлял патефонные пластинки. Там я и услышал от него историческую фразу: "Не нужно меня обманывать, меня уже семьдесят лет обманывают". Удивительно был крепкий старик. У них вся порода такая. А "Бен-Давид" — это в том смысле, что они принадлежат к дому настоящего Мессии, о чем я помалкиваю — обиды будут смертельными. Оська мне скажет, что заикающиеся девственники — это потенциальная опасность для любого общества, и уйдет. Пока я со своим косноязычием выдавлю из себя ответ, мне уже некому отвечать.

Жить в Израиле мне интересно, хотя и не очень легко. Но я отношу сложности не к Израилю, а к своей собственной "ментальной" слабости — сильный человек не будет расстраиваться из-за каждого недоброжелательного слова, потому что или оно верно, и тогда расстраиваться не имеет смысла, или оно неверно, и тем более расстраиваться не имеет смысла. А я расстраиваюсь часто — поводов очень много: эмигрантов из России никто не любит, и поэтому они сами друг друга не любят, стесняются и ищут спасения в отрицании друг друга и обидах.

В Тель-Авиве у меня есть двое замечательных знакомых: огромный добродушный хасид из Бней-Брака и приветливый англиканский священник, которые относятся ко мне снисходительно и согласны терпеливо меня выслушивать. И я очень ценю, что в любом месте Израиля спокойно, не пристают хулиганы и можно подолгу вечерами гулять, смотреть на небо и думать. Вот, пожалуй, и все.

Каждый человек может иметь свои собственные мысли, и за это его не должны наказывать. Это не преступление, а только преломление в каждом из нас нашей Божественной сущности. И каждый из нас должен считаться с чужим мнением, как со своим. Мне, например, кажется, что за уничтожение европейского еврейства ответственны все немцы. Все американцы ответственны за Хиросиму. Все советские люди одинаково отвечают за миллионы жертв этого режима.

Но за бойню в палестинских лагерях Сабра и Шатила несу ответственность один я. Тут я не признаю коллективной ответственности. В сутки резни я находился в оцеплении лагерей.

Глава 28. Вставная

(по согласованию с автором в журнальный вариант не вошла)

.....

Глава 29, последняя

Прошел месяц. Я ждал неизвестно чего, не уезжал и тянул. По вечерам я собирался навеститься в авиаагентства, но утром в памяти образовывался провал, и я шел на пляж или в медицинскую библиотеку просматривать хирургические журналы последних лет. В основном я их не читал, а находил статьи по раку пищевода и выискивал фамилии знакомых авторов. Я уже столько раз повторил Борьке, что собираюсь в Африку, что по этому поводу пора было что-нибудь предпринять. Африканских посольств в Тель-Авиве не было. Я послал девять запросов и не очень торопился получать приглашения. Чувствовал я себя неплохо. Ходил с мешочком на базар за овощами. Перед сном разминался на море, натягивал на голову капюшон и бегал по набережным. По вечерам было тоскливо. Темнело рано. Борькина квартира была в крикливом оживленном районе недалеко от моря. Похолодало. Комаров в квартире стало меньше, и кусались они слабее. Иногда я часами ловил "Маяк". Передачи для строителей Бам'а. По телевизору шли американские мыльные оперы и замусоленные старые фильмы с Фрэнком Синатрой. Напротив моего дома стоял ободранный отель, и в дверях целыми днями сидели на стульях две толстые проститутки, курили и тютюкали проезжавшим мимо в колясках детям. Когда у них лица расслаблялись, в них проявлялась какая-то неженская грубость, как у переодетых мужчин. Туристский сезон кончался, и до обеденного перерыва работы у них было мало. А в сиесту, с часа до четырех, чаще всего исчезала одна из них, рыхлая молочная блондинка. Когда ее подвозили обратно к отелю, она хлопала дверцей и важно вышагивала к своему стулу, а сидящие на ступеньках соседней забегаловки пожилые сефарды грызли орехи и одобрительно ей кивали. Проститутка забрасывала ногу за ногу, и рубенсовский жир натягивался и становился гладким. День за днем я покуривал себе наверху, на ветхом балкончике. По субботам улицы затихали. Автобусы начинали ходить только, когда на небе появлялись три звезды. Открывались кафе, затемненные ресторанчики. Я не большой любитель достопримечательностей и исторических мест. Что если помахать толстухе и выпить

с ней кофейку? Мне тяжело жить в невлюбленном состоянии. Настолько тяжело, что приходится срочно искать выход. Например, влюбиться. Это вполне порядочный выход. Я много раз заново влюблялся в свою жену. Какое счастье, что я этим уже переболел. Может быть, полюбить эту толстуху и начать с ней новую честную жизнь. Очень неплохая мысль. Конечно, любовь — это долг, но, когда забываешь о болезни, этот долг связывает не очень сильно. У меня широкий вкус. Я влюбляюсь практически без лимитов. Я влюбляюсь прямо в душу и стараюсь не замечать внешних вещей. Иногда я даже не замечаю, что душа замужем. Даже замужем за моим близким другом. Конечно, есть разные условности, которые действуют и на меня: я не могу влюбляться в родственниц, даже в троюродных, даже в самых дальних. Такие возможности я не рассматриваю. Я не могу влюбиться в тетю. Это патологические возможности очень плохого вкуса. Я не могу никогда влюбиться в жену брата. Помню, что Григорий Печорин приводит Бэлле демагогический довод, что если Аллах разрешит ему любить Бэллу, то и Бэлле можно любить Печорина, но я никогда не понимал, из чего следует, что Аллах разрешает ему любить Бэллу. По-моему, он делает это именно безо всякого разрешения. Все мысли дурного вкуса мною выкидываются из головы, я сбиваю все самолеты с этими опознавательными знаками. Я запретил себе думать о женщинах в белой одежде, а это довольно сложная задача для южного города. Я запретил себе думать о женщинах с голубыми белками. О женщинах с ногами. С коленями. Только в виде боковых ассоциаций. Я почти достиг своей цели: я ни о ком не думал. Но уехать из этого города мне пока не удавалось.

Раз в неделю приезжал Борька. Мы болтали, ругались с его приятелями, шлялись по пыльным улицам, мимо семечек и фалафельных, мимо вымогателей долларов у центральной почты, перекидывались ядовитыми шуточками с той забытой ленинградской лендой, с которой мы привыкли и уже отвыкли общаться там, тогда, в той жизни, которая стала прошлой. Выяснилось, что эта земля очень располагает к спорам о религии, и я успел получить клеймо атеиста. Мне дела нет до чужих вер. По моим наблюдениям, большинство людей хождение в церковь затрагивает даже меньше, чем заядлого болельщика поход на скучную игру московского "Локомотива". Я могу напрячься и увидеть что-нибудь мистическое в кипах и собольих шапках, но я подозреваю, что просто у людей есть идея, что есть Бог, она стоит где-то между знаниями

о ценах на кашерный маргарин и смене времен года. Но мне нравилось стоять у открытого окна синагоги и слушать субботние песни. И я нашел маленькую англиканскую церковь, где по средам играл прекрасный органист. В Тель-Авиве есть район, где крошечные христианские церкви выглядывают из чистеньких европейских дворишков, застенчивые “матушки” пасут соломенных детей, туда ведет пять километров сталинградских трущоб — это Яффо. По дороге Борька рассказывал мне, что он в пьяном виде собирается все эти трущобы снести и построить что-нибудь настолько грандиозное, что ему не довести свою мысль до конца. Чтобы все сказали “ах”. Но я и без его построек говорю “ах”. Потому что вся восточная подлость, запечатленная в камне, — это Яффо, и колючая проволока времен английского мандата — это Яффо. И синие европейские шляхи — Яффо. Пахнет прогорклым маслом и горелой бараниной и морю тесно — это Яффо. И воздух вор. В Яффо живет пророчица, к которой я ходил узнавать мою судьбу. В Яффо зажгли фонари, и машинки с недовольным видом объезжали нас стороной, обдавая огнями полных фар. Когда заходишь в Яффо, звезды желтеют и месяц ложится на бок. Пророчица живет в двухэтажном домике, где цела только ее квартира — в трех остальных нет дверей и окон. Перед домом привязан пузатый ослик. На пеньке, во дворе, стоит большая эмалированная миска. Это тоненькая старая женщина в клетчатом платье и грубых шерстяных носках. Она приехала в Израиль из Турции. И не помнит когда. Она не знает счета. Старуха сгорбилась в кожаном кресле, на столе горела бронзовая керосиновая лампа, отбрасывающая на стены дрожащие тени. В комнате не пахло розовым маслом. В комнате пахло венгерским гуляшом. Я теперь знаю, что меня ждет, но я не знаю, огорчаться мне или радоваться. Когда я, покачиваясь, вышел на улицу, Борька уже начал беспокоиться и напряженно вглядывался в окна. “У тебя остались знакомые в Канаде? — спросил он меня на обратном пути. — Слушай, не в службу, а в дружбу, я звонил Наташке, и она попросила меня дать адрес знакомых в Канаде или Америке — это для кого-то, не для нее. Она тебе на той неделе позвонит. Ты не смотри на меня с изумлением. Тут нечего изумляться — я сказал тебе, что не для нее — значит, не для нее!”

Утром Борька снова укатил в Ливан. А я так и не пришел в себя от его выходки. Мне не трудно было дать этой женщине, которую звали Наташа, которая носила широкий белый пояс и мою фами-

лию, адреса моих знакомых в Канаде или в Америке. Или в Бразилии. Если этот адрес нужен был для мужчины, то я мог даже найти для него адреса на Командорских островах или на Филиппинах. Но я заранее знал, что разговор по телефону будет бездонной пропастью, к которой мы уже подступили, и оставалось только взяться за руки, сделать неосторожный шаг и погибнуть. И жизни мне оставалось три дня. Как назло, приходили звонить соседи, немолодой американке звонили по брачным объявлениям, и она по полчаса расспрашивала кандидатов по-польски и на идише, старый беззубый гномик с нашей площадки каждый вечер стучался и уговаривал меня продать ему доллары, но к концу третьего дня все исчезли. Куда-то делись. А я лежал на диване в сапогах и джинсах. И ненужную шляпу сдвинул себе на нос. Оставался час. Полчаса. Минута. Звонка не было. Еще целых семь минут звонка не было. Я знал, что дольше ей не выдержать. Через семь минут телефон зазвонил, и звонил целую вечность, пока я не снял трубку и хриловатый взволнованный женский голос не спросил меня: "Андрей?"

(Конец первой книги)

Письма Йони: портрет героя.

Собраны и подготовлены к печати Бенямином и Идо Нетаньягу.
Пер. с иврита М.Улановская. Иерусалим, «Тарбут», 1984. 301 стр.
Цена 7 долларов.

Письма родным и знакомым подполковника Йонатана Нетаньягу, командовавшего ударным отрядом в Энтеббе и погибшего во время операции.

С правдивостью документа и непосредственностью живой речи рассказывают письма о тяготах военной службы и их преодолении, о радости жизни и горечи смерти, о войне и мире, о судьбе еврейского народа, о политическом положении страны и о самом Йони — прекрасной и незаурядной личности, гордости Израиля.

Письма Йони — незабываемы.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Tarbut, P.O.B. 8383, Jerusalem, 91083, Israel.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Вслед за подавлением инакомыслия в СССР наступила очередь еврейского движения. Положение его активистов и отказников с каждым днем ухудшается. На них обрушились тяжелые репрессии. Одновременно ухудшается положение советского еврейства в целом. Против него развернута массовая антисемитская кампания беспрецедентного масштаба. А ворота эмиграции захлопнуты наглухо.

Эта ситуация вызывает тревогу и беспокойство. Активисты алии из СССР в Израиле давно уже предупреждали о нарастающей опасности. Наш журнал неоднократно в последние годы обращался к ситуации советского еврейства, пытаясь разобраться в причинах ее ухудшения и найти пути возобновления алии. Сегодня мы снова обращаемся к этой теме, надеясь привлечь к ней внимание русскоязычной общественности и тем помочь нашим собратьям в России. Мы не преследуем цели выработать какие-либо "рекомендации", "указания" и "планы". Сами оценки нынешней ситуации еще настолько противоречивы, что прежде всего необходимо дать читателю картину этих различных мнений и вытекающих из них практических выводов. Мы надеемся, что такое свободное обсуждение проблемы (трибуной которого всегда являлся наш журнал), такое объективное представление различных точек зрения, каждая из которых, видимо, содержит — наряду с неизбежными преувеличениями и ошибками — свое зерно истины, поможет каждому читателю прийти к своим выводам.

В нашей дискуссии принимают участие: недавний репатриант из СССР Юрий Штерн (один из руководителей общественного "Центра информации о евреях СССР" в Израиле; генеральный секретарь Общественного совета солидарности с евреями СССР Барух Гуревич; активист алии, отказник с 14-летним стажем Эйтан Финкельштейн; бывший узник Сиона архитектор Виктор Богуславский, член поселения Баркан (Шомрон); недавний репатриант и активист общественного "Центра информации" Юрий Колкер; член редколлегии журнала, бывший основатель самиздатского издания "Евреи в СССР" и научных семинаров отказников в Москве, профессор Александр Воронель. Редколлегия полагает, что высказанные ими взгляды представительно отражают весь спектр мнений, существующих по данному вопросу.

Юрий Штерн

СИТУАЦИЯ НЕУСТОЙЧИВА И ПОТОМУ ОПАСНА

(интервью с редактором "22" Р. Нудельманом)

— Насколько я понимаю, нынешний значительный подъем внимания израильского общества, прессы, телевидения и даже правительства к положению советских евреев в значительной мере связан с деятельностью соз-

данной в Израиле “группы давления”, в которой вы играете не последнюю роль. Как вы сами оцениваете значение усилий этой группы?

— Я думаю, что вы правы, хотя, конечно, мы не были единственными в этом плане. Но как группа, мы действительно были наиболее активными. И наш успех связан прежде всего с тем, что мы стали действовать как организация. Не как группа, а как организация. Есть уникальные люди, вроде Эдуарда Усоскина, который один работает как целая организация в смысле масштабов своей переписки с Союзом, энергии, которую он вкладывает в пробивание получаемых писем в печать и так далее. Но это одиночки. Мы сложились как организация (назвавшая себя “Центром информации о советском еврействе”), исходя из нескольких соображений, и первым из них было убеждение, что единственный шанс на спасение советских евреев связан с изменением обстановки в Израиле. Попробую представить нашу логику.

На Советский Союз можно оказывать давление двояким образом. С одной стороны, необходимо каким-то наиболее эффективным образом поддерживать то еврейское ядро, которое там есть, — в первую очередь, морально, — чтобы они продолжали чувствовать себя в состоянии бороться, жить еврейской жизнью, развивать еврейскую деятельность, хотя и вполне законную по советским нормам, но тем не менее преследуемую. А с другой стороны, нужно создавать влияние на СССР с Запада — со стороны США, еврейских стран, может быть — стран Третьего мира.

Теперь — кто может оказать моральную поддержку еврейским активистам? При всех усилиях еврейских общин мира единственная настоящая моральная база борьбы активистов заключается в ощущении, что за ними стоит народ и государство, что они не одиноки. В этом есть определенная идеологическая платформа, которая дает им силу. Поддержать это состояние духа и дать им ощущение, что за их спиной действительно есть реальные силы, что они часть народа, а не одинокая группа в большой советской пустыне, может, в конечном счете, только Израиль. Значит, моральная поддержка движения там зависит от нас.

Далее, давление на Советский Союз. Кто бы ни оказывал это давление, ни одно западное правительство, ни одна страна, ни один народ не могут быть постоянными действующими лицами, или, как говорится, “интересантами” в такой кампании. Это тоже почти не нуждается в объяснении. Если американская администрация что-то и делает, то она это делает — помимо каких-то идеологических или политических соображений — по двум причинам. Прежде всего, под непосредственным давлением еврейского лобби, и затем — под давлением израильского правительства, которое действует как напрямую, так и через еврейское лобби. Еврейское лобби ставит те или иные акценты в своих требованиях (там, где это не касается его внутренних интересов), прежде всего, в соответствии с тем, какие акценты дает израильское правительство. Значит, опять цепочка замыкается на Израиле.

Далее — от чего зависят акценты израильского правительства, от чего зависят его приоритеты? Как и в любой демократической стране, они так или иначе зависят от настроений населения, от настроения “формирующей части” (элиты) населения. Эти логические соображения привели нас к вы-

воду, что для достижения какого-либо успеха необходимо сосредоточиться на том, что коротко называется "информацией" (хотя это можно интерпретировать как угодно: пропаганда, давление и т.п.). Ее цель — изменить атмосферу в стране, представить проблему так, как мы ее видим, найти такие способы подачи материала и контактов с нужными людьми, которые довели бы эту информацию к потребителю.

Постепенно мы осознали еще одну важную вещь, которую наш председатель Иосиф Менделевич подчеркивал с самого начала. Она заключается в том, что, по существу, люди, которые приехали сюда из СССР, являются, если пользоваться популярной терминологией, "единственными законными представителями" всех оставшихся в России. Все остальные, которые говорят о советских евреях и от имени советских евреев, могут получить этот мандат или лишиться его — только от нас. Вдобавок, мы — единственный настоящий источник информации о том, что там происходит, потому что львиная доля того, что потом поступает в прессу и т. п., идет из наших телефонных разговоров, нашей переписки, нашего личного опыта.

Вот на этих двух предпосылках: необходимости создания лобби для влияния на общественное мнение и формирования этого лобби из людей, прибывших из России, мы и построили свою деятельность. И я думаю, что нам удалось добиться успеха. Повторяю, — это никак не отрицает усилий других людей, но мне кажется, что нынешний "прорыв" во многом связан с возникновением нашей организации.

— *Я хотел бы заметить, что деятельность по информированию израильского общественного мнения никогда, собственно, не прекращалась. И другие "поколения" репатриантов, начиная с 1971 года, исходили из таких же соображений и прилагали те же усилия. Но действительно — сегодня произошел какой-то качественный скачок: мы слышим о положении советских евреев по радио, в печати, на телевидении, из зала Кнессета, даже из уст министров правительства. Может быть, это связано не столько с вашими усилиями, сколько с тем, что изменилась ситуация "наверху"? Изменились приоритеты израильского правительства?*

— О нет, уверяю вас...

— *Но обратите внимание, что в программе правительства Бегина пункт об алии стоял на 22-м месте. Перес, вступая в должность, назвал алию одной из четырех первейших задач правительства. Может быть, ваши усилия удачно совпали с переменной настроений израильского руководства?*

— Я не знаю, есть ли такие перемены. К сожалению, в этом плане я достаточно... если не скептичен, то осторожен. Конечно, кризисная ситуация советского еврейства так или иначе осознается. Мы выезжали из Союза в 1981-м году с четким ощущением, что ворота там закрываются. Наш выезд был в сущности последним всплеском, который мы же сами и вызвали: тогда в Москве готовился очередной партийный съезд, и наша группа тоже активно "готовилась" к нему...

— *Приняла "встречный план"?*

— "Встречный план" и другие "трудовые обязательства", и выполняла их. Есть очень показательная статистика: из людей, которые подписали наше письмо съезду, подавляющее большинство (не считая тех, кто тогда уже был в отказе) выехало. Просто невероятный для случайности инцидент...

— Да, и все же насчет ситуации...

— Я сейчас вернусь к этому. Когда мы приехали в Израиль, здесь мало кто хотел верить нашим предостережениям. Но как всегда, реальность вынуждает увидеть вещи в правильном свете. В какой мере именно мы ускорили этот процесс, не берусь судить. Я вполне могу представить себе израильское правительство, у которого, при самой доброй воле, есть тысячи других, острых и сложных злободневных проблем, и не думаю, что кто-то "просто так", без давления, вдруг стал бы заниматься еще и проблемой советских евреев. Так что немалая доля в результате остается за теми, кто активно старался эту проблему поставить. Наш же успех в значительной степени связан с тем, что мы действуем как группа-посредник между советскими евреями и Израилем. Мы с давних пор мечтали о том, чтобы советские евреи могли прямо и открыто говорить с израильским обществом, израильским руководством, высказывать свое мнение о своей собственной ситуации и о действиях Израиля в их пользу. И это случилось. Тот невероятный вал обращений, писем, петиций, который хлынул из СССР в Израиль в сентябре-октябре этого года, во многом помог пробить стену равнодушия.

— *Иными словами, вы привлекли себе в помощь активистов еврейского движения в СССР?*

— Я не скажу, что мы их "привлекли" — люди там сами до этого дошли.

— *А вы создали для них канал?*

— Да. Ну, и потом само понимание того, что именно так нужно действовать, стало яснее, чем несколько лет назад. Ведь, в сущности, в конце 60-х годов еврейское движение с этого и началось. Но потом это отошло на второй план, поскольку выезд стал свободным. Понятно, что наш голос не был бы так слышен, скажем, в 1979-м году, когда выезжали тысячи человек. Но сейчас, когда ворота закрылись, к нему начали прислушиваться. И слава Богу, что наша предварительная работа до этого момента оказалась достаточной, чтобы заполучить какие-то связи в израильском обществе, на телевидении, в прессе, чтобы все эти контакты в нужное время мобилизовать. Некоторым вещам нам пришлось учиться — скажем, непредвзятому подходу к людям, с которыми имеешь дело. Ведь если посмотреть на многие доизбирательные, избирательные и послеизбирательные заявления большинства репатриантских групп, то видишь, что они часто построены на обвинениях и чуть ли не на ненависти: "отдать под суд!" — "выгнать с работы!" — "ликвидировать!" и прочее. Мы старались быть конструктивными, а не деструктивными. С одной стороны, мы старались, чтобы было как можно больше писем протеста, звонков и давления на средства информации, а с другой стороны — мы к ним ходили и разговаривали. Искали встреч и говорили о своей проблеме. Сейчас, например, я куда лучше представляю себе, насколько трудно попасть в вечерний выпуск израильских новостей. Насколько трудно редактору новостей решить, что он даст две минуты для совершенно неизобразительного сообщения, для голого текста, в котором, к тому же, упоминаются никому не известные имена. А показ фильма об отказах в программе "Мабат шени" пришлось пробивать с июня месяца, с момента первой встречи с новым руководством телевидения. К счастью, получилось так, что ко времени появления этого филь-

ма нам уже удалось убедить руководство. Мы говорили, что не требуем "прав для репатриантов", не говорим о должностях, квартирах и прочем, мы говорили только о том, что происходит в России, и убеждали, что это заслуживает самого серьезного внимания...

— В общем, вы проходите школу борьбы в демократической системе, и это, я думаю, весьма поучительно для многих других советских евреев. Но вернемся к самому главному: что же именно происходит в Советском Союзе? Какова ситуация? Это просто количественное ухудшение прежнего положения или качественно новое состояние?

— Знаете, если, как говорят, с высоты птичьего полета посмотреть на советскую историю, то она вся представляется как последовательное перемалывание и уничтожение евреев. Конечно, все это шло волнами, бывали, по словам профессора Каценеленбойгена, "флуктуации", но общая тенденция сохранялась. Сразу после революции запретили иврит, раздавили сионистские организации — сначала правые, а потом левые, боролись с религией — и притом руками самих же евреев, культивировали идиш и идишистскую еврейскую культуру в противовес ивриту; потом закрыли Евсекцию, которая была хоть каким-то представительством евреев, стали добывать — и добились — культуру идиш; затем принялись за ассимилированных евреев. Короче, есть какая-то логика, с которой советская власть, разрушающая все вообще национальности, с евреями поступает, в целом-то, наиболее круто.

— Почему?

— Я согласен тут с объяснением Бердяева в его книге "Философия неравенства", написанной сразу после революции, в 1918-м году. Бердяев там говорит, что вся большевистская философия построена на выравнивании, на попытке уравнивать неравное, всех сделать "винтиками", — что за собой, в свою очередь, предполагает диктатуру. В этой книге он говорит и о евреях, — что никто так не выиграл от революции, как они, но никто так и не пострадает в конечном счете. Потому что евреи не могут быть "выравнены". И когда этой машине станет ясно, что евреи неспособны в нее вписаться, она со всей своей тяжестью на них обрушится.. Я сейчас пересказываю приблизительно, я читал эту книгу много лет назад. Возможно, я упрощаю.

Я думаю, что это наиболее глубокое объяснение — так сказать, метафизическое. Оно, в сущности, есть и религиозное объяснение. На поверхности есть и другие факторы — например, тот, что евреев попросту неудобно "купить", поскольку у них нет такого национального района, где они были бы "коренной нацией", привилегированной по отношению к "нацменам" (как, скажем, узбеки у себя по отношению к таджикам и наоборот) — поэтому нет способа культивирования среди них лояльной советской элиты. Можно сказать еще, что евреи — по разным причинам — среда, в которой всегда возникают диссидентские течения. Или — что евреи в социальном плане более чуждая системе ее часть, потому что среди них много интеллигентов. Или — что у них есть свое государство и уже в силу этого их лояльность советской власти всегда сомнительна. И так далее. Я уверен, что каждый даст свое объяснение. Если же подходить просто бихевиористски, то

мы видим факт: вход и выход "черного ящика". На входе советская власть, на выходе — последовательное уничтожение евреев.

Но уничтожение — это долгосрочная перспектива, а в более коротком историческом интервале то, что случилось сейчас, действительно может рассматриваться как очень драматический поворот.

— *И тем не менее в 1971-м году произошло "открытие ворот". Вы думаете, что это было просто попыткой избавиться от "чуждого", как вы охарактеризовали, элемента или же это было результатом давления самих евреев? Или комбинацией того и другого?*

— Нет, я думаю, что давление самих евреев было первичным, а уж на его фоне, возможно, родилась надежда избавиться от них, к тому же надежда, я думаю, ошибочная в своих количественных параметрах — не предполагали, что поток окажется таким значительным. Но опять же, вопрос, почему именно решили выпускать, останется, на мой взгляд, полем для различных спекуляций.

— *Некоторые из активистов убеждены, что открытие ворот было прежде всего результатом "еврейского восстания": власти избавлялись от микроба брожения, а вовсе не "торговали евреями" с Западом. И ошибка тех, кто выжидал в этих условиях, надеясь, что ворота всегда будут ждать их открытыми, состояла именно в расчете на "торговлю", на помощь извне...*

— Я думаю, что безусловно имело место "еврейское восстание", возникновение массового движения. Но, во-первых, были и другие массовые движения, которые Советы тем не менее задавили (или продолжают подавлять). Конечно, еврейское движение было специфично, ибо было направлено на выезд, а не на изменение системы. Однако я думаю, что одного восстания было бы недостаточно. Когда же благодаря ему возникло давление с Запада, то Советам все это стало невыгодным. Я убежден, что в любой ситуации есть баланс "за" и "против", который они взвешивают...

— *Я задал свой вопрос потому, что из ответа на него следует несколько разные практические выводы. Если путь спасения советских евреев лежит в давлении Запада, это требует усилий от нас; если же решающим фактором является боевой дух самих евреев, то главное зависит от них самих. Между тем вы в вашем перечне необходимых действий о них даже не упомянули...*

— Что вы! Когда я говорил о поддержке их морального духа, я говорил именно о поддержке их способности продолжать борьбу. Скажу больше — мне представляется, что накал их борьбы сейчас гораздо выше, чем то, что было в начале движения. Я не буду сравнивать мужество, это нелепо, но если говорить просто о масштабах, то они сегодня беспрецедентны — при учете того, что это происходит в гораздо более жестких условиях. Знаете, как в математике, — можно находиться на одном уровне, но по разные стороны от вершины некоторой кривой: раньше "производная" шла вверх, а теперь она идет вниз — это совершенно разные ситуации. Сейчас в СССР все идет назад, к сталинским временам.

В начале движения, заметьте, евреи не были самыми страшными для режима противниками, были враги пострашнее — инакомыслящие, диссиденты. Заметьте еще, что игра режима с диссидентами, стремление избавиться от некоторых из них, принесла и евреям немалые плоды. А сейчас все

прочие задавлены, евреи остались в одиночестве в противостоянии власти. Среда, в которой они остались, тоже стала совершенно иной. Все эти годы антисемитской пропаганды не прошли бесследно. Вот простой пример: в свое время, приехав из Москвы в Одессу, я был просто потрясен, увидев чисто еврейские компании, которые принципиально не включали никого извне; мне это было чуждо и даже неприятно, я считал, что это проявление какого-то "расизма". А сегодня такая ситуация типична уже и в Москве, и в Ленинграде. И почему? Потому что среда стала более антисемитской. Раньше это было больше на Украине, теперь это всюду стало так.

Поэтому я не вижу никакого основания не то, чтобы обвинять, но даже предполагать, будто советские евреи не делают максимум возможного в таких условиях.

— *Вы имеете в виду отказников?*

— Даже не столько одних отказников, сколько активистов: людей, которые добиваются выезда, изучают иврит, возвращаются к религии, посещают семинары, проводят еврейские праздники. Для всего этого требуется невероятное мужество. И масштабы этого я не могу сравнить с тем, что было раньше в России. Конечно, в Риге в 60-е годы движение тоже имело массовый размах, но сегодня основная масса советского еврейства — после отъезда прибалтийских, молдавских, многих украинских, грузинских и бухарских евреев — это еврейство ассимилированное, и на таком фоне нынешний размах движения в Москве, в Ленинграде, других городах попросту невероятный.

— *Звучит убедительно. Более того, я думаю, что нельзя забывать и о стойкости, которая нужна тем сотням тысяч "простых евреев", не активистов, которые попрежнему, несмотря на все давление пропаганды и прямые угрозы, отказываются вернуть вызов, взять обратно заявление об отъезде...*

— ...и не бегут на собрания с покаянными речами.

— *Как определенное мужество необходимо тем, кто, даже не подавая на выезд, тем не менее не прекращает переписку с родными и друзьями из "сионистского государства". И все же нельзя не испытывать глубокой горечи при мысли о том, что все это запоздалое мужество, быть может, было бы не нужно, если бы они вовремя воспользовались пробитой брешью...*

— Это антиисторический подход! Ни один исторический процесс не начинается сразу, молниеносно. Пока сама мысль о возможности выезда "овладела умами", прошло немало времени...

— *Вы правы. Но когда она "овладела", одни ринулись в Америку, а другие стали выжидать. Они решили, что их устраивает такая ситуация, когда ворота будут постоянно открыты, кто-нибудь будет их придерживать ногой, а они тем временем будут выбирать...*

— Конечно, были и такие...

— *Два миллиона...*

— Но ведь людям нужно время, чтобы созреть! Вы, например, созрели в начале 70-х годов, даже задолго до этого, а для меня само решение уехать, порвать было невероятно тяжелым. Тот оптимизм, который во всех нас заронил 1956-й год, не скоро угас. Сколько понадобилось, чтобы мы поня-

ли, что нельзя оставаться, что это просто преступление по отношению к собственным детям. Понимаете, пока это становится ясным каждому, — а ведь речь идет о миллионах людей! А если еще говорить о людях, переживших сталинские времена, — сколько в них было убито, сколько страха внедрено!

— Ну, хорошо, вернемся к ситуации. Мы говорим об одиночестве, об усилении прямых репрессий. Есть еще усилившийся до чудовищности пресс антисемитизма. Что еще изменилось?

— Нет, об антисемитизме нужно сказать подробней. Это не просто количественное усиление, это совершенно другой антисемитизм. Я возьму такой показательный факт: в прежние годы авторами антисемитских книг, как правило, были евреи, и понятно, какая за этим стояла пропагандистская подоплека: вот, мы, мол, против иудаизма, против сионизма, но не против евреев, — а сейчас, если посмотреть, то основными авторами являются всякие Корнеевы, Евсеевы, Зуевы, казахи, грузины, и это никого уже не смущает. Это принципиальный сдвиг, это изменение в концепции, в установке — ведь всякая такая книга совершенно четко есть продукт определенного политического решения. А за изменением установки следует изменение нюансов. Во-первых, колоссальное количественное изменение: охват антисемитскими брошюрами, статьями, лекциями в армии, в школах, на заводах, телевизионными передачами, фильмами рассчитан на все население поголовно. И ведется с невероятной откровенностью, с невероятной бесцеремонностью в развенчании еврейской истории, в извращении ее. Появилось, например, утверждение, что Иерусалим с евреями вообще не связан. Он, дескать, был построен иевуссеями, потом на двести лет захвачен Давидом, а дальше пришли вавилоняне, римляне, византийцы, арабы, — короче, у евреев нет древней истории. Средневековая история активно не переписывается, но когда подходят к новым временам, например, к Хмельницкому, то — разве были в прежние годы книги, в которых писалось бы, что погромы были результатом классово-борьбы украинского крестьянства против еврейской эксплуатации?!

— Тут я могу вас дополнить — в книге того же Корнеева древняя история евреев переписывается куда эффектнее: он утверждает, что "торгово-финансовая организация евреев" ("еврейский заговор", направленный на овладение миром) сложилась уже в вавилонском изгнании, а затем через Александрию и Рим перекочевала в Европу. Что же касается средневековой истории, то в той же книге утверждается, скажем, что язык идиш был придуман в европейских гетто, чтобы скрывать еврейские замыслы от окружающих "гоев".

— Да, да, вы совершенно правы. Но вот это оправдание погромов... центральные издательства никогда раньше не решались на это. Затем — Катастрофа. Сначала они говорили, что сионисты сотрудничали с нацистами в ее осуществлении, теперь уже пишут о том, что они "планировали" ее и что вообще масштабы Катастрофы "раздуты" сионистами, на самом деле погибло гораздо меньше человек, да и те не все евреи. Это санкционировано высшим издательским органом — Политиздатом.

Не забывайте, далее, что сегодня антисионизм идет уже в любой упаковке. Для людей, не очень любящих советскую власть, есть художественная

литература, книги популярных или уважаемых интеллигенцией авторов — Пикуля, например, Катаева или вот теперь Василия Белова, который покаяется, что евреи виноваты во всех расстрелах Чека и в коллективизации (Белов приводит придуманную им "переписку троцкистов", выдержанную в дурном местечковом вкусе, где обсуждаются меры по "уничтожению крестьянства"). Для мусульман есть свой раздел антисемитской литературы, где основной упор идет на то, как евреи угнетают, эксплуатируют и унижают мусульман. Иными словами, задействованы буквально все адреса, и это уже качественное изменение. Советский Союз превратился просто в центральную фабрику антисемитской пропаганды на всем белом свете! Сейчас АПН уже без стеснения печатает на английском языке брошюру, в которой говорится, будто в двух последних классах израильской школы отводится больше часов на Тору, чем на математику, и это делается для того, чтобы обучить молодое поколение ненавидеть не-евреев. Такой выпад против Священного Писания (Священного не только для евреев, но и для христиан) никогда раньше не поступал под маркой АПН на экспорт. И в той же брошюре приводится дегенеративное утверждение Корнеева, сделанное в 1980-м году в "Пионерской правде", будто в израильской школе есть урок "национального сознания" (если бы!), и когда учитель во время этого урока спрашивает, что делать с арабами, ученики якобы хором отвечают: "Убивать!"

И что любопытно: есть исследования, которые показывают, что неонацистские и левацкие группы на Западе подхватывают эти дикие измышления, и я не думаю, что это происходит потому, что они так следят за советскими изданиями, — нет, тут видна целенаправленная подсказка. Антисеицизм для СССР становится сегодня тем же, чем был антисемитизм для Гитлера. Если вы помните, нацисты во многих странах подготовили себе почву без всякой пронацистской и прогерманской пропаганды — просто тем, что потворствовали всяким антисемитским группировкам, которые отравляли атмосферу в своих странах и этим подготавливали население принять немцев и нацистов. Функционально антисеицизм для Советов теперь выполняет ту же роль — и в Третьем мире, и на Западе. Его подбрасывают и левым, и правым полуподпольным группировкам. Это совершенно новое явление.

А если брать внутрисоветский контекст, то обнаружится еще одно. Вот вы говорите о переписке и так далее. Если вы посмотрите все новые советские законы и положения, принятые в последние годы, то обнаружите, что все они направлены на реставрацию положения, существовавшего при Сталине — по крайней мере, юридически, то есть потенциально. Ведь если есть закон, то хоть его могут пока не применять, он уже существует. Конечно, большая разница — в том, что теперь они вынуждены законы принимать, раньше обходились и без законов. Но посмотрите: если проанализировать все нововведения, начиная с 1983 года, то обнаружится необычайно четкая логика, и она заключается в том, что все те вещи, которые сделали возможным какое-либо брожение, независимое движение в стране, — все они устраняются. Общение с иностранцами; возможность получения материальной помощи из-за границы, то есть возможность независимого существования; возможность репетиторства, то есть опять-таки независимого существования; некая пропорциональная связь между преступлением и наказанием,

когда известно, что по такой-то статье дадут столько-то и не больше (между тем, как в сталинские времена принципиальным фактором устрашения было то, что человек, попавший в тюрьму, из нее уже не возвращался, независимо от того, в чем и на сколько он осужден). Если глянуть с этой точки зрения на нынешние советские “новации”, то вот вам закон, который позволяет без суда, в административном порядке, добавлять срок в тюрьме или в лагере; вот вам ограничение на частное репетиторство (нужно принести рекомендацию с места работы); вот вам запрещение — в ущерб самой советской власти — статусов лицензионных посылок, делающее их финансово уже невыгодными для получателя; вот вам добавление к статье 70-й, если не ошибаюсь, по которому можно получить три дополнительных года, если получал помощь от “лиц или организаций, враждебных советской власти”; вот вам расширение перечня т.н. “антисоветской деятельности”, включающее в нее “письменные материалы” — например, личное письмо, даже если вы не распространяли копий с него.

В этой обстановке положение советских евреев становится угрожающим.

— *Вы говорите об отказниках?*

— Я говорю обо всех евреях, я не разделяю. Послушайте, когда из страны выезжает каких-нибудь 60-70 человек в месяц, а число подавших — десятки тысяч, может быть, сто тысяч, то все эти подавшие — отказники. А если еще учесть число желающих подать...

— *Понятно... Тогда это возвращает меня к основному вопросу. Насколько я понял из ваших выступлений, вы и другие члены “Центра информации” убеждены, что всем советским евреям грозит депортация...*

— Видите ли, ситуация евреев в СССР противоречива. Им не дают ассимилироваться; им не дают быть евреями, не создают даже какого-то еврейского гетто; и их не выпускают. Это положение взрывоопасно, оно не может продолжаться бесконечно. Это первое. Второе — не может быть стабильным положение, при котором десятки тысяч “предателей” сидят в крупнейших городах, что составляет предмет вождения всего оставшегося населения, занимают неплохие должности и так далее. Когда отказников были десятки, сотни, их могли выгонять с работы. Когда речь идет о десятках тысяч человек, изгнание их с работы — это социальная проблема. Эти люди по-прежнему работают инженерами, врачами и так далее. И они — “предатели”, ведь окружающим непрерывно объясняют, что эти люди — изменили Родине, что они под видом изучения иврита на самом деле исполняют задания мирового империализма, что страна, куда они хотят уехать, — главный враг мира и так далее. Эта ситуация нестабильна. Нестабильна! Эти люди должны просто исчезнуть с горизонта простого советского человека. Они все время ставят перед ним вопрос: как же так, почему терпят таких людей?

— *У меня возникает щекотливый вопрос. Вы говорили о нашей ответственности за судьбы собратьев в России. Не кажется ли вам, что вы оказываетесь здесь, мягко говоря, в деликатной ситуации: говоря о том, что им угрожает депортация или иное решение сталинского типа, вы можете невольно сыграть на руку КГБ, который хочет их запугать и тем самым заставить их вернуться вспять. Ведь вполне возможно, что советская стратегия*

состоит именно в том, чтобы попытаться, если можно так выразиться, вернуть время вспять. При всем сходстве нынешней ситуации с той, что была до 1971-го года, есть кардинальная разница: евреи уже знают, что выезд был возможен. И главная задача власти — заставить их “забыть” об этом. Что делать с ними дальше — власть еще не знает, но сейчас ей важно, чтобы они стали “прежними евреями”, а для этого нужно их прежде всего запугать. Ваши слова о “депортации” пугают. Если бы вы говорили об отказниках, активистах, я бы понял ваше беспокойство, вашу формулировку...

— Я это осознаю. Но, во-первых, я не один и не сам придумал такую формулировку — я с этим выехал, все мы выехали с таким ощущением, и мы сейчас получаем оттуда письма с такими формулировками. На днях в “Гаарец” была статья западного журналиста, побывавшего в Москве, — ему там евреи говорили о том же.

— *Иными словами — это не тактическая уловка, рассчитанная на привлечение максимального внимания?*

— Конечно, нет. Ни в коем случае. Мы уже в Союзе считали так. Наше письмо съезду, которое я подписал, заканчивалось словами: “Советское еврейство стоит на пороге национальной катастрофы”. Понимаете?

— *Это было в 1981-м, сейчас мы вступаем в 1985-й. Скажите, вы не боитесь оказаться в роли того мальчика, который кричал: “Волк, волк!”?*

— Нет. Я просто уверен, что волк придет. То есть — что значит уверен? Я уверен, что советская власть должна будет решать еврейский вопрос, — если, конечно, она не даст евреям уехать. Если мы не договоримся с ними, то этот волк придет. Я не знаю, можно ли спустить на тормозах такую ситуацию.

— *Простите, если я вас перебую. Конечно, вы правы, говоря, что Советам нужно что-то делать с евреями. Я полагаю, что те конвульсии, которые происходили в 1948-м, 1953-м годах, уже были полусознательной попыткой решить этот вопрос. Евреи нужны были в 30-е годы, когда не было своей преданной интеллигенции, своих “кадров”. Теперь они появились, им нужно дать место, и роль евреев в системе кончилась. Война была водоразделом, — не говоря уже о том, как она разожгла вульгарный антисемитизм советских верхов.*

— Да, тогда, может быть, власти еще этого не понимали, но сейчас они уже поняли. Поняли, что им придется этот вопрос решать радикально. А евреи в массе еще не осознали серьезности своей ситуации. Понимаете, — чем принципиально ситуация до открытия ворот отличается от ситуации после их закрытия? До открытия подавляющее большинство евреев были так или иначе лояльны, они не помышляли о выезде. Теперь же, по мнению властей, все они или почти все не могут считаться лояльными, даже если не намерены выезжать. Им “нельзя” поручить ответственную работу, их детям “нельзя” давать продвигаться...

— *Я хочу вам объяснить, почему я так добиваюсь ясности. То, что вы говорите, волнует многих. Оно ставит перед нами всеми вопрос: если ситуация действительно такова, как вы считаете, то нужно немедленно всем, и прежде всего — советским евреям в Израиле подняться и завопить истощенным воплем. Если же это не так, тогда иной разговор. Если ситуация такова лишь для части евреев, для отказников, давайте говорить точно и прямо:*

им грозит физическое уничтожение в лагерях и тюрьмах, остальная масса евреев находится под угрозой духовной и социальной катастрофы. Это крайне важное разграничение, и потому я хочу, чтобы вы развернули перед читателем всю свою аргументацию, привели все доказательства своей точки зрения.

— Я понимаю. Я поэтому и отвечаю. Я не знаю, где советская власть поставит границу. Сочтет ли она, что достаточно репрессировать только отказников, или всех, кто уже подал документы, или тех 400 тысяч, которые попросили вызовы, или нужно подключить и тех, кто хотели просить вызов, но по каким-то причинам этого не сделали.

— *И потому вы действуете применительно к худшему...*

— Я не знаю. У нас уже есть пример 1953-го года. Я не могу гадать. Но я действую применительно к той логике событий, которую вижу. И говорю, что такая логика имеет очень большой шанс реализоваться. Я говорю, что каждый день в таких масштабах подогревать население против евреев — это тоже работает на нестабильность ситуации. Как бы советская власть ни была автономна от общественного мнения, и в ее системе существуют приводные ремни и есть обратная связь. Каждый день о евреях говорят ужасные вещи. Завтра встанет какой-нибудь русский человек, или украинец, или узбек, и скажет: они предатели, они наши враги, их религия учит ненавидеть нас, они в мацу кладут кровь, а на шабат (как сейчас запустили слух) используют наркотики, — так надо же с ними что-то делать! Вспомните — идея Сталина заключалась в том, чтобы выселить евреев под предлогом защиты от погромов. Я не могу быть пророком, как не может быть никто, и я не хочу им быть, но есть внутренняя логика событий, мы должны эту логику видеть, мы должны понимать, что любой сдвиг, любой кризис системы делает эту логику почти автоматически самореализующейся, а кризис в Союзе, как мы понимаем, весьма вероятен, будь то экономический кризис, или кризис руководства, или внешнеполитические трудности, и мы евреев должны спасать. Мы должны действовать! Увы, израильское общество и его руководство недостаточно активны.

— *В чем вы усматриваете эту "недостаточную активность" израильского руководства? В сущности, все, что вы говорите, подразумевает, что ситуация во многом возникла потому, что действия Израиля были недостаточными. Вы в этом действительно убеждены?*

— Я просто это знаю. Но я хотел бы сначала вернуться к вопросу о "тактическом приеме". Наш тезис об опасности ситуации — не тактический прием. Ни для кого из нас. Мы можем ошибаться, но мы не делаем это ради спектакля, не утверждаем это ради того, чтобы добиться пропагандистского эффекта, — что тоже легитимно, вообще говоря, но нам не подходит. Теперь об Израиле. Скажем так. Столь серьезная и сложная проблема, как вызволение советских евреев, может быть решена, только если она включена в приоритеты страны, если на нее брошено достаточно сил, если она периодически обсуждается общественностью, правительством, парламентом. Это, так сказать, общее условие. И если мы с такой точки зрения посмотрим на действия израильского руководства, то мы увидим, насколько его действия неадекватны сложившейся ситуации и всей проблеме в целом. Правительство не обсуждало ее уже многие годы. Когда это дела-

лось последний раз, — никто и не помнит. Кнессет это никогда всерьез не обсуждал. В прошлом году пытались поставить вопрос на обсуждение — в зал заседаний пришло всего шесть (!) депутатов. Ни один министр не явился. Понимаете? Есть простые, очевидные показатели.

— *Быть может, это делается "тайными каналами"? Есть же вот Общественный совет солидарности с евреями СССР, есть русский отдел при министерстве иностранных дел...*

— Общественный совет делает многое, когда речь идет о посылках, организации демонстраций и тому подобное, но его деятельность изначально ограничена тем, что он создан сверху и оттуда же получает инструкции. Что же до "русского отдела", то ситуация такова: любое министерство или ведомство должны время от времени отчитываться перед правительством или Кнессетом, в противном случае никто вообще не может оценить успех их работы. Даже для "тайных каналов" существуют закрытые заседания правительства: обсуждал же кабинет, например, переговоры об освобождении наших военнопленных. Если же такого обсуждения нет, то оценивает и определяет свою деятельность сам чиновник. Более того — министры и даже премьер оказываются, в сущности, в плену этого "специалиста", в зависимости от его оценок, суждений и взглядов. К чему это приводит, мы видели на примере разговора Шамира с Громыко. Это был просто позор! Наш министр иностранных дел не знал даже, сколько в СССР евреев, желающих выехать. Когда Громыко сказал ему, что таких нет, он не сумел возразить ему с цифрами в руках. И на следующий день не выступил с декларацией, не дезавуировал утверждение Громыко. Вместо этого он говорил с ним о ближневосточной конференции, которой добивается СССР, но не хочет Израиль, а потом — о восстановлении отношений, которого хотим мы, но не хочет Советский Союз. Пора уже определить хотя бы, какова наша стратегия в еврейском вопросе. Стоит ли он у нас впереди вопросов о восстановлении отношений с СССР или позади, впереди ближневосточных проблем или после них?

— *Но этот вопрос сейчас действительно не на первом месте...*

— Он не должен быть на первом или втором. Он должен быть на особом! Но у израильского руководства нет не только стратегии, но даже тактики в этом вопросе. Оно ни разу за последние годы не обратилось напрямую к американским еврейским общинам с соответствующим призывом. И в результате вся деятельность в защиту советских евреев в США превратилась в рутину, этим занимаются "профессионалы". В Сан-Франциско на недавней демонстрации в защиту отказников не присутствовал ни один руководитель общины. Вместо обращения к мировому еврейству мы отвлекаем его борьбой вокруг неширы. Но для американского еврейства проблема неширы второстепенна. Мы преувеличили ее значение своей постановкой вопроса. И отвлекли внимание от главного.

— *И к этому "главному" вы пытаетесь сейчас вернуть общественное мнение и израильское руководство? Вы рассчитываете на успех?*

— Мы не безрассудные герои. Но мы и не одиночки. И мы многому научились. За нами — десятки тысяч советских отказников, сотни тысяч евреев СССР, которые увидели в нас своих представителей. Я знаю, что их положение можно объяснить. И это наша главная задача сегодня.

ДВЕ СТРАТЕГИИ

(интервью с редактором "22" Р.Нудельманом)

— Я хотел бы, как говорится, "выстрелить с бедра". Существует ли у вас (а под "вами" я подразумеваю и представителей израильского руководства) стратегия борьбы за советских евреев? Не тактика, а именно стратегия?

— Прежде чем говорить о нашей стратегии, следует понять, в чем состоит стратегия Советов. И говоря об этом, мы обязаны понять, что у них существует определенная стратегия, определенная политика. В последние 5-6 лет они проводят весьма последовательную линию. С конца 1978—начала 1979-го года они закрыли ворота выезда. Закрывая ворота, они должны были решить, что делать с теми, кто готов покинуть СССР при первой возможности, но не участвует в активной борьбе за это, а также с теми, кто включается в такую борьбу. Советы решили провести разграничение между "простым народом" и активистами. Это и есть их стратегия. В отношении "простого народа" она состоит в намерении "открыть ворота назад", к ситуации, когда эти евреи попытаются стать снова частью советской системы. Этим евреям не увольняют с работы, не преследуют, им намекают, что дорога назад открыта.

Второй отряд — активисты и отказники. Здесь, я думаю, Советы пробуют три альтернативных подхода. Если хочешь оставаться активным — заплатишься тюрьмой или лагерем. Мы отчетливо видим эту тенденцию в отношении "нового поколения" активистов, как видели ее несколько лет назад в отношении прежнего поколения — например, Браиловского, Бегуна и других. Вторая альтернатива — сиди тихо, не активничай, и тебе (хоть это и труднее, чем для "простого еврея") тоже дадут определенные возможности. А если не тебе, то твоим детям. Ведь нельзя забывать, что человек, пробывший 7-10 лет в отъезде, не может не задумываться над судьбой своих детей, которым, возможно, придется остаться в этой системе. Наконец, третья возможность, примеров которой пока еще мало, чтобы обоснованно о ней говорить, — рано или поздно выпустить некоторых активистов, если не будут особенно шуметь.

Далее советская стратегия выходит за рамки еврейского вопроса в самом СССР и обращается к тому, что мы называем международной борьбой за советское еврейство. Советы поняли, что еврейский вопрос в СССР стал международной проблемой, что он стоит на международной повестке дня. Поэтому они не могут к нему относиться пассивно. По собственному опыту могу сказать, что сегодня куда больше советских представителей готово обсуждать этот вопрос, готово встречаться с дипломатами, с политиками, защищать и объяснять свою политику и так далее.

Тут они ведут очень интересную и тонкую политику — они пытаются провести разграничение между Израилем и евреями диаспоры. Возможно, им легче иметь дело с евреями диаспоры. Во всяком случае, они явно ищут любой канал, через который можно на них повлиять. И их главная цель при этом — показать, что в СССР может существовать определенная фор-

ма еврейской жизни. Если вы видели недавний фильм об отказниках (кстати, снятый в Москве почти полностью легально, с разрешения), то вы могли понять, что именно Советы хотят “продать” западным евреям. Они хотят им продать мысль, будто в СССР существует определенная еврейская жизнь — пусть это Биробиджан, или новый словарь, или учебник идиш, или идишистский театр, или еврейская община со своим ребе. Хороший пример такой пропаганды — недавний визит рава Шаевича в Штаты. Могу вас заверить: многие американские евреи, встречавшиеся с ним, увидели в нем живое доказательство того, что — несмотря на все ограничения и так далее — еврейская жизнь в СССР все-таки существует. Ведь перед ними был настоящий рав — пусть без подлинного еврейского прошлого, но достаточно образованный, знающий немного идиш, немного иврит, немного иудаизм, — совсем не то, что прежний рав Фишман, который даже ивритских букв не знал! А тут — молодой еврей, бойкий, уверенный, конечно — продукт советской системы, но что из того?! Многие так и говорили: “А все-таки у них есть такие, как Шаевич”. И вот попомните: скоро они начнут посылать людей учиться в будапештской ешиве, если это будет выгодно с пропагандистской точки зрения.

Далее встает вопрос о политике в отношении Запада. Тут они пытаются доказать, что в СССР нет никакого антисемитизма. Каким образом? Ссылаясь на официальные законы, по которым это — преступление, ссылаясь на свою “национальную политику”. А то, что уже не удастся замазать, объявляется “частными случаями”. Советская пресса тщательно подбирает и публикует все случаи антисемитизма на Западе, чтобы заявлять: видите, антисемитизм вообще-то существует повсюду, но у нас он поставлен вне закона.

Они стали умнее. Они поняли, что им нужно точно определить врага. И они сделали это, проведя четкое разграничение между антисемитизмом и антисионизмом. Борьбу с антисионизмом они возложили в основном на свой Антисионистский комитет.

До сих пор я пытался представить картину их теоретических устремлений. Теперь стоит посмотреть, что у них происходит на практике. На практике эта стратегия не всюду срабатывает. Она не срабатывает с “простым народом”, потому что в СССР все еще остается слишком много людей, которые сделали один или несколько первых шагов по пути выезда. И вопрос в том, могут ли они проделать шаги в обратном направлении. Я, и не только я, считаю, что этого не будет. Есть люди, оказавшиеся в подвешенном состоянии, и как только представится первая возможность, они уедут.

С отказниками тоже происходит интересное явление. Первое поколение их сходило со сцены, оно устало, просто по-человечески устало. Но на смену ему появляется второе поколение, и у советской власти — новые проблемы.

Поэтому если мы спрашиваем: преуспевают ли Советы? — ответ должен быть таков: у них есть отдельные тактические успехи, но в стратегическом плане им попрежнему приходится думать над проблемой советского еврейства. Они по-прежнему не знают, как ее решить, они не смогут ее решить. Удастся ли им убедить большинство мирового еврейства? Думаю,

что нет. Удастся ли им провести границу между антисионизмом и антисемитизмом? Совершенно очевидно, что нет. Не нужно даже обращаться к примеру Корнеева. Здесь мы имеем случай чистого антисемитизма, который, в сущности, использует сложившуюся ситуацию, чтобы выражать все свои мифы. Но дело сложнее. Говоря о сионизме, вы должны признать, что это еврейское национальное движение, даже если вы называете его “фашистским”, и тогда вам не избежать связи между “сионистами” и “евреями”. Вы, конечно, можете сделать вид, что проводите различие между ними, но скажите на милость: если вы хотите нарисовать карикатуру на сиониста, кого вы вынуждены рисовать? Конечно, еврея. Вот вам, к примеру, книга некоего Зуева, вышедшая недавно в Донецке. Он пытается сделать вид, что говорит о “сионистах”. Но уже через несколько страниц это перестает работать, и он вынужден говорить о “еврейском докторе”, “инженере-еврее” и так далее. Так что даже там, где политика, быть может, пытается провести разграничение, практика делает это невозможным.

Теперь я возвращаюсь к вашему вопросу. Если дело обстоит таким образом, какова должна быть наша стратегия? Прежде всего по отношению к “простым евреям”, не активистам? Мы должны стараться сохранять с ними контакт. Через письма, посылки, через любые доступные каналы. Далее — по отношению к активистам. Мы должны оказать им моральную — и не только моральную — поддержку. Мы обязаны поднять вопрос о советских евреях в Израиле на уровень одной из важнейших национальных задач. Далее, мы обязаны сделать так, чтобы этот вопрос оставался на международной повестке дня, равно как и на повестке дня двусторонних переговоров великих держав. И когда я говорю “на повестке дня”, возникает вопрос: только ли на словах или также на деле. Сегодня мы достигли такого уровня, что этому вопросу уделяется внимание, по крайней мере, на словах. Теперь нужно пойти дальше, от слов к делу. Иначе получится как на Мадридской конференции. Мы обязаны показать и доказать любому советскому представителю за границей, что проблема советских евреев — это наша проблема. Говоря “наша”, я имею в виду евреев вообще и израильтян в особенности. Все, чего я требую в этом смысле от еврея Чикаго или Нью-Йорка, я должен вдвое потребовать от себя, как израильтянина. Конечно, это нелегко. Я хотел бы, чтобы всякий израильский политик, встречаясь со своим коллегой за границей, поднимал этот вопрос...

— Так, как это сделал Шамир? И получить такой же ответ?

— И если он получит такой ответ, какой получил Шамир, он должен быть готов немедленно опровергнуть его, с фактами в руках.

— А у Шамира не было фактов?

— О нет, у Шамира они были, и он ответил! Но я хочу, чтобы любой министр, любой член Кнессета был способен ответить, чтобы любой израильтянин, отправляющийся за границу, мог бы доказать, что вопрос о советском еврействе — одна из важнейших задач Израиля. Но пойдём дальше. Я хотел бы, чтобы процесс абсорбции в Израиле был улучшен. Я убежден, что система абсорбции у нас вполне разумная, и сама абсорбция для большинства советских евреев, прибывших в Израиль, прошла успешно. Но эта инфраструктура еще нуждается в улучшении. Как и работа Сохнута,

министерства иностранных дел и многих других учреждений, занимающихся этой проблемой.

— Мне понятно. Но в ходе ваших объяснений вы затронули ряд пунктов, над которыми висят жирные вопросительные знаки. Я хотел бы их снять. Прежде всего, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию советских евреев — как серьезную, как очень серьезную, как опасную, как катастрофическую?

— Я предпочел бы избежать таких определений. По существу, они ничего не значат. Но если уже выбирать, то ситуация сегодня очень серьезная, и вот по каким причинам. Во-первых, усилились реальное давление на молодое поколение активистов. И мы должны понять, что здесь имеет место систематическая попытка подавить это поколение повсюду. Уничтожить его — не как людей, не физически, но как активистов. Советы наверняка рассчитывают, что это окажет нужное влияние и на остальных евреев в СССР. С этой точки зрения положение действительно серьезное. Во-вторых, оно серьезное также с точки зрения антисемитской кампании, которую стало уже невозможно отличить от антисемитской кампании. А развязывая антисемитскую кампанию, никогда нельзя заранее предвидеть результаты. Нельзя предвидеть, что происходит в умах людей, подвергающихся такой обработке, какое отношение к евреям у них складывается.

— Эта кампания рассчитана также и на устрашение евреев...

— Тут, говоря с точки зрения общеисторической, можно предсказать, что реакция будет и желательная, и прямо противоположная. Такая кампания может, напротив, породить еще большее число евреев, желающих уехать.

По всему по этому положение можно назвать серьезным. Если раньше была альтернатива — выезд, то теперь Советы ее закрыли. И вопрос теперь: какова альтернатива? Советы пытаются этот вопрос решить. И мое мнение, как историка, — им это не удастся. Я всегда считал, что евреи, как национальное меньшинство, не имеют места в советской системе.

— Иными словами, вы отрицаете какую-либо роль евреев в будущей России?

— Я смотрю шире. Я вообще не думаю, что евреи как меньшинство могут ужиться в какой бы то ни было системе. Оглядываясь назад, можно, конечно, сказать, что в той или иной системе они сыграли выдающуюся роль, но я не думаю, что это обязательно. Они сыграли свою роль и в истории России, и — как индивидуумы, как отдельные евреи — еще могут сыграть ту или иную роль, но как группа, как нация они, на 67-ом году советской власти, не имеют места в ее системе. И это очень серьезно, это означает, что советская система не сумела решить вопрос евреев как нации ни на каком уровне — от философского, теоретического, до практического. Она не может их абсорбировать и не хочет выпустить, и потому эта проблема останется. Теоретически возможно решение ее по давнему рецепту Победоносцева: треть уедет, треть ассимилируется, треть (не дай Бог!) будет перебит.

— Вы не исключаете и эту возможность?

— Нет, я не думаю, что она реальна. Разумеется, с советской властью никогда нельзя ничего предсказать наверняка. Они могут снова органи-

звать какой-нибудь показательный процесс, может быть — даже массовый, но это зависит от их оценки ситуации. С пропагандистской точки зрения они уже приготовили почву для такого процесса, — с помощью статей, публикации имен активистов, изоляции их в обществе, шельмования, так что не исключено, что кто-нибудь на советских верхах решит, что это — наилучший способ показать евреям, что их ожидает в случае излишней активности. Таким показательным процессом был уже процесс Бегуна. Будет ли такой новый процесс массовым, захотят ли они собрать несколько активистов вместе, чтобы показать наличие “организации” — это от них зависит. Но что касается депортации, о которой некоторые сейчас в Израиле говорят, то это мне кажется нереальным, во всяком случае — в данный момент. Не в нынешнем советском сценарии. Конечно, может произойти все, что угодно: политические трудности, экономический кризис, — но это уже другой сценарий, который сегодня менее вероятен.

— *Коль скоро для евреев, по-вашему, нет места в советской системе, в будущей России, то, может быть, вам следовало бы вести свою пропаганду на советских евреях, сосредотачиваясь именно на этом, а не уговаривая их, что в Израиле они смогут вести “еврейскую жизнь” и тому подобное?*

— Для меня это аксиома. Это исходный пункт. Тем не менее — кто я такой, чтобы претендовать на “всю истину”? Возможно, для многих евреев притягательность выезда диктуется другими соображениями. Я только надеюсь, что если возникнет необходимость, все они уедут из СССР — по каким бы то ни было причинам.

— *И сколько, по-вашему, их уедет?*

— Это хороший вопрос. Сегодня нам известно около 400 тысяч евреев, запросивших вызов...

— *Я вынужден вас перебить. Эта цифра у многих вызывает сомнения. В нее, кажется, входят люди, получившие два или три вызова, и каждый засчитывается отдельно...*

— Хорошо, мы не знаем точных цифр, согласен. Если вы утверждаете, что их не 400 тысяч, а триста, — пожалуйста. Двести тысяч! Главное в другом — к 1979-му году еврейское движение за выезд из СССР достигло уровня массового движения. Если учесть, что около 300 тысяч человек покинуло СССР и еще около 300 тысяч запросили вызовы, то мы приходим к беспрецедентно массовому движению евреев прочь из СССР. 600 тысяч человек тронулись с места. Не забудьте — всегда существует соответствие между возможностью выехать и числом желающих выехать. Чем легче выехать, тем больше число желающих. Поэтому вся наша игра с цифрами не имеет серьезного значения. Безусловно одно: утверждение, будто в СССР нет больше евреев, желающих уехать, — ложь. Я предлагаю провести свободный опрос. Или еще лучше: эксперимент. Пусть Советы откроют ворота для тех, кто еще хочет выехать. И если даже их сегодня, как утверждает Громько, одиночки, то завтра вы получите десятки и сотни тысяч. И в то же время я уверен, что как бы много евреев ни уехало из СССР, всегда найдутся такие, которые останутся...

— *То, что вы описываете, — это чисто “механическое” движение людей к открытым воротам. Но сейчас ворота-то как раз закрыты, и вопрос в том, как их снова открыть. Многие утверждают, что сделать это может*

только сознательное, идеологическое движение активистов, поддержанное массами. Вы говорите о "еврейском движении". Что вы имеете в виду? Людей, которые борются за то, чтобы ворота снова открылись, или всех тех, кто снова выжидает пассивно, пока они откроются?

— В любом движении есть авангард. Есть он и в еврейском движении. Есть активисты, преданные определенной идеологии, определенной идее, люди, для которых идея и активность, слово и дело неотделимы. Но за ними стоят многие тысячи, объединенные вокруг кружков, семинаров и так далее, — люди, которые действительно опасаются идти на слишком большой риск. А за этим кругом есть следующий, связанный с ним различными связями, а за ними — еще десятки тысяч, вообще стоящих в стороне, не входящих в эти круги, но знающих две вещи совершенно четко: что они евреи (это им постоянно напоминает система) и что они не являются частью системы. Даже если они преуспевают в ней, они понимают, что не являются ее частью. В начале 70-х годов Советы, возможно, действительно опасались еврейского взрыва и решили спустить пар. Я думаю, они просто не сумели правильно оценить ситуацию. Люди, по выражению Ленина, проголосовали ногами. Оказалось, что вовсе не нужно быть высоко идеологизированным евреем, чтобы обсудить с женой на кухне вариант отъезда, попросить вызов и пойти в ОВИР. А пойдя в ОВИР, такой еврей становился частью "движения". Скажем четко: несмотря на отсутствие всякой организационной структуры, простое стремление простых евреев прочь из России превратилось в мощнейшее эмиграционное движение в советской истории, превратилось в движение целой нации, то есть, в конечном счете, в массовое национальное движение. И состав этого движения остался и сегодня точно таким же. Есть авангард идеологически ангажированных активистов, есть религиозные круги, есть — хотя и ослабевшая — группа интеллектуалов, и есть массы, которые ждут первой возможности. Эта возможность может появиться сегодня, может появиться завтра, может вообще не появиться за время их жизни. И это определяет цифры потенциальной эмиграции. Если вы спросите советского чиновника, сколько евреев хотят покинуть СССР, он ответит, что таких нет. Если вы спросите об этом западного еврея, он либо скажет: "Все", либо назовет какую-нибудь осторожную цифру. Если вы спросите меня, то у меня нет ни малейшего сомнения в том, что если ворота откроются, мы снова окажемся свидетелями массового еврейского движения за выезд из СССР.

— Если это просто выжидание возможности, то она действительно может и не наступить, — так утверждают некоторые из старых активистов, которые участвовали в первом "прорыве" железного занавеса.

— Скажу откровенно — я не хотел бы давать советы евреям в СССР, как им себя вести. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они оставались активными, чтобы искали свои пути к еврейству, будь то пути религиозные, секулярные или комбинация обоих, мне бы хотелось, чтобы они искали свои пути к еврейской культуре, что бы под этим ни понималось, но самое важное для меня, чтобы они помнили, что они — евреи, и демонстрировали это. Конечно, как израильтянин, я хотел бы, чтобы все они приехали в Израиль, и я думаю, что чем более они будут сознавать себя евреями, тем

естественней будет для них такое решение. Но это не так просто, и тут мы подходим к трудному вопросу о нешире.

Я хочу, чтобы все советские евреи репатриировались в Израиль. И я убежден, что нешира — это реальная проблема. Это проблема для советских властей, я в этом не сомневаюсь, поскольку эмиграция евреев на Запад породила зависть других советских наций, и одновременно это наша, еврейская проблема. Это даже не одна проблема, это комбинация многих проблем. Прежде всего — проблема свободного выбора, существенная для свободного мира. Это, далее, ставит множество вопросов философского, исторического и даже чисто политического характера перед израильтянами и евреями диаспоры, это осложняет отношения между ними. И наконец здесь есть проблема отношений со странами свободного мира, предоставляющими советским евреям, которые выезжают с израильскими визами, статус политических беженцев.

Каково может быть решение проблемы неширы? Я думаю, оно состоит в признании, что это — внутренняя еврейская проблема...

— *“Семейное дело”?*

— Да, прежде всего, “семейное дело”. И мы должны решить это внутри “семьи”. У меня нет никакого готового плана, но сейчас, пока нет большой алии, мы должны заняться этой проблемой и решить ее. Потому что мы должны быть готовы к тому, что ворота могут открыться в любую минуту.

— *Вы полагаете, что нешира могла сыграть важную роль в закрытии этих ворот? Не могло ли быть так, что Советы намеренно держали их открытыми целых десять лет, надеясь таким образом избавиться от своих евреев и еврейского вопроса? И только увидев, что большинство попрежнему продолжает выжидать, а открытые ворота начинают соблазнять других, решили их закрыть?*

— Меня поражает количество евреев, решивших уехать, а не количество решивших остаться или ждать. Не забудьте — речь идет о сравнительно коротком промежутке времени. Думаю, дело обстояло иначе. Поначалу Советы полагали, что это будет движение ничтожного меньшинства. Но где-то в 1974-75-м годах они поняли, что речь идет о широчайшем, массовом движении, в которое втягиваются все более и более широкие круги простых евреев, и тогда они задумались. Если в одном только 1978-м году выехало 50 тысяч евреев, сколько же потенциальных эмигрантов стоит за ними? Сколько сотен тысяч? Я думаю, главное, что заставило Советы изменить стратегию, — это постепенно наступившее сознание того, что они породили массовое движение целого народа. Именно это заставило их закрыть ворота. Нешира была лишь одной из причин...

— *Не предложом, а причиной?*

— Да, она была также и причиной. Но не главной и не единственной. Поэтому не следует думать, что, решив проблему неширы, мы тем самым обеспечим повторное открытие ворот. Ворота закрылись по многим причинам. Повторяю, прежде всего власти поняли, что имеют дело с массовым движением, которое они уже не могут контролировать — стоит открыть ворота, оно нарастает как снежный ком. Затем нешира придала этому движению заразительность для других, у кого тоже были родственники в Штатах или в Канаде, как, например, у украинцев, или в ФРГ, как у немцев.

Еще одной причиной было, видимо, то, что Советы не получили за евреев ту плату от Запада, на которую рассчитывали. И наконец, перед ними встала проблема, которая должна была неизбежно возникнуть, когда открываешь ворота, — проблема контактов с Западом, которые оказывают большое влияние на систему. Пример Польши показал, насколько опасна для коммунистической системы любая демократизация. В конце концов, все имеют свои иллюзии — вероятно, Советы тоже не думали поначалу, что после стольких лет их власти, уже во втором, даже в третьем поколении "советских людей" найдется столько желающих покинуть СССР.

— Вы охарактеризовали свое понимание ситуации и наших задач. Скажите, считаете ли вы, что Израиль делает достаточно для решения этих задач?

— В таком деле никогда не бывает "достаточно". Я не понимаю этого слова. Если остается хотя бы один узник Сиона, хотя бы один отказник, хотя бы один активист, подвергающийся преследованиям, — значит, того, что мы делаем, не достаточно. Я в этом убежден. Если же вы имеете в виду, что правительство, или "эстаблишмент", или соответствующие организации не хотят действовать, то это абсолютно неверно. Истина, как всегда, посередине. Я думаю, Израиль сделал очень много, но еще больше нужно сделать, и я думаю, что все наши усилия всегда будут "недостаточными", пока в СССР остается хотя бы один еврей, который не может выехать. Но если вы спрашиваете, что именно должно быть сделано, что именно может открыть ворота, — наши усилия извне или усилия самих советских евреев изнутри, — то я не думаю, что выбор стоит таким образом. Это должно быть сочетание того и другого. Я не вижу более конкретных планов и готов пригласить каждого, у кого такой план есть, выступить с ним перед нашим Общественным советом. Многие советские евреи возлагают свои надежды на возобновление детанта. Я думаю, что рано или поздно детант действительно возобновится, хотя, конечно, и не в прежней форме, и мы должны быть готовы приложить все наши усилия в этот момент. Но может оказаться, что это не поможет, — что еврейский вопрос не покажется столь жизненно важным для Соединенных Штатов. Поэтому я вижу два возможных сценария: детант без возобновления эмиграции, равно как и возобновление эмиграции без возобновления детанта — например, в результате какого-то изменения ближневосточной ситуации или отношений между Израилем и СССР... И мы должны быть готовы и к такому развитию событий и действовать в этом направлении тоже.

Эйтан Финкельштейн

МОСТ, КОТОРЫЙ РУХНУЛ...

— Вы самый недавний репатриант из активистов алии: ваш стаж в Израиле — всего 10 месяцев. В то же время вы — один из самых давних отказников: ваш стаж в отказе и борьбе за алию составляет 14 лет. За эти годы вы наверняка хорошо узнали настроения и желания советского еврейства. Тем более интересно было бы услышать ваше мнение об этом, вашу оценку ны-

нешней ситуации евреев в СССР. Одни участники нашей дискуссии утверждают, что эта ситуация предельно тревожна, что евреям СССР угрожает депортация и их нужно немедленно спасать, причем главным орудием такого спасения видят Израиль. Другие полагают, что ситуация опасна для активистов и отказников, но не так угрожающа для основной массы советских евреев; они говорят не о "спасении", а об "открытии ворот", после чего, по их мнению, сам собой начнется лавинообразный процесс выезда, как в начале 70-х гг. Какую позицию в этом вопросе занимаете вы?

— Мне трудно ответить в двух словах. Ведь это не простой вопрос — здесь целая совокупность проблем, каждую из которых нужно взвесить и проанализировать. Но если вы настаиваете на ответе... Что ж, попробую. Я думаю, что главная ошибка тех дискуссионтов, о которых вы мне рассказали, состоит в том, что они игнорируют, обходят стороной главное — мнение самого советского еврейства. Априорно принимается, что чуть ли не все советские евреи стремятся уехать из СССР. Получается, что все разговоры — и уже в течение многих лет — идут вокруг людей, мнение которых никто, в сущности, не спрашивал.

Следовало бы, по меньшей мере, разобраться в том, что представляет собой основная масса советского еврейства, "рядовой" советский еврей. Не та особая группа, которую составляют отказники и активисты, не локальные группы, вроде грузинских или бухарских евреев (которые, к тому же, в массе покинули СССР), а средний советский еврей как тип. Основная масса советского еврейства сегодня — это евреи России, Украины, Белоруссии. Среди них преобладают обычные, "средние" люди, в значительной мере — обыватели, которые, как и все люди, живут заботами сегодняшнего дня, которых волнуют обычные житейские проблемы: как заработать на жизнь, получить квартиру, устроиться самим и устроить своих детей и тому подобное. Они в равной мере далеки как от стремления во что бы то ни стало ассимилироваться, так и от стремления во что бы то ни стало эмигрировать. Они, в основном, плывут по течению. Направление их действий зависит от того, какая точка зрения возобладает.

Это основная масса. Что касается значительно меньшей, активной группы, то ее я бы разделил на три части. Одна — это сторонники ассимиляции, те, кто активно стремится к ассимиляции и видит в ней единственное решение еврейской проблемы. Сюда относятся, прежде всего, те евреи, которые так или иначе приобщились к "верхам", стремятся сделать карьеру, а также многие из тех, кто настрадался от антисемитизма и просто бежит от еврейства, очертя голову. Но ассимиляторство — явление более или менее старое, и особенно распространяться о нем не стоит, пожалуй.

Другая часть — это наиболее известная и понятная нам группа людей: те, кто видит решение всех проблем в эмиграции. Что же касается третьей части активной группы, то прежде чем говорить о ней, я бы хотел подчеркнуть то новое, что сегодня характеризует основную массу "средних" советских евреев.

Это новое, обозначившееся за последние годы, состоит в том, что **идея эмиграции как способа решения своих проблем для этой массы сошла с повестки дня.** Среднему советскому еврею, жителю Москвы, Киева, Горького сегодня ясно, что эмиграция тоже не выход из положения. И прежде всего

потому, что сегодня стали видны результаты этой эмиграции. Стали очевидны те сложные и тяжелые проблемы, которые встают перед эмигрантами. Сложилось понимание, что эмиграция чрезвычайно сложный и тяжелый путь, а для многих уехавших она обернулась трагедией. Такое отношение в первую очередь распространилось на Израиль. Предубеждение против эмиграции в Израиль начало складываться у многих уже в середине 70-х годов, когда сама эмиграция еще шла полным ходом. Именно это предубеждение и было подспудным мотивом неширы, из него она зародилась.

— *Но почему возникло такое предубеждение? И именно тогда?*

— Прежде всего и главным образом — из-за йериды. Примерно в 1973—74 годах в Советский Союз пошел массовый поток писем, в которых выражалось разочарование, неудовлетворенность. Тогда же началась значительная реэмиграция советских евреев — уже из Израиля. Ну, а кто же станет переселяться в дом, жильцы которого разбегаются?!

— *Странно... Реэмиграция, о которой вы говорите, не так уж значительна. Если сравнивать, например, с группами репатриантов с Запада или даже с уроженцами Израиля, то по количеству уехавших из Израиля русская алия стоит на последнем месте, она дала наименьший процент реэмиграции. Покинули Израиль — особенно в те годы, о которых вы говорите, — преимущественно разочарованные идеалисты, бывшие “пламенные сионисты”, которые обнаружили, что реальный Израиль не вполне совпадает с тем образом, который они построили в своем воображении. Я-то думал, что вы будете говорить о трудностях приема репатриантов, трудового и житейского устройства и тому подобном...*

— Видите ли, эти проценты еще ничего не означают. Действительно, израильтяне довольно легко эмигрируют: известно, что полмиллиона их покинуло Израиль и что, скажем, в Лос-Анджелесе израильтян больше, чем в Реховоте или Ришон-ле-Ционе. Но для советского еврея, среднего советского еврея, жителя какого-то города, не так уж важно, что в Лос-Анджелесе израильтян больше, чем в Реховоте, — ему куда важнее, что многие репатрианты из его города, его знакомые, близкие, родственники уже реэмигрировали из Израиля, а другие хотят уехать и ему об этом пишут. Это производит на него тяжелейшее впечатление. Ему сравнительно безразлично, что евреи, приехавшие в Израиль из США, снова уезжают в Штаты, — он об этом подчас просто и не знает. Но вот когда его брат, проживший пять лет в Израиле, уезжает в Америку или когда его мать, прожившая здесь 8—10 лет, буквально умоляет его ехать не в Израиль, а в Америку, — это заставляет его серьезно задуматься.

— *Советская пропаганда тоже сыграла в этом какую-то роль?*

— Знаете, я бы сказал, что она-то скорее сыграла положительную роль. Чем более черным она изображает Израиль, тем больше она вызывает симпатий к нему. Ведь у советского еврея, как у любого советского человека, существует стойкая идиосинкразия к советской пропаганде: если она утверждает, что черное — черное, то читатель немедленно заключает, что оно — белое.

— *А какую роль в представлениях об Израиле сыграла израильская пропаганда — скажем, журнал “Израиль сегодня”, русские передачи радио “Кол Израэль”?*

— Израильская пропаганда, увы, производит самое отрицательное впечат-

ление на советское еврейство. Передачи радио “Кол Израэль” на русском языке ведутся на таком низком профессиональном уровне, что даже не поддаются критике. Многие в СССР именуют их не иначе, как “сладкие сопли”. То же касается некоторых русскоязычных журналов и газет, изображавших Израиль исключительно в розовых тонах. Так что в целом, к сожалению, израильская пропаганда имела крайне отрицательные последствия. Тот еврей, которому доводилось ее читать или слушать, немедленно ощущал, что перед ним — “агитка”, что его почему-то хотят в Израиль “заманить”. Он не всегда понимает, почему, но отчетливо сознает, что перед ним — целенаправленная пропаганда, к тому же очень похожая на советскую, только с обратным знаком. И это тоже работало на создание предубеждения против Израйля.

Когда я говорю о “предубеждении”, я не хочу этим сказать, что изменилось отношение к Израилю как государству. Подавляющее большинство советских евреев относится к Израилю как государству с большой симпатией. Война в Ливане вызвала заметный подъем этих чувств. Многие были недовольны тем, что она развивалась слишком медленно, не была доведена до конца и так далее — короче, “переживали”. Но если говорить об Израиле как о направлении эмиграции, то этот вопрос, по-моему, на сегодняшний день решен основной массой советских евреев отрицательно. Сложилось глубокое и стойкое предубеждение против эмиграции в Израиль. Считается, что эмигрировать в Израиль может только тот, кому уж совершенно нечего “продать” на свободном рынке, такой абсолютный неудачник или сумасшедший идеалист.

— *Я хотел бы все-таки уточнить. Израиль как государство, как еврейское государство по-прежнему пользуется симпатиями советских евреев. Что же тогда отталкивает их от Израйля как цели эмиграции, что конкретно? Уровень жизни? Недостатки абсорбции? Трудности?*

— В Советском Союзе нет конкретной информации. В этом отношении он не изменился за годы вашего пребывания здесь. Любой советский человек ориентируется скорее на некую совокупность представлений, составляющих (или заменяющих) “общественное мнение”. Мнение об Израиле сложилось, конечно, из писем, рассказывавших об очень тяжелой абсорбции, о трудностях и так далее. Но главное — это уже мое мнение — состояло, видимо, в том, что советские евреи “не нашли себя” в Израиле. Они не смогли себя выразить, не смогли создать какого-то общественного центра, который был бы притягателен для остального советского еврейства. И сегодня рядовой советский еврей понимает, что Израиль — в смысле эмиграции — это такая же страна, как все прочие, что здесь ему придется быть таким же эмигрантом, как в любой другой стране, со всеми теми же трудностями и проблемами. Но вдобавок это еще страна маленькая, бедная, тяжелая. Так что если уж быть эмигрантом, то лучше им быть в большой, богатой и легкой стране.

— *Стало быть, сегодняшний советский еврей имеет некую совокупную — и, к сожалению, отрицательную — картину, образ Израйля?*

— Да, у него есть эта совокупная картина. Она не детализирована, он не знает многих подробностей, но по той информации, которую он за эти годы получил, он выработал общее отношение. И повторяю, единственная информация, которой он доверяет, — это не советская и не израильская пропаганда, а информация от родных, близких, друзей. Вы не можете не поверить

своей матери, брату, близкому другу — тем более, что у вас самого других источников суждения нет.

— Но есть ведь и другой фактор, действующий, как я себе представляю, в сторону выталкивания рядового еврея из СССР — антисемитская пропаганда, прямые недвусмысленные угрозы. Есть, наконец, и просто тяжести советской жизни, о которых так много пишут в последние годы...

— Это совсем другой вопрос. Если говорить о какой-то "привязанности" к Советскому Союзу, то, конечно, у среднего советского еврея, у самых широких слоев советского еврейства нет никакой глубокой привязанности ни к советскому государству, ни к советскому строю. В этом смысле основная масса готова покинуть СССР. Она довольно хорошо понимает, к чему может привести нынешняя оголтелая антисемитская пропаганда, и в этом смысле опасения некоторых участников дискуссии не лишены оснований. Иное дело, насколько вероятно, скажем, массовая депортация, но полностью исключить этого нельзя: в истории СССР были периоды массового уничтожения людей и депортация целых народов. Конечно, в рамках хрущевско-брежневско-андроповской эры ни депортация, ни уничтожение не представлялись вероятными, но нельзя забывать, что сегодня СССР находится в состоянии глубокого и всестороннего кризиса и как он выйдет из этого кризиса, предсказать невозможно. Поэтому советские евреи питают определенные опасения.

Но и этот аспект нашего анализа ситуации, по-моему, страдает тем же недостатком, о котором я уже говорил: он априорен. Он исходит из предвзятого убеждения, что поскольку советским евреям "плохо", то они "должны хотеть" эмигрировать. Я решительно не согласен с таким подходом. Он опять-таки не учитывает действительных настроений основной массы советского еврейства, а ориентируется почти исключительно на узкую группу отказников и активистов, на их настроения и желания.

Я убежден, что самым благоприятным развитием событий широким массам советского еврейства представляется и не эмиграция, и не ассимиляция, а демократизация советского общества, улучшение политического климата, улучшение экономического положения и, как следствие, появление возможности хоть какой-то еврейской жизни, восстановление каких-то еврейских институций, еврейской культуры.

— Это и есть та "третья группа", о которой вы хотели сказать?

— Да, именно это и есть программа той третьей части активной группы, о которой я упомянул.

— Все же непонятно... Вы говорите, что средний советский еврей не питает привязанности к советской жизни, ощущает опасения за свое будущее, — и одновременно утверждает, что уезжать он из СССР не хочет.

— Видите ли, он к этой жизни привык. Он даже к антисемитизму привык — он с ним родился, он с ним свыкся, он научился его обходить. Конечно, он ощущает ненормальность своей жизни, своего положения. И безусловно хочет перемен. Но если говорить о его предпочтениях, то у меня сложилось такое мнение, что он больше хотел бы перемен к лучшему внутри СССР. Эмиграция его сегодня пугает.

— Из ваших слов вырисовывается такая картина. Рядовой советский еврей сознает неустойчивость своего положения как индивидуума, сознает

неустойчивость положения своей группы. И перед ним — несколько вариантов выбора. Один предлагают ему ассимиляторы, но этот выбор реально несущественным для основной массы...

— Я даже не думаю, что он для нее желателен...

— *Второй путь предлагают ему активисты борьбы за алию. Но этот выбор — репатриация в Израиль — по вашему утверждению, его пугает. Вы заявляете, что втайне большинство советских евреев склонно ждать перемен внутри Союза. И добавляете, что какая-то часть даже склонна была бы принять участие в еврейской жизни, будь таковая восстановлена...*

— Я полагаю, что вполне значительная часть. По моим наблюдениям, очень многие советские евреи были бы не прочь два-три раза в год сходить в синагогу, посетить еврейский театр или концерт и так далее. Короче, они хотели бы жить такой же жизнью, как, скажем, евреи Франции или Англии. Этот вариант представляется им идеальным. Но вот что касается выбора, то тут вы, мне кажется, не правы. Советские евреи ничего не выбирают. Они не выбирали и в 70-е годы, когда массой шли в эмиграцию. Они были в нее вовлечены.

Опять-таки, все начинается с того, что рядовой советский еврей недоволен своим положением и ищет выход. В какой-то момент ему показалось, что этот выход — в эмиграции. Но оказавшись в эмиграции, многие поняли, как это тяжело, и по их письмам оставшиеся рассудили, что игра не стоит свеч.

— *И в результате комбинированного воздействия всех перечисленных вами факторов произошла, так сказать, перемена предпочтений? Ожидание демократических преобразований в СССР стало предпочтительней эмиграции?*

— Я думаю, что у рядового советского еврея сегодня именно такое ощущение, что у него нет иного выбора. Я снова возвращаюсь к своему тезису: этот еврей плывет по течению. В свое время активисты алии, пробившие железный занавес, открыли ему новый выбор — эмиграцию, и какая-то часть этот выбор опробовала. Опыт этой части испугал оставшихся, и они этот вариант для себя отвергли. Если бы сегодня "власти" открыли перед ними другой путь, путь равноправия, восстановления еврейской культуры, и этот путь показал бы им зримые выгоды, — основная масса, как мне кажется, пошла бы по этому пути.

— *Был и еще один "выбор" — Америка. Что же произошло с американской "опцией", как говорят в Израиле?*

— Я чувствую, что нужно еще раз вернуться к главному вопросу: чего хочет средний советский еврей? Кто он такой и чего он хочет? Он — русский еврей. И он хочет быть самим собой. Он не хочет быть ни русским, ни американцем, ни израильянином, ни австралийцем — **он хочет быть русским евреем**. Сознают они это или нет, понимают они это на индивидуальном или коллективном уровне или не понимают, — но они стремятся быть такими, какими были их отцы, русскими евреями. И в Израиль они стремились, — а я убежден, что поначалу все они искренне стремились именно в Израиль, — потому, что надеялись найти здесь тот русско-еврейский центр, в котором они бы чувствовали себя хорошо и нормально, как "дома". Неважно, что они проигрывают в материальном плане по сравнению с Америкой, Канадой и так далее, — зато они могут остаться самими собой. И вот этого они здесь не нашли. Это — главная причина провала нашего движения. Те наши активисты и лиде-

ры, которые репатриировались в Израиль, не сумели создать здесь такой центр. В этом я их и обвиняю.

— *Кого и в чем именно?*

— *Всю ту блестящую гвардию борцов за алию, которая прибыла в Израиль в 1969—77 годах. Это были люди, прошедшие тюрьмы и лагеря, побывавшие не раз в лапах КГБ. В конце концов, именно эти люди победили самую ужасную, самую могущественную силу в мире — советскую власть. А ведь это еще никому не удавалось...*

Но прибыв в Израиль, они оказались абсолютно беспомощны. Там, в СССР, мы все годы не переставали удивляться тому, с какой легкостью израильский эстаблишмент расправился с людьми, которые представлялись нам (и в действительности были) героями. Руками определенных людей и организаций этого эстаблишмента все лидеры алии были рассорены, вовлечены в межпартийные распри и, ничего не успев создать, ушли в небытие. Часть пошла в услужение партиям и правительственным инстанциям, часть полностью "отошла от дел" и просто уехала из страны, единицы функционируют и сегодня, но заняты "малыми делами". Впрочем, уточню — я обвинял этих людей, будучи там, в Союзе. Теперь, в Израиле, я не так уж уверен, было ли вообще что-то возможно...

— *Вы повторяете ту схему, с которой приезжают в Израиль чуть ли не все активисты алии, эту самую "детективную схему" событий: какие-то таинственные "организации" и "злоумышленники" целенаправленно рассорили всех друг с другом, сознательно разрушили единство лидеров алии и так далее. Остается, вроде бы, только найти, "кто преступник", кто "убил алию". Я хотел бы заметить, что только в СССР мы все казались себе (и частично были) единым лагерем. В Израиле быстро выяснилось, что у каждого — свое понимание сионизма, наших задач в Израиле и так далее, и это — то естественное развитие событий, которое привело к внутренним расколам. Я не собираюсь оправдывать бюрократов от сионизма из израильского эстаблишмента, но и с ними отношения были не так просты. Лидерам алии пришлось впервые вступить в политическую игру, правила которой они плохо знали. Тем не менее определенное единство действий все же было: почти все люди, о которых вы говорите, на первых порах были заняты тем, что им казалось тогда более важным, — попытками убедить эстаблишмент в необходимости открытого признания того, что сионистское движение в СССР существует и его нужно поддерживать всеми средствами.*

— Я знаю... Но они неправильно оценили "самое важное". Самым важным для продолжения алии было создание притягательного центра...

— *Я снова не могу не возразить. В Израиле были и попытки создания такого центра и даже многочисленные. Но опять же — каждая группа понимала эту задачу по-своему, в соответствии со своим пониманием сионизма в целом, ситуации русского еврейства и его места в Израиле в частности. Одни утверждали, что нужно создавать научные кибуцы, научные институты для русских евреев, другие предлагали почти утопические проекты чисто "русско-еврейского" города в Шомроне, третьи — как мы, например, — считали самым важным создать интересную, свободную, привлекательную культурную жизнь русского еврейства в Израиле, четвертые концентрировали си-*

лы на объединении и взаимопомощи земляков; были и попытки создания "русского списка" на выборах, целых две.

— Но практически ничего ведь из этого не вышло. Почти ничего. Значит, попытки оказались малоэффективными или слишком разрозненными. Важны ведь не намерения, а результат. А результат таков, что сегодня единственный привлекательный центр создало для себя одесское еврейство — в Америке, не в Израиле. Одесские евреи создали на Брайтон-бич вторую Одессу, и сегодня одесский еврей едет туда, как к себе домой! Может, он и мечтает стать американцем, может, он и мечтает о большой карьере, но он знает, что на худой конец он всегда будет в "своей Одессе". Я видел этих людей, я с ними ехал в поезде — они едут как к себе домой. А вот горьковский еврей едет — со страхом. И это понятно. Я еще раз повторяю: средний советский еврей в душе хотел бы ехать в родную, понятную, знакомую, "свою" среду. В Вильнюс — без литовцев, в Москву — без русских, в Киев — без украинцев, в Россию — без КГБ, антисемитизма и советской власти. Сегодня одесский еврей находит это на Брайтон-бич. А горьковский, вильнюсский, киевский, минский, кишиневский еврей уже четко понимает — и понимает правильно, — что Америка, чужая страна, это тяжелая страна, где нужна полная внутренняя перестройка, где требуются большие внутренние силы, и душевные, и физические. Но уж коли они стали на стезю эмиграции и у них нет обратного пути, они уже должны уехать, то они едут в Америку — едут с тяжелым сердцем, но именно в Америку, потому что в Израиле нет этой родной, близкой ему среды. А в Америке можно хотя бы заработать деньги...

Так что и Америка для многих перестала быть реальным "выбором". Повторю еще раз: русский еврей хочет оставаться русским евреем. И если бы это стало возможным в Советском Союзе, многие, наверно, сочли бы это наилучшим вариантом. Если бы это можно было осуществить в Израиле, они поехали бы в Израиль. Но сегодня они отчетливо понимают, что любые "эмиграционные пути" им не по плечу, что эмиграция — это не путь для простого, рядового человека.

— *Значит, ворота, по-вашему, не столько закрыты, сколько закрылись?*

— Знаете, я вообще думаю, что граница Советского Союза — это не ворота, а скорее некие двери на пружинах. Они никогда не были открыты. Это ошибка — думать, что они когда-либо были открыты. Они открыты всегда лишь в той мере, в какой на них давят. Если на них давят 50 тысяч, 100 тысяч, они открываются; если на них давят 5 тысяч, то они остаются закрытыми.

— *Но сейчас на них давят куда больше пяти тысяч отказников и активистов...*

— Все зависит от упругости пружины. Значит, этой силы недостаточно, чтобы отжать пружину.

— *Разве в 70-м году давление было больше?*

— Думаю, что да. По непроверенным цифрам, уже в 70-м году было 25 тысяч заявлений. Но главное, КГБ прекрасно знал, что круг желающих гораздо шире. Сегодня же положение наших отказников и активистов (которые, скажу в скобках, действительно находятся в опасности, которым безусловно нужно помогать и для которых, по моему убеждению, делается далеко не достаточно) напоминает положение диссидентов. Это узкая, ограниченная группа, с которой советские власти могут делать все, что хотят. Когда в 70-м

году власти попробовали запугать евреев ленинградскими процессами, то ответом были десятки тысяч заявлений о выезде. Сегодня на аресты и суды не отвечают десятками тысяч заявлений. В этом различие.

— *А если бы и сегодня был такой ответ, то можно было бы разжать пружину?*

— Безусловно. Я в этом убежден. Я вступил в борьбу на этом этапе, когда не было никакой внешней помощи. Я знаю, что эта помощь — вспомогательный фактор. Никто меня не убедит, будто это Америка “вытащила” советских евреев, — советские евреи вытащили себя сами. Конечно, с помощью Америки...

— *Из вашей оценки ситуации следуют, на мой взгляд, определенные выводы, определенные конструктивные идеи — и в той части, которая касается израильского общества, государства Израиль, и в той части, которая относится к нам, представителям советского еврейства в Израиле. Мне бы хотелось, чтобы вы эти выводы сформулировали.*

— Я думаю, что сформулировать их не так просто. Пришлось бы неизбежно затронуть очень серьезные проблемы, стоящие сегодня перед израильским обществом в целом — от экономического кризиса до кризиса сионистской идеологии включительно. Сказанное выше означает, в сущности, что одной из важнейших причин прекращения алии была жестко утилитарная установка Израиля. Израиль относился к алии, как к **своей** внутренней потребности. Я почти не встречал попыток поинтересоваться, **чего хотят сами репатрианты**. “Израилю нужно...” “Израиль хочет...” “Израилю не нужно...” “Израиль не хочет...” — такова обычная постановка вопроса. Вот и в вашем журнале все дискуссии на эту тему ведутся вокруг одного-единственного вопроса: вы пытаетесь доказать израильскому обществу и эстаблишменту, что русская алия — это “хорошо для Израиля”, поэтому — давайте сделаем так, чтобы советские евреи сюда приехали. Вы пытаетесь убедить, что Израилю от этого будет хорошо. Но никто не спрашивает, будет ли хорошо советскому еврейству. А уж израильтяне (а я с ними много сталкивался и сталкиваюсь сейчас) — те только и говорят: это для Израиля хорошо, это для Израиля плохо: плохо, когда советские евреи едут в Америку; хорошо, когда в Израиль приезжают электронщики; плохо, когда приезжают литературоведы...

Эта жесткая, однозначно утилитарная установка убеждает советских евреев в том, что они являются просто товаром. Израилю “нужны” люди — и вот Израиль их агитирует, Израиль их пытается завлечь. А у них это вызывает обратную реакцию.

— *А что касается нас самих, репатриантов из России? Вы полагаете, что мы должны объединиться вокруг попытки создать для своих братьев этакую “Тель-Авив-бич”?*

— Не стоит так иронизировать...

— *Это не ирония. Я вспомнил, что в ходе одной из дискуссий в нашем журнале кто-то из ее участников (кажется, Диамант) как раз упрекал лидеров алии (как и вы сейчас) в том, что они не попытались сделать то, что делали все предшествующие волны алии, — построить “свой” Израиль. Они, говорил Диамант, согласились втиснуться в щели уже существующей системы вместо того, чтобы “уйти в пустыню” и там строить свой, “русский Израиль”...*

— Да, я помню, я читал эту дискуссию еще в России...

— А смешным мне показалось, что именно из России пришли возмущенные отклики на выступление Даманта. Так чего же он хочет, в конце концов, этот ваш "простой советский еврей"?

— Я безусловно согласен с Дамантом. Не знаю, как там насчет "пустыни" — может, создать притягательный центр можно было и в Тель-Авиве, но создать его было необходимо. Мы же, повторяю, не сумели создать даже минимально необходимого — например, эффективной организации выходцев из СССР. Вот простое сравнение: в нашем центре абсорбции, в Раанане, я наблюдаю за деятельностью организации выходцев из Англии. Их мало, но как многого они добиваются! У них считается "чрезвычайным происшествием", если какая-нибудь журналистка-репатриантка не находит в Израиле работы по специальности и должна идти работать машинисткой. Это немыслимо, говорят они, она же оставила родину, лишилась дома, работы, нет, это невозможно! И добиваются того, что она работает журналисткой.

— Каков же итог ваших размышлений, вашего анализа?

— Я бы сформулировал этот итог следующим образом. Мы, русские сионисты (а я отношу себя к их числу), начиная свою борьбу за алию, видели ее как строительство своего рода "моста на двух опорах": одна — в Советском Союзе, другая — в Израиле...

— Москва—Иерусалим...

— Да. И вот — одну опору мы создали. Мы создали одну опору — в Советском Союзе. И нас никто не может упрекнуть в том, что мы свою задачу не выполнили! А ведь это было совсем не просто. Это стоило тюрьмы, и слез, и крови — это все знают. Но второй опоры — здесь в Израиле — не получилась. Она рухнула, не будучи еще достроенной. А с ней рухнул и мост...

Виктор Богуславский

ОНИ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ

(к спорам о причинах прекращения алии)

Они абсолютно не поняли, что произошло 13 лет тому назад, что происходит все эти 13 лет... И они абсолютно не понимают сегодня: почему же это кончилось?.. Почему им, "лицам еврейской национальности" (перевод на совбюрократический язык кондовой "жидовской морды"), тогда 13 лет тому, вдруг было дозволено, дозволялось 13 лет, а потом — снова — нельзя...

Я помню их тогда, эту постоянную смесь самодовольства и страха — постоянный фон их существования, отмеченного непрерывным предательством самих себя. Это было отвратительно. Недаром я предпочел тогда, в 70-м, их обществу — тюрьму.

Это был единственно возможный шаг, дабы отделить себя от них, и — как случилось, к счастью, — это был шаг на ВОЛЮ.

Ибо выход на ВОЛЮ советскому еврею — воспрещен. Он дозволен лишь АНТИсоветскому еврею.

Так это произошло в том далеком 70-м году: в течение нескольких месяцев. десятки, за ними сотни, а за ними тысячи "лиц еврейской националь-

ности" открыто, нагло и задорно заявили о своем выходе из системы советского всеподчинения. Это был неслыханной дерзости мятеж, терпеть коий система не могла — и сочла оптимальным избавиться от него, выбросив носителей мятежа за свои пределы.

Поймите: не "выпускали евреев", а — изгоняли мятежный дух*. И именно этот дух мятежа стал позднее предметом торговли с Америкой (это было очередным опровержением пресловутой формулы о том, что якобы "спрос вызывает предложение". Все было — как и в большинстве случаев — наоборот: предложенный товар /в о с с т а в ш и й е в р е й с к и й д у х/ нашел восторженных покупателей /американских евреев/).

Ни Америку, ни евреев Америки сами по себе евреи из Союза не интересуют. Товаром стал именно дух еврейского мятежа. Евреи Америки (а с ними и евреи Лондона, Амстердама, Парижа и т.д.), чьи еврейские чувства были растревожены шестидневным триумфом, в восстании еврейского духа в России увидели шанс на участие. Они с восторгом стали "бороться" за советских евреев. Это комфортабельная "борьба" — демонстрации, конференции, рауты и коктейли — приятно щекотала их национальные чувства, позволяя — без особых при том усилий — ощущать свою причастность к строительству Израиля, к сионизму.

При всем этом следует отдать должное: еврейские сходки, поток писем, посылок и сертификатных переводов, высокая загруженность телефонных и телеграфных линий явились для Союза — как для восставших, так и для властей — своего рода мандатом международного признания, что высоко подняло акции восстания, сделав его со временем и в глазах американского конгресса объектом, достойным торгов в переговорах.

Для трехмиллионной массы евреев Союза тогда ведь открылась возможность Исхода... — а масса ничего не поняла. Узрев возможность выезда, они вообразили, будто изменилась система. Оперативную реакцию организма (системы), выталкивающего инородное тело, они — с присущим галуту слабоумным историческим оптимизмом — приняли за мутацию. Они вообразили, что в Союзе появилась свобода выезда. Этого не было никогда. Власти Союза — можно допустить — были готовы на кратковременную операцию Исхода (даже массового), но никогда бы не согласились на свободу выезда**. Они — власти — опасались накала страстей, но страсти-то пошли на убыль. Евреи, убедив себя, что торопиться с выездом не стоит, стали торопливо собирать в стране исхода "серебряные сосуды" — дипломы, ученые степени и прочее барахло. А это в стране исхода, как известно, неотъемлемо от демонстрации лояльности. Но если ты такой "свой", то куда же тебя пускать, милый? Куда? В эпоху "бури и натиска",

* 1967—70 гг. были вообще годами повышенной мятежной активности: арабы поднялись на джихад, европейские студенты взбунтовались во имя... (скорее всего, сами не помнят), чехи восстали за человеческое лицо. То ли космическая радиация, то ли солнечная активность, но есть в истории такие эпохи повышенной мятежности.

** Наглядное доказательство — так наз. "немотивированные отказы". С точки зрения властей они были вполне мотивированными: не вы будете решать, ехать или не ехать, а мы — выпускать или нет. Это и есть "мотив".

в эпоху Восстания и Исхода такого вопроса просто не существовало — не было альтернативы. Еврей, восставший, отделивший себя от системы, ощутивший себя с в о б о д н ы м, видел свою свободу только в Израиле.

Когда спустя 3—4 года после начала Исхода напор потока стал ослабевать и появились первые робкие ручейки отпадающих (“ношрим”) от Исхода в эмиграцию, то те, первые “ношрим” — пожалуй, все без исключения, — ощущали, пусть не слишком осознанную, вину за этот отпад от Исхода, ощущали вторичность, иждивенчество своей возможности эмиграции. Однако с укореением дурацкого представления о “свободном выезде” эмиграция стала выглядеть естественной и полноправной. Не понимали высокоинтеллигентные придурки, обсуждавшие сравнительные достоинства Принстонов и Массачусетсов, что их “свобода выезда” есть лишь инерция тяжелой скрипучей системы. Инерция эта медленно сходила на нет при маразматировавшем Брежневеве. Сменивший его Андропов, обладая подробнейшей оперативной информацией с мест, без всяких колебаний просто прикрыл выезд.

И ничего... и ничего не случилось. Гром не грянул, тверди не разверзлись, и потоки всемирного гнева не затопили Юру Андропова. Умер в своей постели.

Советские “лица еврейской национальности”, возомнившие себя о б ъ е к т а м и американской политики, советской торговли, всееврейской заботы и т.п., обнаружили, что они есть лишь то, что они есть и были — о б ъ е к т ы советской действительности. Восставшие и обретшие право Исхода были с у б ъ е к т а м и и, как таковые, с советской действительностью были несовместимы, они пробили дыру в железном корпусе российской системы, обрета ореол с у б ъ е к т о в и с т о р и и. И должно быть, как таковые, они обрели себя в с у б ъ е к т е и с т о р и и — в И з р а и л е.

Объекты же — объекты истории, объекты советской действительности — так и остались объектами, так и остались в этой действительности. Замкну- ты. Жалко.

Бесконечно жаль и больно за тех, кто поднялся на борьбу 10—15 лет назад и остался по воле властей — в отказах, ссылках и тюрьмах России. Судьбы Федорова и Мурженко, Слепака и Иды Нудель, Престина и Бегуна, Браиловского и Щаранского и десятков (быть может, сотен) тех, кто остался отрезанным, отрубленным от потока сподвижников Исхода, — судьбы этих людей, каждый из которых был символом нашего Восстания, дороги нам.

Тех же, кто до последней секунды взвешивал: стоит — не стоит, сейчас — не сейчас, туда — или сюда — и вдруг оказался перед захлопнувшейся дверью, — их лишь просто жалко. При этом их попытки “разжалобить” мир вызывают, скорее, тоску. Александр Воронель (“22”, №31) очень деликатно намекнул, что в сегодняшнем мире, где есть кошмары Камбоджи и Биафры, полудушевные страдания полурусских полуинтеллигентов не имеют шансов на сенсацию. (Я полагаю, что даже внутри Союза есть масса населения, чье положение объективно много хуже.)

Эти российские евреи оказались недостойны своего часа.

ОН НИЧЕГО НЕ ПОМНИТ

Читая статью В. Богуславского *Они ничего не поняли*, я с печальным удовлетворением видел, как выпущенные им стрелы, одна за другой, ложатся в цель, и цель эта — я: один из ничего не понявших, один из “недостойных своего часа”. Шесть лет колебаний, четыре года в отказе; в период сомнений — ученая степень, так остроумно поставленная В. Богуславским в один ряд с серебряными сосудами страны исхода; “смесь страха и самодовольства” — что ж? было и это. Но вот мне, вопреки моим слабостям, посчастливилось, и я здесь, а они, *все еще недостойные* (их, говорят, сто сорок тысяч), — там: с серебряными сосудами и без, с надеждой и — чаще — в безнадежности. Я увидел лица моих друзей, такие разные и такие теперь далекие, и понял первую неправду В. Богуславского: сказать, что хорошие уехали, а плохие остались — значит, солгать. Вряд ли это добросовестно и справедливо — выстраивать всех “недостойных своего часа” в одни и те же социалистические шеренги. Выбранный В. Богуславским способ обобщения — ложный, ничего не говорящий. Объяснить прекращение выезда естественным отбором, качественным перерождением ходатайствующих — ход чисто спекулятивный.

В. Богуславский прав, отличая умонастроения сегодняшних отказников от умонастроений репатриантов конца 1960-х — начала 1970-х годов. Естественный отбор, *наряду с искусственным*, сыграл в этих переменах известную роль; в гораздо большей мере сказались зигзаги политики; но главным фактором явилась просто смена поколений. Не кучке обывателей, отсеянных корыстью и страхом, а новому поколению репатриантов В. Богуславский говорит: богатыри — не вы. В противопоставлении поколений черпает он весь свой пафос. Между тем тут нечем особенно воодушевляться: и коллизия эта (отцы и дети) стара как мир, и разрешение ее предлагается В. Богуславским филистерское: огульное отрицание оппонентов. В. Богуславский не помнит, что каждое поколение является носителем своей истины, лишь частично открывающейся другим; он упрямо твердит: да, были люди в наше время, не видя, что угодил в извечную и незамысловатую психологическую западню, подстроенную ностальгией по миновавшей юности.

Было бы нетрудно показать, что оставшиеся и ожидающие — не просто отличны от репатриантов поколения В. Богуславского, не просто — даже и в своей общности — очень различны между собой, но и не лишены некоторых человеческих достоинств — во всяком случае, некоторые из них. Мне, однако, хочется в первую очередь возразить критике не по существу, а по форме его оценки. Мне кажется неоправданной его нетерпимость, ложным — его пафос.

Разделение на *наших* и *ваших* произошло, по В. Богуславскому, уже в памятном 1970-м. О первых он говорит высоким штилем: “неслыханной дерзости мятеж”, “сподвижники Исхода”, “наше Восстание”, “эпоха Восстания и Исхода”; о вторых иначе: “Я помню их тогда, эту постоянную

смесь самодовольства и страха — постоянный фон их существования, отмеченного непрерывным предательством самих себя. Это было отвратительно. Недаром я предпочел тогда, в 70-м, их обществу — тюрьму...” Все кажется мне здесь фальшью: и обилие прописных в первом словесном ряду, и намеренная расплывчатость характеристик — во втором. Невозможно поверить в искренность тюремной декларации В. Богуславского (не говоря уже о том, что сионист, предпочитающий плохим евреям хороших вертухаев и зэка, — курьез, уничтожающий доверие к писателю). Посмотрим теперь, что может означать “предательство самих себя”. Критик не раскрывает нам этой своей формулы, и остается предположить, что речь здесь идет о рефлексии, сомнениях, компромиссах — словом, обо все том комплексе переживаний, который характеризует *реакцию*, столь *отвратительную* героической, революционной натуре. Ибо В. Богуславский — герой и революционер: стиль и тон выдают его здесь не меньше, чем строй мысли; нтерпимость к ближнему изобличает его точно так же, как верхоглядство, склонность к обобщениям и авангардистская самоуверенность. Можно поручиться, что у него была комсомольская юность, что в сионизме он внезапно увидел новое единственно правильное учение — и тут же развернулся бейдевинд к *старому*; что психологическая подоплека его суровости — максимализм новообращенного. Спору нет, нужно менять свои убеждения, даже — как отмечено одним большим авторитетом — стыдно не менять их; вообще стыдно не меняться, идет ли речь о человеке или обществе. Но с точки зрения *реакционера* (каковым я себя называю), стыдно также меняться слишком быстро, поворачиваться спиной к самому себе. Скачкообразные перемены суть свидетельства длительного нравственного застоя; наоборот, постоянная работа мысли и нравственного чувства избавляет нас от опустошительных революций и самоотрицаний (и, попутно, реабилитирует *интеллигентские сомнения*, столь отвратительные В. Богуславскому). Рефлексия и колебания плодотворны, они требуют не меньшего мужества, чем социальная хирургия, и от них еще очень далеко до *предательства*. (Кстати, само слово это — тоже из арсенала прозелитов, этих непременных пророков, навязчивых и агрессивных.) Публицистический запал В. Богуславского мог бы найти для себя и лучшую мишень. Человек, одаренный общественным темпераментом, мог бы, мне кажется, направить его на нечто позитивное и конструктивное — вместо обличения обездоленных и отмежевания от них.

Отвратительны В. Богуславскому и евреи Америки и Европы, — “чи национальные чувства были растревожены шестидневным триумфом”. В них В. Богуславский презирает буржуазность: “Они с восторгом стали бороться за советских евреев. Эта комфортабельная “борьба” — демонстрации, конференции, рауты, коктейли — приятно щекотала их национальные чувства, позволяя — без особых притом усилий — ощущать свою причастность к строительству Израиля, к сионизму...” — Здесь позволительно спросить: какие требования предъявляет В. Богуславский к человеку, к еврею? Смешно ведь вменять каждому быть героем, сознательным строителем коммунизма или сионистом. Но вовсе не смешно, а низко, неблагодарно — высмеивать искренние и бескорыстные усилия добровольцев, не призванных быть героями, но делающих посильную и притом полезную работу. Труд американских евреев, “с присущим галуту слабоумным исто-

рическим оптимизмом” (В. Богуславский) не покладая рук работающих на нас, огромен; их вклад и в строительство Израиля, и в вызволение советских отказников невозможно переоценить. Стоит ли иронизировать над их “комфортабельной борьбой”? Ведь они все же пренебрегли своим материальным комфортом ради комфорта душевного. В конечном счете каждый вкладывает в общее дело то, чем обладает в избытке: один — мужество, другой — талант, третий — деньги; человеку естественно делиться с ближним излишками. И нельзя требовать от человека того, чего нет. Ведь, например, лидер сопротивления, проявивший незаурядное личное мужество в подполье и застенках, может оказаться малодушным писателем или бездарным благотворителем.

Ребяческой кажется мне и попытка В. Богуславского объяснить эмиграционную политику Кремля величественным восстанием еврейского духа, теперь поникшего. “Это был неслыханной дерзости мятеж, терпеть кой система не могла — и сочла оптимальным избавиться от него, выбросив носителей мятежа за свои пределы. — Поймите: не “выпускали евреев”, а — изгоняли мятежный дух”. Нет, кремлевские материалисты не занимаются изгнанием бесов. Крымские татары и поволжские немцы, венгры в 1956 и чехи в 1968 — внутренним единством превосходили евреев, не уступали им и уровнем мятежного духа, — но были без колебаний рассеяны и подавлены. Слова о “трехмиллионной массе евреев Союза”, вообразившей будто бы, что появилась свобода выезда, — более чем неточность: нельзя говорить о *массе* евреев в СССР как целостной общине, да еще обладающей единообразным представлением по какому бы то ни было вопросу. Нельзя сказать: “власти опасались накала страстей”; в этой стране, десятилетиями благополучно утверждающейся над пропастью во лжи, власть не опасается *ничего*. Удивительно, что приходится напоминать об этом человеку, жившему (и сидевшему) в России. Не знаю также, где отыскал В. Богуславский “высокоинтеллектуальных придурков” с их “дурацким представлением” о “свободе выезда”: в России я их не встречал.

Наконец с фатальной неизбежностью поднимается в статье В. Богуславского и вопрос о нешире. “...Еврей, восставший, отделивший себя от системы, ощутивший себя *свободным*, видел свою свободу только в Израиле.. Восставшие и обретшие право Исхода были *субъектами* и, как таковые, с советской действительностью были несовместимы, они пробили дыру в железном корпусе российской системы, обретя ореол *субъектов истории*...”. Итак, В. Богуславский говорит нам, что еврей, увидевший свою свободу в эмиграции, уехавший в Америку или Австралию, — не еврей; а весь тон его статьи, то неоправданно выпендренный, то беспричинно уничижительный, усиливает этот вывод: хуже, чем нееврей. Опять — та же нетерпимость и та же ложь. Я достаточно знал репатриантов первого призыва, — лишь незначительное меньшинство, ослепленное крайним национализмом, думало обрести полную свободу в Израиле. Многие из них давно уже не живут здесь: они эмигрировали вторично, на этот раз — из страны своих превеличенных националистических грез. Ибо свобода всегда относительна. Например, В. Богуславский, пусть и в ореоле субъекта истории, несвободен от завистливой злобы по отношению к своим соплеменникам, которых он, как сор, выметает за дверь национальной жизни. Он не обрел свободы

в Израиле, ибо свободный человек не бранится, не презирает. Уместно даже спросить: точно ли В. Богуславский — в Израиле? ведь наши предки, *сыны Израиля*, никогда не понимали под этим именем жителей Святой земли, а всегда — весь народ, рассеянный со дня разрушения Первого Храма. А наш критик отмежевывается от *большей части* своего народа, советской и американской. Чего стоит одно только местоимение *они*, вынесенное в заглавие!

Тем, кто осуждает сейчас русскую неширу (а это сделалось прямо-таки поветрием, общим местом израильской публицистики), следовало бы помнить о трех ее особенностях. Во-первых, советский человек — не человек вообще, а своеобразный продукт небывалой системы нравственного угнетения; подходить к нему с общечеловеческой меркой — недобросовестно. Во-вторых, советский еврей сегодня (в столицах и средней России, во всяком случае) — это, как правило, представитель третьего поколения ассимиляторов, выходец из семьи, где сознательно и систематически, из страха или во имя идеи, подавлялось все еврейское. Вообразите суммарный эффект этих двух факторов — и спросите себя, можно ли удивляться нешире? Можно ли осуждать американцев, предоставивших ношрим статус беженцев (не говоря уже о самих ношрим — этих “высокоинтеллектуальных придурках, обсуждавших сравнительные достоинства Принстонов и Массачусетсов”)? Все выехавшие из СССР — *беженцы*, ибо нет и не может быть *легального* выезда из страны, где нет *законов*. А тот, кому этот термин покажется чрезмерным, пусть вспомнит свою десятилетнюю дочь (или восьмидесятилетнюю мать), посаженную на таможенные в гинекологическое кресло. Кубинцам, бежавшим во Флориду на плотках и лодках, грозила ужасная смерть в пасти акулы; но и среди советских эмигрантов есть люди, более чувствительные к унижению, чем к страху. Наконец, третье. Можем ли мы забывать, что сегодняшние общины Америки, Южной Африки, Аргентины, Бразилии — общины, не только живо участвующие в судьбах Израиля, но и поставляющие стране *репатриантов*, — это потомки русских ношрим начала XX века? Но ведь этого же естественно ожидать и от детей и внуков сегодняшних ношрим. Уехав в Америку, русские выходцы с высокой степенью вероятности останутся евреями, в России же их во всяком случае ожидает национальное (в худшем случае — и физическое) уничтожение. Понимает ли это В. Богуславский, помнит ли об этом? Если беспричинная злоба застилает ему глаза, если устаревшие (и непонятные герою) человеческие чувства типа жалости и сострадания ничего не говорят его сердцу, то разговор можно вести в других терминах: евреям грозит растрата генофонда; пустые рассуждения о нешире (ставшие модными как раз тогда, когда выезд почти прекратился) не спасут и одного процента из “трехмиллионной массы евреев Союза”; они вредны, ибо советские фельетонисты черпают фразеологию из израильской прессы и прикрывают ею действия начальников, для которых нешира — лишь удобный повод, а никак не причина, прекращения выезда... А что скажут критики русской неширы в ответ на напоминание о многовековой традиции одновременной государственной и внегосударственной национальной жизни, существовавшей у евреев до 70-го года нашей эры?

В. Богуславский не понимает, что атмосфера в современной России предпогромная, не понимает вздорности своих славословий *тем* и проклятий *этим*, не видит двусмысленности своей позиции, — все это само по себе

еще не беда. Хуже, что он ничего не помнит. Ни национальной истории, ни даже истории своей жизни в России. Но память — это совесть; и человек (или народ), не помнящий своего прошлого, не стеснен в своих поступках и способен совершить страшные вещи.

Александр Воронель

КОГДА ОТКРОУТСЯ ВОРОТА?

Есть два рода деятельности, в которых все все понимают: искусство и политика. Для того, чтобы принять участие в обсуждении какого-нибудь вопроса в физике, недостаточно даже профессионального образования. Необходимо еще специально подготовиться, почитать литературу, подумать... Для того, чтобы критиковать чужие книги, картины и кинофильмы, достаточно только их знать. Но для того, чтобы критиковать политических противников, не нужно даже и этого. В отношении кино, допустим, есть еще некая опасность попасть не в тон и быть высмеянным. В политике же свобода обсуждения безгранична.

Зато она и бесполезна. Точно так, как обсуждая показанный вам фильм, вы никак не можете его улучшить, так и произвольно высказывая мысли по политическим вопросам, вы не сможете ничего изменить. Чтобы чего-то добиться в политике, вы должны вмешаться в само производство политических решений, в тот грандиозный беспорядок за сценой, в котором нет места зрителям. Т.е. вы должны отнестись к политическому вопросу профессионально.

Проблема евреев в СССР — проблема политическая. Она требует политического же, а не эмоционального, подхода. Как бы это нас ни волновало, помочь своим товарищам в СССР мы сможем только, если отнесемся к этому рационально.

Выезжая из СССР десять лет назад, я был так же наивен в политике, как и мы все, и думал, что политика — это борьба мнений. В борьбе мнений достаточно неправильным взглядам плохих людей противопоставить правильные взгляды хороших. В споре рождается истина. И увидев истину, огромное большинство (если, конечно, это происходит не в тоталитарной стране, где людей сознательно дезинформируют) поспешит к ней присоединиться....

Однако, политика — это, прежде всего, борьба интересов. И это отнюдь не интерес к истине, а тот или иной реальный интерес к реальной жизни. Поэтому и подходить к нему следует, как к реальному интересу среди других интересов, а не как к истине, которая абсолютна и ничего рядом с собой не признает. Мой интерес — помочь друзьям и единомышленникам в СССР — может быть поддержан множеством людей и организаций, если он сформулирован таким образом, что совпадает или соответствует также и их интересам. Но он останется не больше, чем пустым лозунгом, если он не задевает интересы большой группы людей на Западе.

Мне пришлось в свое время заняться политикой не по доброй воле. Но если время от времени мне удавалось добиться чего-нибудь для совет-

ских евреев, это всегда получалось только в результате трезвого учета взаимодействующих факторов и интересов. Я как раз в отличие от многих бывших активистов не уверен, что знаю истину. Но я уверен, что шанс помочь советским евреям у меня есть, только если я (мы, они) найду людей, для которых советские евреи представляют прямой интерес. Такой интерес, чтобы им имело смысл за него бороться. Не просто согласиться, как с истиной, а бороться, т.е. отождествить свой интерес с их интересами.

Не приходится долго сомневаться, что такой серьезный, длительный интерес есть только у израильтян. Только в Израиле существует эстаблишмент, который жизненно заинтересован в притоке евреев из Союза. Только в Израиле есть тысячи энтузиастов, чиновников, политиков, дельцов, идеалистов и журналистов, для которых приезд советских евреев означал бы победу и преуспевание. Не говоря уже о десятках тысяч бывших выходцев из Советского Союза, для которых это был бы праздник и утешение.

Пусть каждый сам задаст себе вопрос, остается ли этот интерес столь же насущным для израильтянина, если объект его забот, советский еврей, проезжает мимо. И так же ли попрежнему радуются за своих бывших земляков, проехавших мимо, бывшие выходцы из Советского Союза, поселившиеся в Израиле?

Конечно, можно израильтянина (не каждого) убедить, что ничего безнравственного в таком выборе советского еврея нет. Можно его убедить, что советский еврей не виноват, что таким его сделали советская власть и электрификация. Можно также убедить его, что все же лучше, чтобы советский еврей поехал в Америку, чем чтобы он остался на месте. Невозможно только убедить израильтянина, что все это — его кровное дело. Как только заходит речь об эмиграции вообще, мы получаем и поддержку вообще. Начиная с этого момента реальный интерес реального человека испаряется и начинается общий разговор о истине вообще.

Отсюда идут и другие деликатные следствия. Когда наши энтузиасты объясняют публике, что если советских евреев не пустить в Америку, они, возможно (не дай Бог!), предпочтут остаться в СССР, у израильтянина возникают серьезные сомнения, так ли уж им там плохо. В конце концов, есть немало израильтян, которые непрочь в Америку, но они не догадывались, что такое стремление может получить общественную поддержку. Почему русским это должно даваться легче, чем им?

Поэтому я удивляюсь Ю.Штерну, который, обсуждая политические факторы, влияющие на общественное мнение в Израиле, обвиняет правительство и Сохнут в том, что они "отвлекают внимание от главного", ставя вопрос о нешире. Как будто Израиль — это детский сад и израильтяне не понимают своих интересов. Тут же он приводит и вопиющие факты, свидетельствующие о равнодушии израильской (и американской) общественности к положению евреев в СССР, не видя между этим равнодушием и маршрутом советского еврея никакой связи. Однако, когда тысячный поток алии валил через Вену в Израиль, общественность отнюдь не была равнодушна, министры охотно принимали активистов алии, а американцы испытывали куда больший энтузиазм, чем в последние годы. Ю.Штерн драматически спрашивает: "Кто помнит, когда израильское правительство обсуждало..?" А я отвечаю: "Я помню. Когда нешира еще не перевалила

за 50 %". И какой вопрос может быть главнее для Сохнута, смысл существования которого состоит в том, чтобы собирать евреев в Израиль, если не вопрос, куда они едут? Ведь Сохнут — это не благотворительная организация вообще, а исполнительная организация Международного Сионистского Конгресса. В чем же, по Ю.Штерну, их "главные" интересы? В том, чтобы все евреи на земле были счастливы? Собственно, тогда для всех нас "главный" интерес — это счастье и мир на всей Земле. Потому мы и откладываем эту главную задачу на неопределенное будущее, что еще не знаем, как к ней подойти. А вот, чтобы вытаскать русских евреев из Советского Союза, придется-таки иметь дело с Сохнутом, правительством Израйля и еще многими небескорыстными организациями. И придется задуматься, в чем состоят их интересы.

Другая группа заинтересованных — американские евреи. Интерес американских евреев к спасению братьев из Советского Союза, с самого начала слишком идеалистический, чтобы сильно влиять на политическую действительность, вдобавок осложняется тем обстоятельством, что они — горячие сионисты и прежде всего сочувствуют Израйлю. Поэтому позиция правительства Израйля по вопросу о нешире обладает для большинства из них безусловным приоритетом. Чтобы не упустить все же из виду истину, как таковую, следует признать, что кое-какой собственный интерес к приезду советских евреев у американских еврейских организаций есть. Наплыв новых беженцев означает для них появление нового объекта для благотворительности, надежду на замедление собственного темпа ассимиляции, оживление работы, получение дополнительных субсидий от правительства. Однако, удельный вес таких соображений в американском еврействе невелик, а отход многих советских евреев от еврейской общины при первых признаках их экономической самостоятельности подрывает в корне и эти мотивы. Не следует также забывать, что американские евреи в настоящий момент переживают фрустрацию, поскольку большинство их в прошлом связывало свои интересы с демократической партией и активно выступало против Рейгана. Теперь это угрожает им заметной потерей влияния, и борьба за советских евреев не усилит их позиций, если не будет скоординирована с Израйлем.

Вообще не следует недооценивать тот ущерб делу советских евреев во всем мире, который нанесла ему победа правых партий во многих странах (США, Англии, Германии). Ибо наиболее охотно оказывали поддержку советским евреям именно левые силы. И наиболее охотно советские власти шли навстречу левым правительствам. Для этого были, конечно, более чем прозрачные мотивы: во всем мире левые силы в заметной мере состоят из евреев. Однако факт оставался фактом, и советское правительство внимательно прислушивалось к этим людям, поддерживая иллюзию детанта. То, что все советские евреи повсюду не уставали клеймить левых, также заметно повредило всеобщему сочувствию к ним, особенно со стороны журналистов. Консервативные лидеры, если они просто не антисемиты, все же в первую голову думают не о принципах, а о интересах собственных наций, и советские евреи интересуют их лишь в связи с их взаимоотношениями с правительством Израйля. Правительство же Израйля, особенно его правое крыло, четко указывает один-единственный адрес для

еврейской эмиграции. Я сам немало времени и сил потратил на защиту идеи свободы выбора в Вене несколько лет назад. Тем компетентнее я могу сказать теперь, что был совершенно неправ. Это была одна из тех ошибок, на которых можно многому научиться. Я понял это только в 1980 году, когда уже начало сбываться все то, что всегда предсказывали противники неширы, и игра была уже проиграна.

Барух Гуревич, говоря о причинах плачевного состояния эмиграции из СССР, правильно подчеркнул, что нешира — не единственная и даже не главная причина прекращения эмиграции из Советского Союза. Но не будучи советским евреем, он не решился сказать, что она — единственная из причин, которая находится целиком в руках советских евреев. Американские евреи, естественно, ничего не могут сказать против неширы. Это поставит под сомнение их собственное существование. Израильяне могут сказать, но кто их послушает? Их своекорыстный интерес (не преувеличиваем ли мы и этот интерес в желаемую для нас сторону?) почти очевиден. Советским евреям самим придется решать, и чего они в самом деле хотят, и как они думают этого достигнуть. Сегодняшнее оживление интереса к советским евреям во всем мире я все же приписываю не столько воздействию “Центра информации о советском еврействе”, сколько подъему деятельности самих советских евреев в СССР и недвусмысленной позиции, занятой многими из них в открытых письмах советскому правительству. Тот “невероятный вал обращений, писем, петиций, который хлынул из СССР в Израиль в сентябре—октябре этого года”, о котором говорит Ю.Штерн, — это именно и есть то новое в еврейском движении, чего не было последние годы. Я имею в виду требования репатриации вместо эмиграции и расчет на Израиль вместо неопределенного расчета на “мировое общественное мнение”.

Активность самих советских евреев является, в конечном счете, решающим фактором во всем этом узле проблем. Насколько высоко мы оцениваем значение этой активности, только и отличает точки зрения пишущих на эту тему. Хотя и существуют отдельные расхождения между Ю.Штерном, В.Богуславским и мною, все мы (да и все остальные бывшие активисты, наверно) согласны в том, что придаем самой активности евреев в СССР первостепенное значение. А Б.Гуревич и Ю.Колкер упоминают, прежде всего, общественную поддержку Запада. Между тем общественная поддержка всегда есть скорее следствие, чем причина событий. Мы по собственному опыту (и по темпераменту, очевидно) знаем, что дверь сама не откроется, что просто поступать в нее недостаточно, что были жертвы в нашем поколении, будут и впредь. Это острое чувство толкает В.Богуславского даже на поэтически проклятия пассивным евреям, а Ю.Штерна на отпущение грехов им же, но существо послышки и того, и другого в том, что спастись можно только собственной рукой. Я попробую дальше развить эту мысль и уточнить, что это значит, на конкретном примере, но прежде я хотел бы подчеркнуть, что никаких рекомендаций отсюда мы в СССР послать не можем. Люди в СССР сами решают, как им поступать, и сами пожинают последствия этого. Это и есть их первый урок свободы. Нужно сказать также, что и упреки В.Богуславского, и призывы Ю.Штерна, а также и мои циничные рассуждения о политике как профессиональной деятельности

не относятся к старым отказникам, которые сделали все, что могли. Наш долг по отношению к ним неотменим и наша поддержка им ничем не обусловлена. Мы оказались здесь не только благодаря собственным силам, как подчеркнули и Штерн, и Богуславский, но и в значительной степени благодаря им, оставшимся, их усилиям, направленным не только на собственную пользу.

Ю.Штерн сурово осуждает нашего министра иностранных дел И.Шамира за слабость, якобы проявленную им в разговоре с Громыко. В ответ на заявление Громыко, что в СССР нет больше евреев, желающих выехать в Израиль, Шамир будто не сумел возразить ему с цифрами в руках. Я не присутствовал при разговоре и не сумею достойно защитить честь нашего министра, но я могу сразу оценить негодование Штерна, как типичное для нас проявление политической наивности. Ибо ему кажется, что у него в руках есть такие цифры. Он имеет в виду упомянутые В.Гуревичем цифры числа вызовов, посланных Израилем в СССР. Это число составляет от 300 до 400 тысяч в зависимости от того, учитываются ли повторные вызовы. Однако советский министр Громыко — как, надеюсь, и наш министр Шамир — оба лишены этой наивности и оба знают, что наличие вызова отнюдь не является доказательством желания выехать, тем более — выехать в Израиль. Мы, конечно, знаем, что советский человек просто так вызов не попросит, но Громыко ведет игру, рассчитанную не на нас, и отвечает так, что поймать его на лжи не так-то просто. Просьба о вызове означает всего лишь интерес к выезду, зависящий от настроения, и доказательством намерения выехать служить не может. Доказательством, что советские евреи хотят выехать, может явиться только проверенная цифра числа подавших заявления на выезд или прямое заявление о таком желании, подписанное советскими евреями и ставшее широко известным на Западе. О том, чтобы не появилось статистики подач, Громыко позаботился еще несколько лет назад, рассредоточив подачу документов по местным районным инстанциям. Шквал заявлений, открытых писем и петиций, который хлынул из СССР в Израиль в конце этого года и о котором упоминает Ю.Штерн, как раз и является тем доказательством, которое так нежелательно Громыко и о котором, я надеюсь, Шамир упомянул. Вот примерно столько людей, сколько подписало эти письма, наверное, и уедет в ближайшее время, хотя возможно, что некоторые из них для испуга будут отправлены в лагеря. Рассказывая о себе, Ю.Штерн упоминает именно такой случай, когда уехали почти все подписавшие, однако все же не все. С потерями. Здесь и проявится, насколько все зависит от самих советских евреев как группы. Советские власти имеют великолепный критерий серьезности намерений своих евреев. Когда в результате репрессий поток писем и заявлений сокращается, они отчетливо видят тенденцию и спешат подтолкнуть ее. Именно это произошло в 1980 году и выезд закрылся. Повидимому активность группы Штерна нарушала их отчетность, и они выпустили их, вопреки общей линии, в 1981-м. Но в начале 70-х пугающие приговоры на Ленинградских процессах привели к обратному парадоксальному эффекту, — увеличению количества заявлений. Это и заставило власти отнестись к вопросу серьезно. А уж за поддержкой западной общественности дело не стало. Если дело Холмянского и Левина приведет к уменьшению числа писем и отказов от гражданства,

значит еще не суждено открыться воротам вскоре. Но все же, я думаю, Громыко позаботится о своей чести, и часть тех, что писали письма, выедут. После этого те из них, которые поедут не в Израиль, а в другие страны, обманут уже не советскую власть и не правительство Израиля, которое представлял Шамир. Они обманут и подведут своих товарищей по письмам, ибо можно не сомневаться, что Громыко не замедлит демонстративно сообщить Шамиру, как верно он говорил о том, что нет желающих выехать в Израиль, и с еще большим удовольствием задержит всех остальных. Не может же он поощрять международный обман!

Однако, если репрессии против подписантов вызовут цепную реакцию и количество писем против ожидания КГБ увеличится, не исключено, что это будет страшная сказка со счастливым концом. Бывают и такие.

Может случиться, что и не выпустят сейчас никого. Упрутся. Все равно, рано или поздно подвернется такой международный компромисс, при котором придется кого-то выпустить. Я уверен, что это будут те, кто писал эти письма и петиции! Но кто-то останется, и уехавшие навсегда станут его неоплатными должниками.

* * *

Совсем особняком стоит в нашей подборке интервью Э. Финкельштейна, многолетнего отказника, одного из зачинателей сионистского движения в СССР.

Он утверждает, что все мы строим себе иллюзии относительно готовности советских евреев к эмиграции, ибо меда свободы, который кружит нам головы, не вкусили они, но деготь трудностей, почерпнутый из наших же писем, показался им чересчур горьким, чтобы захотеть испробовать. Что ж можно сказать на это? Ведь и сага о Исходе не обещает многого. Разве лишь тому, кто отбросил колебания, как библейские Иисус и Кaleb. Если Финкельштейн правильно описывает ситуацию, это значит, что еврейская ситуация в СССР "нормализуются", т.е. становится похожей на ситуации всех веков рассеяния: одни хотят ассимилироваться, другие уехать, но огромное большинство, как всегда, хочет жить спокойно, надеясь на улучшение. Так вот, из России и Польши в начале века уехали два миллиона евреев в Америку (и меньше 100 тысяч в Палестину), но шесть, кажется, миллионов остались, к своему несчастью, надеясь на лучшее. И лучшее наступило... И в России, и в Польше.

Советская власть сумела довести евреев до такой кондиции в 70-х годах, что они нарушили вековое правило и бились об стенку большой массой. Это вызвало бурный восторг и массивную поддержку на Западе, потому, что это было действительно ново. Все же ситуация в СССР во многих отношениях беспрецедентна и может вызывать беспрецедентные явления. Если все опять вернется к общему руслу еврейской истории, в этом не будет еще обязательности катастрофы, но ее возможность уже непременно будет осознана с обеих сторон.

1. Владимир Ильич

Читая "Ленина в Цюрихе", необходимо помнить, что подзаголовков его — "главы". Это не целостное, завершенное произведение, а тематически связанные разделы нескольких томов гигантского труда, жанр которого определить еще невозможно. Годным пока что видится только одно определение — художественное исследование, но вряд ли и оно окажется достаточно емким. Однако для "Ленина в Цюрихе" это определение представляется удовлетворительным: это, действительно, художественное исследование, и весьма строгое.

Нельзя искать в этих нескольких главах исчерпывающего ответа на центральный вопрос всех изданных и планируемых автором "Узлов": как и почему рухнула в небытие Россия и возник на месте ее СССР?

Было бы крайне безответственным (а так часто делают) по одиннадцати сравнительно небольшим отрывкам, выделенным Солженицыным из многотомного труда, заключить, к примеру, что, по его убеждению, злоестье перевоплощение России в СССР предопределено злым гением Парвуса и сверхчеловечески единонаправленной энергией Ульянова. Полагай автор так, ему не понадобились бы тысячи страниц остальных частей его труда с их возвращениями в конец 19-го столе-

Дора Штурман

**СОЛЖЕНИЦЫН
О ЛЕНИНЕ В ЦЮРИХЕ**

тия и с охватом всего, до 1917 (пока) включительно, начала 20-го. Можно было бы тогда воссоздать и исследовать образ Ленина-эмигранта, проследить за приездом его в Россию, за его горячечной деятельностью с марта до той точки, когда он смог счесть себя победителем, и не касаться всего прочего.

Но нет: судя по уже изданным книгам цикла и по отрывкам из неизданных, с точки зрения Солженицына на семена катастрофы посеяны куда раньше вступления Ульянова-Ленина в активную игру, корни катастрофы широчайше разветвлены, и февраль, а не октябрь 1917-го был ее кульминацией, предопределившей все последующее. А в феврале Ленина еще в России не было. Однако по приезде от него станет зависеть многое, иногда — решающе многое. В конечном счете в его руках сосредоточится огромная власть. И потенциальный, еще не сбывшийся, Ленин в самый канун своего включения в решающий бой для исследователя не менее интересен и важен, чем Ленин в Кремле.

Читательское (а критик — тоже читатель) восприятие солженицынского Ленина предопределяется в необычайно высокой степени тем, насколько читающий знаком с реальным историческим Лениным, каков его собственный стереотип Ленина. Я не хочу сказать, что солженицынский Ленин неубедителен. На мой взгляд, он достоверен весь: от его глобальных мыслей до мельчайших психологических штришков и жестов. И этого не могут не чувствовать при чтении книги те, кто солженицынской интерпретации Ленина не принимает. Но читатель, которым прочно владеет принципиально иной стереотип Ленина (а таких читателей большинство), воспринимает солженицынского Ленина как талантливое и впечатляюще уничтожительное и з м ы ш л е н и е . Текст, за редкими исключениями подчиненный автором строжайшей документалистической дисциплине, воспринимается таким читателем как саркастическая фантазмагория. Читатель же, знающий Ленина не по ввевшемуся с детства в сознание апологетическому клише, а по собственным ленинским работам, речам и письмам, по свободным воспоминаниям о нем, по документам, испытывает, читая “Ленина в Цюрихе”, чувство непрерывного узнавания знакомого голоса и облика. Даже и в главе о Парвусе, в самой далекой, на первый взгляд, от документализма сцене воображенного приболевшим Лениным их разговора, есть “прозы пристальной крупницы” (Б. Пастернак), столь точные, что и за ними возникает тень документов. Впрочем, Солженицын в авторских примечаниях, в конце книги, перечисляет немецкие научные источники сюжета о Парвусе.

“Ленин в Цюрихе”, воспринимаемый многими как произвольные

солженицынские вариации на тему "Ленин", — это, может быть, одна из самых документальных работ Солженицына. Он и настроение, и словарь, и стиль своего персонажа в мельчайших деталях привязал к оригиналу — так, что под любым небрежным и резким "черняком" (вместо общепринятого "черновика") или под совсем уже, казалось бы, карикатурно— пародийным "примиренчеством и объединенчеством" можно поставить постраничные ссылки.*

Вот один пример верности автора оригинальным ленинским текстам. У Солженицына отношение Ленина к Инессе Арманд прослежено очень пристально и представляет собой главный резерв нормальных человеческих переживаний Ленина. Без этого долгого и глубокого чувства он был бы и вовсе маниакальным орудием своей сверхзадачи. Но и чарующая, не до конца управляемая и предсказуемая Инесса подчинена им той же задаче, что и не отделяемая от себя самого, привычная, преданная, серенькая Надя. У Солженицына Ленин доверительно до беззастенчивости дает Инессе советы, а то и наказания, как ей проталкивать его идеи на различных международных социалистических форумах, где ему самому по той или иной причине выступать или даже присутствовать не следует. Иногда кажется, что Солженицын несколько берет через край в цинизме таких рекомендаций. Но вот один из многих и многих документальных прототипов этих руководящих указаний:

"Кстати, меня радует, что... немцы будут плохо понимать или не понимать тебя — сядь ближе к исполнительному комитету и говори для них (подч. Лениным)".

Инесса должна говорить на родном ей французском — и так, чтобы большинство ленинских тогдашних оппонентов (немцы) не поняли или плохо поняли, о чем она говорит, да еще сесть подальше от них, чтобы им было хуже слышно. В борьбе все средства пригодны, и от Инессы нечистота этих средств никогда не скрывается. Солженицын лишь высветлил, а не изобрел этот факт.

Преобладающее настроение Ленина в Цюрихе — нетерпеливое раздражение, иногда доходящее до исступления. Ленина в этот период изводит многое. Главное — нежелание упрямого, тупоумного, самодовольного европейского мира следовать прогнозам и рекомендациям великой теории. Единственная его надежда, что Европу потянет на "правильный" путь невыносимо мучительная война. И

* В. И. Ленин, Соч., изд. 1У, тт. 9 и 23; В. И. Ленин, ПСС, изд. У, тт. 48 и 49. Все цитаты из Солженицына по книге "Ленин в Цюрихе". Главы. ИМКА — Пресс, Париж, 1975.

поэтому с первой минуты Ленин рад войне и желает всемерного ее ужесточения, эскалации, продления. Мы обычно не вдумываемся в эту глубинную удовлетворенность Ленина чудовищной бойней, о чем он откровенно пишет своим коллегам. Солженицын — вдумался. И перед нами возникла под его пером жестокая аморальность Ленина, предопределенная бесчеловечностью властно управляющего им учения. Но, значит, и лично ему при-
сущая?

У Солженицына Ленин думает: "...замечательно, что началась война! Это радость, что началась!!" И Ленин погружается в "издание лозунга для момента"

"... не оста навливать войну — но разгонять ее! но переносить ее!

— В свою собственную страну! ...Превратить в гражданскую!... Это подарок истории, такая война!"

Ленинский синтаксис, ленинский стиль, ленинские яростные подчеркивания. Но ленинская ли суть? Вот оригинальный ленинский текст — письмо к Шляпникову:

7.X.1914

"Неверен лозунг "мира" — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. ...Не саботаж войны, а массовая пропаганда (не только среди "штатских"), ведущая к превращению войны в гражданскую войну. Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война".

21-го октября 1914 года, понимая чудовищность "в глазах обывателей" своего ликования по поводу мировой бойни, Ленин предупреждает, что излагает свою позицию пока что "исключительно для друзей, в целях установления взаимопонимания". Он осторожен и движет своими сторонниками из-за спин, что многократно показано Солженицыным.

Но есть ли в этом хоть какое-то преувеличение? 14-го ноября 1914 года Ленин пишет Шляпникову:

"... (Письмо от меня я бы не советовал двигать: пойдут "фракционные" дразги!!!)...Без меня Вам лучше дадут, право! Сошлитесь на Петровского, от него (если надо) достаньте письмо, это лучше, ей-ей!"

Так неужели же хоть в какой-то степени чрезмерно ленинское ликование по поводу все расширяющейся войны в "Ленине в Цюрихе"? В этом ликовании сказывается одно из коренных ленинских психологических свойств: он никогда не представлял себе

конкретно, воочию, как череду непоправимых людских несчастий миллионы смертей, которых должны были стоить (и стоили!) его социальные преобразования, в грезах и поздней наяву. Поэтому, когда сотни социалистов, потрясенных ужасом нелепых смертей в бессмысленной войне, ринулись к пацифизму, Ленин обрушился на них как на предателей рабочего дела и грезил одним: углублением, ужесточением, расширением войны до невыносимости, до поворота отчаявшихся солдат против своих правительств.

Внятен ли читателю один из основных парадоксов марксизма-ленинизма, развернутый Солженицыным в ленинском отношении к войне? В середине прошлого века развитие мира представлялось наиболее радикальным социалистам — Марксу, Энгельсу и их последователям — как безостановочно прогрессирующее обнищание рабочего класса и череда все более частых и все более разрушительных войн за раздел (позднее — передел) мира между империалистическими хищниками. Социалистическая революция виделась им как единственно возможный выход из неизменно нарастающей нищеты народа и все более бесчеловечных войн. Но положение рабочего класса в развитых странах и в развивающейся России с конца XIX столетия явственно улучшалось, а войны не учащались и не ужесточались. Предпосылки для отчаянных гражданских войн пролетариата против буржуазии заметно таяли.

Казалось бы, тем лучше, к чему столь кровавый выход, если нет безвыходного положения? Но нет: радикальное крыло социал-демократии, к 1914 году — ленинское, не хочет отказываться от старой схемы. Ленину н а д о , чтобы большинству людей было плохо, о ч е н ь плохо, н е с т е р п и м о плохо — для того, чтобы потом все развернулось “правильно” (это “правильно” неизмеримо важнее для радикала-ортодокса, чем “хорошо”): большая война, голод, разруха, превращение войны империалистической в войну гражданскую и затем “войны победившего социализма в одной стране против других, буржуазных или реакционных стран”.

Солженицын очень многое и в “Ленине в Цюрихе”, и в других главах “Узлов” строит на этом противоестественном и всенепременном стремлении большевизма к тому, чтобы до его победы всем было плохо — как только возможно, плохо невыносимо. Иначе — от чего же спасать человечество?

Пролетариату должно быть “нечего терять, кроме своих цепей”, для того, чтобы он поднялся против капиталистов.

Поэтому ленинская неприязнь к сытости и благополучию нейтральных швейцарцев, упрямо и тупо не поддающихся его провокационно-деструктивной работе, граничит с остервенением.

Уже достигнутое благополучие — то самое, ради которого собственно говоря, и затевается все марксистское преобразование мира, вызывает у Ленина ненависть — до удушья:

“О, как бы славно привалить сюда снизу толпой, да и погромить эти капитки, окна, двери, цветники — камнями, палками, каблуками, прикладами винтовок, — что может быть лучше, веселей? Неужели настолько погрязла, опустилась масса обездоленных, что уже никогда не поднимется бунт? Не вспомнит пылающих слов Марата: “Человек имеет право вырвать у другого не только излишек, но и необходимое. Чтo б не погибать самому, он имеет право зарезать другого и пожрать его трепещущее тело.”

Когда через шестьдесят лет красные кхмеры марксиста Пол Пота вошли в города Камбоджи, они объявили населению: “Раскрыть все двери. По закрытым дверям будет немедленно открыт огонь”.

Как во многих других случаях, Солженицыну приписывают, что он если не выдумал, то весьма и весьма преувеличил эту ленинскую озлобленность против благополучия и сытости не желающих браться за революцию рабочих. Придется опять обратиться к первоисточникам.

В конце прошлого века и в начале этого западноевропейские и американские рабочие были обеспечены материально лучше всех остальных рабочих мира, н а и б о л е е с в о б о д н ы п о л и т и ч е с к и и поэтому, несмотря на высокое производственное развитие этих стран (т. е. вопреки исходному марксистскому прогнозу), н а и м е н е е р е в о л ю ц и о н н ы . Это вызывает постоянные нарекания Маркса и Энгельса, а затем и Ленина, которых сжигает революционное нетерпение:

“Вот тут-то и сказалась американско-буржуазная манера “мягкостью убивать” нетвердых социалистов и немецкая оппортунистическая манера отказываться от социализма в угоду “мягкой, любезной и демократической” буржуазии”,—

пишет Ленин в 1914 году. Он искренне огорчен исходящей от его оппонентов по социал-демократии “истинно русской защитой трудовых хозяйчиков”, ибо разорение мелких товаропроизводителей обостряет кризисную ситуацию. Он говорит в 1914 году об улучшении материального положения рабочих США:

“С этим надо сопоставить многочисленные указания Маркса и Энгельса на примере английского рабочего движения, как промышленное “процветание” вызывает попытки купить “рабочих” (1, 136 “Переписка с Энгельсом”),

отелечь их от борьбы, как это процветание вообще "деморализует рабочих" (2, 218), как "обуржуазивается" английский пролетариат; как исчезает у него "революционная энергия" (3, 124); как придется ждать более или менее долгое время "избавления английских рабочих от их... буржуазного разращения" (3, 127); как недостает английскому рабочему движению "пыла чартистов" (1866, 3, 305)''.

И если Солженицын пишет о том, что Ленин готов (мечтает) уничтожить после прихода к власти своих противников, то он и тут не голословен, ибо Ленин писал о тех, кто "попытаются оказать сопротивление нашей пролетарской революции":

"...мы вас подавим беспощадно, мы вас сделаем бесправными, мало того: мы не дадим вам хлеба, ...вы будете... лишены огня и воды!.."

И ведь это не шутки: так оно впоследствии и случилось, и делается по сей день. Ни хлеба, ни огня, ни воды "несогласномыслящим" (Ленин).

Когда Солженицын вкладывает в уста Ленина совет его сторонникам апеллировать не к развращенной сытостью пролетарской верхушке, которая — по теории — должна бы стать гегемоном своей, пролетарской революции, а к самым отсталым слоям населения, он и здесь цитатно точен. В статье "Задачи левых циммервальдцев в социал-демократической партии", в очередной раз обрушиваясь на "развращенность масс буржуазными иллюзиями", Ленин советует своим сторонникам вести "проповедь социалистической революции среди н а и б о л е е о т с т а л ы х (курсив Ленина) слоев пролетариата и полупролетариата в городе и в деревне", а также в войсках. Те же советы сразу же после известий о феврале полетят в Россию и будут многократно варьироваться там потом. А разве сегодня тактика марксизма-ленинизма оставляет вне поля своего внимания самые отсталые народы и страны и наиболее деклассированные, опустившиеся слои населения? Не делает их своей основной опорой?

В Швейцарии Ленин как будто бы хорошо знает, что делать, как делать, но мучается отсутствием революционной, кризисной, то есть достаточно хаотической ситуации, в которой какую-то весомую часть народа могло бы шатнуть в его сторону. Он не ждет в ближайшие годы революции в России, но все же чутко, с трепетом душевным, улавливает вести о брожении т а м . И вполне уверен, что царь сумеет пресечь это брожение, приняв заблаговременно несколько спасительных для режима мер. Это очень примечательно, как Солженицын влагает в сознание отличного тактика Ульянова-Ленина мысли о том, что должен был бы предпринять для спасе-

ния своей власти очень плохой тактик Николай Романов. Обостренному ненавистью взгляду как нельзя лучше видно, что надо было бы сделать. Волею судьбы во всем столпотворении событий России 1917 года единственный по-настоящему талантливый тактик оказался во главе большевиков, но это уже другая повесть. Что же сделал бы Владимир Ульянов, окажись он волей судеб на месте Николая 2, за которого автор время от времени заставляет Ленина размышлять?

“А может случиться и еще хуже: царизм уже выбирается из капкана? Через с е п а р а т н ы й мир. Вот — страшно. Вот — не может быть хуже. Тогда проиграно — все. И мировая революция. И революция в России. И — вся жизнь Ленина, все усилия двух десятилетий. ...Для царя это д е й с т в и т е л ь н о в е р н ы й в ы х о д! Именно так и надо! Именно так и сделал бы Ленин на его месте! ...Сепаратный мир! Конечно исключительно ловкий выход. Но все-таки: не по их уму”.

Что ж, оказалось, и действительно — не по их уму или не по их силе, не по их воле.

Второй выход для России, который видит солженицынский Ленин, состоит в союзе между властью и конструктивной частью кадетской партии:

“В России слышно одних кадетов. ...Царь додумается, потеснится немножечко, уступит министерство Гучкову да кадетам — и уж тогда их совсем не возьмешь, не пробьешь”.

Но роковое противостояние друг другу правительства и даже самой умеренной прогрессистской общественности так и не было преодолено. И когда жив был и работал талантливейший преобразователь Столыпин (см. “Август четырнадцатого”), то и он оказался зажатым между правительством и общественностью. Столыпину нужны были два прочных союза: с царем и с центром Государственной Думы (центром широким, с большим захватом, но без обоих крайних флангов). Но вечер его убийственного ранения был кануном уже предрешенной царем и царицей его отставки. А Ленин хорошо знал (и писал!), что выполнение программы Столыпина предотвратило бы революцию. Так от кого же — без Столыпина уже — можно было ждать союза с Гучковым? И все-таки Ленин ждал:

“— В России ясно к чему идет. К кадетскому правительству. Царь с кадетами сговорится. И будет пошлое нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет. И — никаких надежд революционерам. Мы — уж не доживем”.

Все это документально. В статье “Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический” Ленин откровенно говорит о своей боязни, что Россия выйдет из войны посредством сепаратного мира. А когда разворачивается в России, наконец, революция, в которую Ленин, как в огромный, не чайный им уже выигрыш, боится поверить, он снова думает о царе, за царя; как сам бы действовал, окажись на его месте:

“Но что делает царь? и какая контрреволюционная армия идет на Петербург? и как уже наверно трусит Дума и спешит сговориться с реакцией? и как еще слабы и неорганизованы пролетарские силы? Уж наверно сегодня там и проиграно все и топят в крови — но из телеграмм узнается только послезавтра”.

Сверхдействительный Ленин не может представить себе бездейственности царя уже и тогда, когда газеты свидетельствуют непрерываемо, что Николай вышел из игры без боя:

“Он, например, убежит за границу и издаст манифест о с е п а р а т - н о м мире с Германией! Да, очень просто! И они же очень коварные, Романовы (и на его месте так и надо делать, блестящий шаг: мужицкий царь-миротворец!)”.

И тогда Германии уже не нужна будет революционная партия. Поэтому — не рано ли ехать?

Но царь не использует ни одного из прокрученных за него Ульяновым (в уме) вариантов.

Революция — канун возвращения Ленина в Россию — роковая точка, начало превращения того, что казалось бредом одинокого воспаленного мозга, в крупномасштабную историческую реальность. До сих пор, в размеренной практичной Швейцарии, в лихорадочной перепалке с оппортунистами, в массе беспрестанно сочиняемых и далеко не всегда публикуемых и произносимых в то время работ и речей (многие увидели свет после его смерти), нередко казалось (в горькие минуты — и ему самому), что эти безостановочно мелющие мощные жернова крутятся вхолостую. Такое впечатление возникало порой и у современников Ленина. До 1917 года Плеханов называл призывы Ленина к превращению войны империалистической в войну гражданскую “грезозфарсом”. А некий не названный Лениным “представитель центра”, скорее всего Троцкий, в годы первой мировой войны именовал декларацию Ленина на ту же тему “прямой линией, проведенной в безвоздушное пространство”. Плеханов же назвал в одной из своих статей “бредом” и знаменитую речь Ленина с броневика в день его приез-

да в Россию. Лишь сегодня мы можем судить о том, во что обошелся этот бред России и человечеству. А во что еще обойдется?

В спокойной, нейтральной, благоустроенной и обеспеченной Швейцарии с ее хорошо сбалансированным в системе демократии легальным социал-демократизмом Ленин мог казаться, мягко выражаясь, утопистом, иступленно твердящим вещи, не имеющие никакого отношения к реальности, игнорирующим факт явного меньшинства своих сторонников в рядах социалистов, как в свое время казался комедиантом Гитлер с его бредовым "Майн Кампф", как кажется сегодня вздорным маньяком ливийский фюрер Каддафи, угрожающий войной США, как представляется безумным Хомейни, кричащий о панисламизме, как не так давно виделся фантазером выпускник Сорбонны Пол Пот... Этими именами подобные сбывшиеся и грозящие сбываться кровавые "грезофарсы" 20-го века отнюдь не исчерпываются. Ленин и в послефевральской России будет какое-то время казаться — тем, кому он роет могилы, — беспочвенным крикуном. Солженицын устрашающе точно рисует это коварно обезоруживающее (своим несоответствием здравому смыслу, малочисленностью своих носителей, своей вздорностью) к а ж у щ е е с я бессилие экстремизма в канун его взрывообразного усиления, пандемического умножения его носителей и его победы, ввергающей общество в пропасть. Система, созданная вчерашним безумцем или утопистом, имеющим жалкую кучку сторонников, вдруг оказывается угрозой для целого региона, а то и для всего мира.

Солженицын предупреждает, что в этом процессе несущественна первоначальная малочисленность экстремистов — носителей демагогически провокативной идеологии, чреватой тоталом. Его Ленин это отчетливо осознает — так же, как осознавал это Ленин реальный.

У Солженицына Ленину возражают его нерешительные швейцарские сторонники из "молодых":

"— Но нас такое малое меньшинство!"

— А большинство всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меньшинство должно действовать — и после этого становиться большинством".

В России 1917 года Ленин, будучи со своими сторонниками долгое время в явном меньшинстве (да они настоящим, с о б о д н о и вдумчиво, при наличии права голоса для оппонентов, избранным большинством так никогда и не были и по сей день не стали!), введет термин "формальное большинство". Он противопоставит

ему большевиков как носителей "истинных интересов большинства народа". И будет при необходимости решительно пренебрегать этим "формальным большинством", "не сознающим", согласно его декларациям, своих интересов.

Солженицын влагает Ленину в уста одну из заветных его идей, сквозных во всем его печатном наследии, а еще более — в действиях:

"...важно сохранить как угодно малую группу и из кого угодно, но — централизованную строго... (уверен был, предчувствовал, что побеждающую)".

А вот что писал о большинстве и меньшинстве сам Ленин во второй половине 1916 года Борису Суварину:

"Истинно революционные интернационалисты численно слабы? Рассказывайте! Возьмем в качестве примера Францию 1870 года и Россию 1900. Сознательные и решительные революционеры ...были чрезвычайно слабы численно. Это были лишь единицы, составляющие максимум 1/10.000 или даже 1/100.000 своего класса. А спустя несколько лет эти самые единицы, это самое, якобы столь ничтожное, меньшинство повлекло за собой массы, миллионы и десятки миллионов людей. Почему? Потому что это меньшинство представляло действительно интересы этих масс, потому что оно верило в грядущую революцию, потому что оно было готово беззаветно служить ей."

Почему же и как побеждают меньшинства, какие меньшинства?

В "Ленине в Цюрихе" говорится, что прежде всего это должны быть четко организованные и централизованные меньшинства, располагающие средствами и эффективными приемами пропаганды. Поэтому такое значение придается ими деньгам. И поэтому, забегаая вперед, добавим, такую существенную роль сыграют инъекции немецкого золота в большевистскую кассу в 1917 году. Нынешний наш опыт свидетельствует: при определенных условиях сплоченное, централизованное, а главное — целеустремленное, целенаправляемое меньшинство, имеющее прагматичную программу захвата власти и притягательные лозунги, энергично доводимые до адресатов, использует любую кризисную, дестабилизированную, хаотизированную ситуацию. Подавляющее большинство народа и в таких условиях просто ж и в е т , все порознь, вразнобой, не ставя перед собой общих целей и не объединяясь, не структурируясь для их достижения. Не закономерно ли, что специализированная, хорошо организованная, чрезвычайно активная структура сравнительно легко внедряется в аморфную массу и впитывает из нее подходящие для себя элементы? А лозунги, которыми она опери-

рует? Не имея зачастую ничего общего со здравым смыслом и с правдой, эти лозунги выражают мечтания множества пассивных в обычное время людей и легко насыщают их воображение неодолимыми соблазнами. И как правило этим лозунгам ничто не противостоит. Во всяком случае, ничто равноценное по доходчивости, соблазнительности, уверенности, массивности. Если же еще есть и необходимые деньги у сочинителей и внедрителей нужных лозунгов, то куда же лучше?

Такие сплоченные, централизованные, агрессивно-экстремистские меньшинства, победив, разворачиваются в тоталитарные государства, развивающие и укрепляющие черты исходной организации. Они четко структурированы, бдительны и целенаправлены. Поэтому сопротивляться им в их пределах, да и за их пределами, куда они выдвигают бесчисленные и многообразные щупальца, чрезвычайно трудно. Демократия же чаще всего аморфна; она как правило просто живет, не помышляя всерьез даже о самозащите. Организованные тоталитарно меньшинства внутри нее и тоталитарные государства вовне имеют целью разложить и трансформировать ее, подчинить ее себе. Опасность такого соотношения основополагающих жизненных тенденций самоочевидна. Это по ч т и соотношение между оснащенными убийственной техникой охотничьими бригадами и невинно существующей — просто для того, чтобы существовать, — фауной леса или саванны.

Солженицынский Ленин — в полном соответствии с реальным Лениным — завязь, зародыш, эмбрион такой целенаправленной сверхэффективной организации.

И еще одно солженицынское наблюдение над ленинизмом. Стало издавна традиционным утверждение, что большевики не признают индивидуального террора как приема борьбы, что Ленин мальчиком, говоря о своем брате-террористе, провидчески произнес: "Победим, но мы пойдем путем иным" (В. Маяковский). Все как-то привыкли в этом словосочетании: "отказ от индивидуального террора" — делать упор на паре "отказ от террора" и забывать словечко "индивидуального". Солженицын об этом не забывает. Он замечает: за две недели до съезда швейцарской социал-демократии

"секретарь австрийской социал-демократической партии убил премьер-министра Австро-Венгрии... Ленин тут, на съезде, половину своего выступления неуместно посвятил террору... Он сказал, что за с л у ж и в а е т п о л н о й с и м п а т и и (курсив Солженицына) приветствие террористу, посланное ЦК итальянской партии, если понять это убийство как сигнал социал-демократам покидать оппортунистическую тактику. И подробно защищал, почему русские большевики могли спорить против ин-

дивидуального террора: л и ш ь (разрядка Солженицына) потому, что террор должен быть действительно массовым (разрядка Солженицына)''.

Возьмите в руки том 23 1У-го издания сочинений Ленина, откройте на стр. 110–112, и вы найдете там пламенные тирады о признании индивидуального террора только "как отдельного шага в переходе... к тактике революционного массового действия", то есть террора же, но массового. "Мы всегда стояли за применение насилия как в массовой борьбе, так и в связи с этой борьбой, ... за применение насилия масс против их угнетателей, особенно во время уличных демонстраций". Еще выразительней письмо Ф. Корицнеру от 25 октября 1916 года:

"Умерщвление – не убийство", – писала наша старая "Искра" о покушениях; мы в о в с е не п р о т и в (курсив Ленина) политического убийства (в этом смысле просто омерзительны лакейские писания оппортунистов...), но в качестве революционной тактики индивидуальные покушения нецелесообразны и вредны. ...Только в прямой, непосредственной связи с массовым движением могут и должны принести пользу индивидуальные террористические действия''.

Так что террористическая акция, по Ленину, даже не убийство, а всего лишь некое безобидное "умерщвление"... И оправдание подобных "умерщвлений" – в их массовости.

Из этого неотвратимо следует, что ООП, итальянские "Красные бригады", "Красная армия Японии" и другие террористические банды во всем мире действуют вполне в русле ленинизма – лишь бы только не отставали в массовости и в систематичности "насилия" – слово, которым Ленин предпочитает заменять слово "убийство".

Солженицын пишет о Ленине, погруженном в работу в одной из цюрихских библиотек:

"...каждую мысль, пока не погасла, надо успеть огненной нитью вплести в бумагу, чтобы тлеть ей там и ждать своего часа, иную в конспект, иную – сразу в письмо, начатое тут же, чтобы не терять горячего движения фразы. Одни мысли – для выяснения самому себе, другие – для спора, укола, удара, третьи – как лучшая форма разжевать и архиразжевать для глупеньких, четвертые – для теоретической спевки, особенно с теми, кто удален и даже в России''.

И все пригодится.

А здоровье уже предает, подводит. И мельком проскальзывает:

"...поберечь бы себя

А – для чего беречь? Если ничего и не делать, к чему и беречься?

Но – и так долго не проживешь. Неважно с головой. Плохо''.

А какова еще будет эта работа в России — весной, летом, осенью семнадцатого и позже, пока не исключит работу болезнь?

И вот ведь что интересно: в "Августе четырнадцатого", в отношении к в общем-то симпатичному и наделенному сочувствием автора царю все время неутомимо пробивается подспудная ирония, сострадательная и оттого еще более убедительная (иногда кажется, что даже не осознаваемая автором как ирония, но тем не менее...) К Ленину же и к его одновременно и машиноподобной, и по-человечески лихорадочной непрестанной работе иронического отношения нет. Потому что впереди у этой работы огромный, хотя и недолгий для себя лично выигрыш, роковой для России. И только ли для нее?

Но для чего же все это было Ленину надобно?

Каковы его личные побуждения, стимулы? Каков идеал, подчинивший себе до тла эту (до поры до времени) все преодолевающую энергию? Эту пламенную и одновременно стиснутую панцирем долга душу? Ведь не для себя же эта убийственная работа? И по Солженицыну — не для себя. Какова же цель этой бешеной многолетней гонки?

По Солженицыну, дело сводится к требованию, несколько раз упомянутому, "немедленной экспроприации банков и промышленности" "пролетарским" (т. е. крайним леворадикальным — большевистским) правительством:

"экспроприировать... максимум... всего не больше 30-и тысяч буржуа. Ну, и конечно, сразу захватить все банки. И Швейцария станет пролетарской... А путь для этого — только раскол!"

По собственным ленинским текстам:

"Говорят: что "вы" сделаете, если "вы"— революционеры, победите царизм? Отвечаю (1) наша победа разожжет во сто раз движение "левых" в Германии; (2) если бы "мы" победили царизм вполне, мы предложили бы мир всем воюющим на демократических условиях, а при отказе повели бы революционную войну".

А внутри страны, во всех отвоеванных у капитализма странах?

"Экспроприация банков и крупных предприятий, отмена всех косвенных налогов, введение единого прямого налога с революционно-высокими ставками для крупных доходов и т. д."

Вот и все, что говорит Ленин о своей грядущей программе.

И борьба за мир (самый энергичный и откровенный пацифизм), и национализация (к великому сожалению), и прогрессивный (до уровня, обесмысливающего независимое предпринимательство)

подоходный налог возможны в границах строя, который Ленин называет буржуазной демократией. Однако мирные реформаторские преобразования в сторону социализма его не устраивают: он предпочитает этой возможности не верить, вопреки — уже тогда — ее очевидности:

“Но тот не социалист, кто ждет осуществления социализма по м и м о социальной революции и диктатуры пролетариата. Диктатура есть государственная власть, опирающаяся непосредственно на насилие.

...Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами”.

Потом, когда он придет к власти, он разоружит под страхом расстрела (и с его применением при сопротивлении) и пролетариев, и крестьян, декретируя эту свою политику совершенно открыто. Когда он победит, он, ревнитель (до ноября 1917 года) неограниченного права наций на самоопределение, подавит сепаратизм везде, где это окажется ему под силу. Когда он овладеет всей полнотой власти, он лбом упрется в бесплодие военизированной, огосударственной экономики. Но у него не было других конструктов, кроме бесконечной череды гражданских битв, мировой “революционной”, то есть агрессивно захватнической, войны после победы большевиков, сплошного огосударствления хозяйства и, главное, создания “государственной власти, опирающейся непосредственно на насилие”.

И если в безостановочной деятельности и размышлениях солженицынского Ленина в Цюрихе зияет черный провал — там, где быть бы серьезным размышлением о том, ради чего все это задумано, затеяно и совершается, то это не упущение автора, но истинный лик предмета его исследования: у социализма и сегодня нет иного конструкта, кроме вышеприведенной скороговорки Ленина. А как он разворачивается, этот конструкт, как он реализуется, мы наблюдаем шестьдесят седьмой год.

(Окончание в следующем номере)

КРУГ СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ

Критическое начало было присуще западной культуре на протяжении всей ее истории. Критика велась с разных позиций: с традиционалистских (например, ранние христианские ереси) или обновленческих (реформация, позитивизм, марксизм). Наконец было замечено, что вся предыдущая критика была органической частью той культуры, против которой выступала. Это было принято как урок, и возникли критические школы, уже вполне сознававшие, что они и сами есть плоть от плоти критикуемой ими культуры. В их исполнении критика западной культуры стала с а м о к р и т и к о й и приняла иную методологию. Попытки полного отвержения существующей культуры были оставлены, и упор стали делать на ревизию и реорганизацию культурного наследия. Одна из самых ярких фигур в этом русле европейской мысли — Шумахер.

Александр Донде

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА

(Взгляды Эрнста Фридриха
Шумахера)

Эрнст Фридрих Шумахер — европеец, католик. Он родился в Германии. В 1930 г. он поехал изучать экономику в Англию и остался там навсегда, вплоть до своей смерти в 1977 г. По профессии он был менеджер-экономист и занимал крупный пост в Британском управлении угольной промышленности. Он также занимался активной общественной деятельностью: был

президентом Почвенной ассоциации, занимающейся проблемами органического земледелия, основателем и председателем Группы Развития Промежуточной Технологии, специализирующейся на проектировании малогабаритного машинного оборудования и инструментов для стран Третьего мира, инициатором движения “Четвертый мир”, защищающего идеи политической децентрализации и регионализма, а также директором “Скотт Бадер Компани”, своеобразного промышленного кооператива, проводящего принципы коллективной собственности и сознательного ограничения размеров фирмы.

В Шумахере сочетались, кажется, все европейские добродетели: здравый смысл и свободомыслие, практичность и духовность, уважение к свободе и неодобрение греха, утонченная религиозность и бытовой оппортунизм, глубокая умственная культура и отсутствие интеллектуального высокомерия...

На фоне современной профессиональной философии в работах Шумахера бросается в глаза одна важная деталь. Он ориентируется на непосредственный опыт живущих рядом с ним людей, стремится смотреть на мир их глазами и в своих размышлениях найти ответ на волнующие их вопросы. Его размышления и рекомендации предназначены не для управляющих инстанций, а для управляемых, которые хотели бы по возможности управлять собой сами. Шумахера волнуют не столько проблемы начальства, сколько проблемы людей.

Шумахер – не философ в академическом смысле этого слова. Он мог бы повторить вслед за Бубером: “Я не философ, я просто смотрел из окна и кое-что увидел”. Шумахер – практический мыслитель демократического толка. Он рассуждает как простой человек и для простого человека. Реален, думает Шумахер, человек, реальна “пара людей”, община, а общество – это абстрактная схема. Шумахер пытается остаться на почве идеала “не человек для общества, а общество для человека”.

Шумахер – учитель и проповедник. Он конечно же народный мыслитель. Он хочет дать людям “человеческую” философию, коль скоро академическая философия считает своим долгом заниматься более “важными” вещами. Академическая философия “оторвалась от народа”. И даже не потому, что пользуется непонятным “масонским” языком: любой язык, в конце концов, может быть выучен – обучили же грамоте на Западе 99% населения. Академическая философия предала массы потому, что пренебрегла

их проблемами и, вместо того чтобы заниматься проблемами масс, занялась исключительно проблемой эффективного управления массами.

Антропология Шумахера

Содержание учения Шумахера прямо вытекает из его антропологии, то есть из его представлений о человеке. Вот его исходное представление: “В то время как традиционная мудрость видела слабость человеческого разума, но считала его открытой системой, то есть признавала его способность выйти за пределы самого себя на более высокие уровни, новая школа мышления исходит из того, что возможности разума фиксированы в узких пределах. Эти пределы недвусмысленно установлены, но внутри этих пределов он обладает поистине неограниченными возможностями”.

Шумахер согласен с традиционной мудростью. Он реставрирует “донаучные” представления о человеке. История как будто бы показала, что эти представления в свое время не повели ни к чему, кроме абсурдного аскетизма, мистицизма и высокомерного невмешательства в собственный быт. Они скомпрометированы непримиримым консерватизмом их носителей на историческом рубеже между так называемым Темным временем и Новым временем. Кажется, что религиозной натурфилософии человека вынесен окончательный приговор. Тем не менее Шумахер смело встает на ее защиту. Человека, думает Шумахер, следует считать в первую очередь духовным существом. Это расширяет наши представления о человеческих потребностях и позволяет более изощренным образом толковать прогресс. Это нужно еще и для того, чтобы человек осознал свою способность к свободному выбору и к преодолению пагубных страстей, ведущих в тупик.

Моральная программа Шумахера предполагает существенное усилие человека над собой. “Пока мы не сделаем над собой сознательного усилия, — говорит Шумахер, — наши желания всегда будут расти быстрее, чем наша способность их удовлетворять”.

Шумахер повторяет старые истины, повторял их и Ганди. Оба они думали не о том, чтобы прослыть оригинальными, а о том, чтобы спасти от забвения некоторые важные доктрины. А им грозит забвение, потому что они подкрепляются такими

аргументами, к которым теперь мало кто прислушивается. В частности, традиционная мудрость обещает потустороннее вознаграждение за добродетель. Это, вероятно, ослабило конкурентоспособность христианских этических доктрин в борьбе с экономической моралью Нового времени. Шумахер ищет новые аргументы. Он обращается к некоторым очевидностям нашего практического опыта. "Жизненная стратегия, преследующая благосостояние в узком смысле слова, иначе говоря, материалистическая стратегия непригодна в этом мире, потому что ей чужд принцип "предела", тогда как ее окружающая среда очевидным образом ограничена. Окружающая среда уже дает нам знать, что определенные напряжения становятся чрезмерными. Решение каждой проблемы приводит к возникновению десяти других". Эта жизненная стратегия, кичащаяся своим практицизмом, на самом деле как раз непрактична.

Каким же образом материалистическая антропология ведет к возрастанию напряжений в существовании природного человека? Принцип беспредельного роста в материальной сфере существования порождает, по Шумахеру, своеобразную организационную структуру, особого рода технологию, науку и экономическую идеологию. Все их Шумахер подвергает резкой критике.

Критика организационной структуры

Очевидно, отмечает Шумахер, что в современном обществе преобладает тенденция к крупномасштабной организации. Она сопровождается тенденцией к централизации управления. Это ведет к автократии. "Индустриальное общество, независимо от того как демократичны его институты, автократично по методам управления". Пороки автократии интересуют Шумахера опять-таки прежде всего в антропологическом аспекте, а не с точки зрения экономической эффективности, что более или менее обычно для многих версий либерализма и особенно типично для либерализма советского (близкого к западному "неоконсерватизму").

Централизованная автократичная организация сводит к минимуму, а то и вовсе на нет человеческое общение. Она заменяет его косвенной взаимозависимостью на основе глубокого разделения труда. Именно это как будто бы ведет к отчуждению. Обычно обращают внимание на то, что в ситуации отчуждения трудящийся

утрачивает контроль над результатами своего труда, теряет эти результаты из виду и его трудовая деятельность приобретает характер автоматической бесцельности. Функция принятия решений не только отчуждена в пользу центрального органа, но и удалена на такое расстояние, что функционер даже не знает, откуда исходят указания и чьи цели и интересы они отражают.

Все это крайне неприятно, но вряд ли это самое существенное. Существует другая сторона отчуждения, и она важнее. Как пишет Шумахер, "единственная эффективная коммуникация — это коммуникация непосредственная, межличностная, лицом к лицу". Именно ее последовательно ликвидирует крупная организация.

Почему межличностная коммуникация так важна? Шумахер думает, что только в ней может быть реализована та часть человеческого существования, которая связана с самосознанием. А это ведь и есть специфическая сфера человеческого. В самосознании, напоминает Шумахер, состоит природное назначение человека как звена в мировой эволюции и ступени в иерархии природы. Удивительно, но самосознание невозможно у одиночки. Оно возможно только в коллективе, состоящем по меньшей мере из двух. Потому что в процессе самосознания решающую роль играет познание смежной личности, сочувствование, сопереживание. Самосознание осуществимо лишь в ситуации, где есть "Я" и "Ты".

Шумахер полагает, что человек может реализоваться только в небольшом коллективе. Активность должна замыкаться, насколько это возможно, в небольшом коллективе, обозримом для человека. Однако Шумахер делает оговорку. Он не предполагает уничтожить крупную организацию вообще, как этого требовали, например, некоторые варианты анархизма. "Фундаментальная задача, — говорит Шумахер, — обеспечить существование полноценных малых форм внутри крупной организации". Как это сделать? До того как ответить на этот вопрос, посмотрим, однако, что Шумахер говорит против современной технологии.

Критика технологии

По мнению Шумахера, современная технология крупногабаритна, сложна, насильственна и требует узкоспециализированной рабочей силы.

Узкая специализация сводит человека к функции. Кажется, уже никто не верит в благотворное влияние на человека узко-

специализированного труда. Правда, многие полагают, что если видеть в узкоспециализированном труде печальную необходимость, то можно нейтрализовать его дурные последствия на досуге. Все надежды, таким образом, возлагаются на свободное время. Здесь возможны два возражения. Во-первых, это предполагает, что в человеке могут ужиться две ментальности: одна будет "включаться" на работе, другая – на досуге. Если это возможно, то не без последствий. Во-вторых, Шумахер обращает внимание на следующее обстоятельство: "Количество подлинного досуга, доступное членам общества, обычно находится в обратной пропорции к мощности машинного оборудования, экономящего труд..." Итак, чем эффективнее труд, тем меньше досуг. В этом есть что-то бредово-непостижимое, но это факт.

Но и это еще не все. То, что человек производит, он должен потребить. Иначе экономическое производство перестанет быть экономичным и, в соответствии с собственной логикой, утратит смысл. Досуг оказывается мобилизованным для принудительного потребления. Содержание досуга диктуется нуждами производства.

Стало быть, надежды на рост досуга в высокопроизводительном обществе могут оказаться вполне эфемерными. В нем обнаруживаются тенденции, опрокидывающие, казалось бы, неопровержимую логику "принцип экономии живого труда". Крупномасштабное производство благодаря своим масштабам и своей производительности не освобождает человека, а закабаляет его.

Далее, современная технология сложна и капиталоемка. Поэтому она не совместима с личной организационной инициативой, и, что еще более существенно, пользование ею требует значительной предварительной подготовки (и тренировок!). На Западе отрицательные последствия этого не так очевидны. Население западных обществ эволюционировало более или менее "в ногу" с технологией и, по видимости, приспособлено к ней. Гораздо хуже дело обстоит в Третьем мире. Разрыв между той технологией, которую ныне Запад предлагает миру, и реальными потребностями людей огромен. Шумахер ссылается на Ганди, который говорил, что мы нуждаемся не в массовом производстве, а в таком производстве, в котором могли бы участвовать массы. Попытка внедрить в Третьем мире технологию крупного массового производства приводит к почти катастрофическим результатам. Она подрывает условия существования мелкого производителя и вместе с тем не может его обеспечить работой по найму. Безработица

в западных странах у всех на виду, но публика мало что знает о масштабах безработицы в Третьем мире. А они почти фантастичны: 20–25%, а в некоторых районах и больше. Там экспроприация мелкого производителя “мягким” методом капиталоемкой индустриализации, в сущности, препятствует усовершенствованию традиционной технологии. Между тем местные технологии отнюдь не бесперспективны. Об этом, в частности, говорит опыт основанной Шумахером “Группы развития промежуточной технологии”.

Развал экономики Третьего мира под воздействием современной западной технологии — уже свершившийся факт. На Западе крупному производству были принесены также значительные жертвы. Трудно сказать, какие коллизии возникли бы в Европе, если бы огромное количество людей не смогло уехать в Новый свет. Еще тяжелее пережил внедрение новой технологии СССР. Здесь все отягощалось еще и законодательным запрещением частной инициативы, в результате чего многие миллионы людей, не уложившиеся в схему массового централизованного производства, были физически изъяты из этой схемы и обречены на принудительный труд, гораздо более примитивный, чем они могли бы делать, если бы были предоставлены сами себе.

Но можно ли считать, что для Запада худшее уже позади? Кажется, что нет. Несовместимость сложной технологии со структурой человеческой личности получает новые проявления. В частности, становится все более заметно, что далеко не все способны участвовать в трудовом обеспечении сложной технологической структуры. Не способны просто потому, что не способны. Возникает новый, пожалуй, невиданный доселе, повод для социальной стратификации. Общество будет состоять из способных и неспособных. Нетрудно сообразить, что способными будут считаться те, кто будет способен к роли функционера, служащего, исполнителя. Часть населения несомненно продемонстрирует требуемые способности. А что будет с остальными? Они будут заклеены как неспособные. Их будущее, мягко говоря, темно. В лучшем случае за ними будут закреплены непрестижные и экономически невыгодные функции. В худшем случае они будут физически устраняться. Как говорил поэт Маяковский, “в коммунизм пустят не всех”.

Шумахер исходит из того, что массы обыкновенных людей скорее “неспособны”, чем “способны”. Ну что ж, из этого может

следовать только одно: "Если люди не могут приспособиться к методам, методы должны быть приспособлены к людям". Нельзя взнуздывать человечество. Дайте людям жить.

Наконец, Шумахер все время подчеркивает, что крупная и сложная технология разрушительна, поскольку извлекает из природы невозобновимые ресурсы в неограниченных (в принципе) количествах, ничего не давая взамен. Эта безмятежность чревата экологической катастрофой. Происходит эта безмятежность из экономической идеологии.

Критика экономической идеологии

Экономическая доктрина западной культуры вызывает у Шумахера, пожалуй, наиболее острую реакцию. Ведь он сам — экономист. Как ему кажется, суть этой доктрины в количественном (бухгалтерском) подходе к миру. Опасность экономизма не только в том, что он мировоззренческое заблуждение. Экономизм — активное заблуждение. П р и п и с ы в а я жизни экономическую суть, мы п р и д а е м ей экономическую суть. Извращение ума ведет к извращению жизни. Количественная схема жизни придает самой жизни численный схематизм.

Помимо сведения всех вещей к их рыночной стоимости, экономический подход грешит другими нереалистическими допущениями. Он рассматривает мир в краткосрочной перспективе, отмечая долгосрочную перспективу как "пустую" (в долгосрочной перспективе, как говорил Кейнс, мы все умрем). Это — антиисторизм. Затем он игнорирует зависимость человека от природного окружения. Финансовый баланс предприятия не учитывает так называемых "даровых" благ, и их как будто бы не существует. Далее экономическая доктрина смотрит на труд как на бремя, а смыслом и целью производства считает потребление. Вместе с тем парадоксальным образом экономизм фактически устанавливает примат производства над потреблением (особенно открыто в советском марксизме) и не считает потребностями те, которые не поддаются количественному измерению и сопоставлению с производством в рамках единой бухгалтерии. А среди них — потребность в общественной жизни, в творчестве, в духовном опыте.

И эта убогая гипотеза овладела нашим сознанием?! Как с горечью замечает Шумахер, достаточно сказать, что вещь "неэконо-

мична”, — и она приговорена, к ней теряют интерес как к пустому месту. Мы должны, говорит Шумахер, пересмотреть экономическую доктрину или отказаться от понимания мира в экономических терминах вообще.

Критика науки

Обсуждая науку, Шумахер, собственно, критикует не саму науку, а распространение инженерного метода на решение проблем, которые так не решаются.

Среди особенностей инженерного метода одна имеет особое значение. Решение инженерной (технической) проблемы возможно предварительно: в чертеже, экспериментально, предвычислением. Такие проблемы Шумахер называет “проблемами со сходящимися решениями”.

Но человек и общество имеют дело с проблемами, которые Шумахер называет “проблемы с расходящимися решениями”. Это прежде всего проблемы метафизического ряда: “Что все это значит? Где смысл?”, “Что мне делать с моей жизнью?”, “Что делать, чтобы получить спасение?”

“Живое” решение подобных проблем возможно, как считает Шумахер, только в “живом” коллективе. А это должен быть обязательно малый и свободный коллектив, основанный на межличностном общении. В малом коллективе возможен живой синтез противоположностей. Малый коллектив может решить проблему, не прибегая к инженерным методам. Напротив, крупная организация способна только к инженерным решениям. Поэтому она либо игнорирует неразрешимые для нее проблемы, либо придает им предварительно видимость инженерных и предлагает псевдорешения. Широко расцветшая ныне деятельность “социального планирования” — деятельность как раз этого рода.

Инженерными методами решаются технические проблемы, но не проблема существования, потому что это не техническая проблема. Проблема существования не может быть решена предварительно: существование и есть решение проблемы существования. И она не может быть решена одними людьми за других. Как говорил Льюис Мамфорд, “свою жизнь нельзя поручить кому-то”.

Опять-таки наука здесь, возможно, и ни при чем. Серьезная

наука всегда добросовестно оговаривает условия своей возможной приложимости. Но в руках среднего интеллектуала Новая наука за четыре века своего существования превратилась в идеологию.

Естественные науки вообще ничего не говорят о существовании. Их интересы в другом. Но институт гуманитарного знания, имитирующий науку, выдвигает несколько идей, относящихся к существованию. Все они происходят из 19-го века и, по мнению Шумахера, ведут лишь к недоразумениям. Это — идея эволюции, утверждающая, что высшие формы происходят из низших. Это — представление о конкуренции и естественном отборе как о механизме эволюции. Затем — идея Маркса о том, что религия, философия, искусство — лишь “фантазмагории человеческого ума”, хотя необходимая, но всего лишь “добавка к материальной жизни”, “надстройка”. С ней конкурирует идея Фрейда о том, что высшие человеческие проявления могут быть сведены к темным побуждениям подсознания. Далее — идея релятивизма, отрицающая все абсолюты и подрывающая идею истины. И наконец, идея позитивизма, предполагающая, что подлинное знание может быть получено только методами естественных наук, и в то же время ограничивающая знание сферой “как сделать”.

Конечно, многие из нас не соглашались с этими идеями и подчас радикально высмеивают их. Иногда даже возникает впечатление, что общество их низвергло. Но, по-видимому, это ложное впечатление. В п р и л и ч н о м о б щ е с т в е теперь в самом деле п р и н я т о не соглашаться с этими идеями, но люди лицемерят и на самом деле привержены им по-прежнему, потому что, дескать, т а к о в а ж и з н ь.

Жизнь в некотором смысле действительно такова. Современное общество, то есть его институты, многие нормы (если не все), система престижей и вознаграждений скроены по этим идеям. Реальная этика массового человека также основана на этих идеях, хотя иногда он этого не осознает. Такие перлы обыденного сознания как “ну что ж, все относительно” или “что поделаешь — конкуренция”, на уме и на языке у всех и поминутно используются для демонстрации практической мудрости.

Шумахер настаивает, что нам нужна другая школа мудрости.

Что из всего этого следует?

Из всей этой критики Шумахер делает общие и частные выводы. Свои частные выводы он воплощает в ряде практических программ. Они отражены в его общественной деятельности, о которой мы говорили раньше. Однако все его практические шаги вытекают из его культурной программы. Мы рассмотрели ее критическую часть. Теперь перейдем к ее н о р м а т и в н о й части — иными словами, к п р о п о в е д и Шумахера.

Шумахер проповедует культурную революцию. “На кон поставлена не экономика, а культура”, — пишет он. Это означает переворот в сознании.

Прежде всего Шумахер настаивает на изменении масштаба и структуры потребностей. Материальные потребности должны быть законсервированы на уровне, гарантирующем воспроизводство населения. Консервация должна быть сознательной, иначе она не будет изменением культуры и утратит смысл. Духовные потребности должны культивироваться, и тоже вполне сознательно. Следует возродить установку на самокультивирование, характерную для Средневековья. Интересы человека должны быть перенесены в сферу проблем с “расходящимися решениями”. Это будет ответ на приглашение природы продолжить процесс эволюции. Ибо: “Проблемы с расходящимися решениями побуждают человека напрячься для достижения уровня выше, чем его собственный уровень”. Надо прыгнуть выше себя, приподнять самого себя за волосы, хотя это и бессмыслица в инженерном смысле.

Перемены в социальном характере человека должны быть параллельны переменам в представлениях о прогрессе. Прогресс не должен пониматься как экспансия в материальном пространстве, как механический рост и как безостановочное повышение производительности труда.

Господствующее ныне представление о труде должно быть заменено концепцией труда как блага. Это чрезвычайно важный и опасный момент в культурной революции, которую предлагает Шумахер. Мы не можем рассматривать его подробно. Отметим лишь, что возможны самые страшные злоупотребления представлением о труде как о благе. Достаточно вспомнить “арбайт махт фрай” нацистских концлагерей и всю высокопарную демагогию, развернутую вокруг “освобожденного труда” в советском обществе.

Очевидно, что объявить труд благом совершенно недостаточно. Труд должен быть благом, но не всякий труд может стать благом. Ясно, что это должен быть свободный и творческий труд, но это звучит слишком неопределенно. Мы не можем обсуждать этот вопрос здесь. Поэтому трудно говорить конкретно о путях технологической революции, подкрепляющих культурную революцию Шумахера. Возможно, что предпочтение должно быть отдано "инструменту" перед "машиной", как настаивает, например, Льюис Мамфорд. Возможно, опять значительное место в жизни людей займет сельскохозяйственный труд. Новые, хотя и неясные, перспективы открывает компьютеризация.

Более частные задачи культурной революции касаются целого ряда ценностей современной культуры. Среди них — гигантизм. "Маленькое — прекрасно", — провозглашает Шумахер названием одной из своих книг. Следует также перестать боготворить скорость саму по себе. Здесь нас подстерегает опасная ловушка. Погоня за скоростью, кажется, берет у нас все больше времени...

В другом плане — люди должны будут утратить склонность к демонстративному потреблению и стремление имитировать тех, кто богаче.

Радикальный и тотальный характер культурной революции у Шумахера касается, однако, только ее смысла и цели, но не процедуры осуществления. Путь, который намечает Шумахер, отличается от революционистских доктрин в двух важных отношениях. Во-первых, революция Шумахера не предполагает никакой экспроприации. Во-вторых, идеология Шумахера не есть "религия коллективного спасения", а "религия индивидуального спасения". Он предлагает начать не с изменений общественной среды в широком смысле, а с изменений микросреды. Агентом революции у Шумахера выступает не класс и даже не какая-либо социальная группа, которой обычно приписывается (часто неведомая ей самой) историческая миссия. Агентом революции выступает личность, желающая изменить условия своего существования и меняющая их, не обращая внимания на то, что делают другие. На практике, однако, вряд ли что-нибудь можно сделать в одиночку. Поэтому речь идет о небольших коллективах, объединенных единством культурной позиции. Малый коллектив, таким образом, рассматривается у Шумахера не только как основная организационная форма общества, но и как агент социального процесса.

Легко заметить, что такая революционная методология роднит

программу Шумахера с многочисленными в истории сектантскими программами. Классические секты обычно провозглашают отказ от господствующего образа жизни и хотя и приветствуют неофитов, но не всегда, и, уж во всяком случае, их тенденция к расширению не носит агрессивного характера. Более того, для многих сект ограниченная численность приверженцев оказывается даже желательной. Бесчисленные сектантские революции обычно совершаются собственными силами, для самих себя. Разделения средств и целей в них нет. Нет и пресловутой постепенности в достижении конечной цели. Цель в таких революциях осуществляется в самой процедуре осуществления, "сейчас и здесь". Эти революции не знают разницы между решением проблемы как процедуры и решением-результатом.

Разумеется, можно посмеиваться над этими революциями и называть их бурями в стакане воды. Однако следует вспомнить, что две известные нам культурные революции, в конечном счете преобразившие общество — Христианство и Реформация, — начались как раз в стакане воды. Их последствия имели всемирное значение. Напротив, в нашу эпоху, когда пытались зажечь сразу все море, получался скандал. Шумахер считает, что подлинной ареной человеческого существования является его непосредственное окружение, сфера близкого и тесного контакта с себе подобными, микросреда, личная ситуация, жилое пространство — разные науки дают ей разные наименования. И подлинная революция совершается на этой арене, ради ее и только ее преобразования, поскольку ее человек может преобразовать сам. Самосознание, инициатива и чувство собственного достоинства — одновременно предварительные условия, средства и цель этой революции.

Куда это может повести?

Осуществимо ли то, что предполагает Шумахер? Можно ли вернуться к мелкомасштабной и экологически чистой технологии? Возможна ли децентрализация общества, которое так далеко уже зашло по пути централизации?

Программу Шумахера можно обсуждать в плане исторической логики, фактической истории и социологии.

В плане логики вопрос стоит так: можно ли повернуть прогресс вспять? Однако концепция Шумахера построена и изложена

так, что снимает этот вопрос. Шумахер настойчиво повторяет, что речь идет не о возврате, а о дальнейшем движении вперед, содержащем в себе элементы возврата.

Далее Шумахер ставит вопрос не в категориях возможности. Что значит — возможно или невозможно? Нужно! — вот и все. Шумахер предлагает д о к т р и н у. Кто ее не разделяет, пусть выдвигает свою.

В плане фактической истории возникают два вопроса: (1) вопрос о прецедентах и (2) вопрос о том, не противоречит ли представление о необходимости создавать будущее своими руками так называемым “объективным законам истории”.

Прецеденты были. Нынешняя индустриальная цивилизация — результат совсем недавней культурной революции, начавшейся с Реформации в Европе. Как показал Макс Вебер, происшедшая в Европе культурная революция отнюдь не была судьбой человечества. В ней огромную роль сыграл волевой элемент, сознательное конструирование новой системы ценностей.

Именно это вынуждает нас очень осторожно говорить об “объективных” законах развития общества. Эти законы не вполне ясны, а также совершенно не ясно, насколько вообще неизбежен путь, по которому мы идем в каждый данный момент, и не содержится ли в каждом историческом состоянии несколько вариантов развития.

Вообще спор о возможном и невозможном в истории вряд ли может быть разрешен на словах. Он решается на деле, а как — обнаруживается только задним числом. Произойдет ли культурная революция, которой хочет Шумахер? Е с л и п р о и з о й д е т, т о п р о и з о й д е т. Таков, вероятно, наиболее содержательный ответ, который мы можем дать на этот вопрос.

Наиболее жгучим представляется вопрос о культурной революции в плане социологии. В этом плане встает вопрос о силах, заинтересованных и незаинтересованных в культурном перевороте.

Помимо групп, заинтересованных в статус-кво по причине своего привилегированного положения, существуют и такие, которые держатся за существующий порядок просто потому, что от него зависит их выживание на уровне стандарта.

Это — так называемые средние слои. Доходы их колеблются вокруг среднего, что и дает основание называть их “средними”. Но с точки зрения культурной революции важны как раз не их доходы, а то, что само их существование зависит от нынешней

технологической и организационной структуры. Поэтому у них есть сильный интерес утверждать, что установившийся порядок необходим, естествен, исторически логичен, отвечает человеческой природе. И поэтому он не должен и не может быть изменен. Именно этот слой будет больше всего кричать об "утопичности" Шумахера. Именно с их стороны следует ожидать идеологического саботажа культурной революции, а если понадобится — то и саботажа действием.

Если вдуматься, ничего странного в этом нет. Средний специалист — ключевая фигура в крупномасштабной производственной организации. Средний интеллект — ключевая фигура в промышленности, производящей "духовные ценности". Для него отказ от данной культуры означает отказ от источника существования (зарплаты) и от того морального удовлетворения, которое он получает от служения определенным ценностям, что придает якобы трансцендентальный смысл всему его существованию. В любом обществе средние слои — главные носители ценностей этого общества и поэтому основа его стабильности.

Итак, программа Шумахера противоречит интересам очень значительной и очень влиятельной части населения. И если мы хотим оценить шансы на успех культурной революции, мы должны оценить готовность и способность этой части населения к сопротивлению.

Я думаю, что сопротивление будет отчаянным и борьба жестокой. Борьба уже идет — правда, в основном с помощью пропаганды, в сфере образования, воспитания, а также в сфере экономической политики. Усиленно распространяется ряд мифов. Среди них — запугивающий миф о всемогуществе всеобъемлющих контролирующих систем (миф о всемогуществе КГБ в СССР — один из его вариантов), миф о бессилии личности. Пока эта пропаганда довольно успешна. Однако некоторые тенденции говорят о том, что конфликт между двумя культурами может обостриться в очень близком будущем. И прежде всего благодаря неуклонному росту тех групп населения, чьи интересы оказываются ущемленными индустриальной системой. Это — растущие массы экспроприированного населения в Третьем мире. Это — люди, неспособные "вписаться" в организованное сверху общество*. Природа их неспособ-

* Фигура "органического аутсайдера" (как когда-то — "лишнего человека" в русской литературе) все больше поднимается на щит "идеалистически"

ности не вполне ясна, но эта неспособность может оказаться и фундаментальной, то есть связанной с психическим типом личности.

В заключение отметим еще одно обстоятельство. Шумахер очень настойчиво повторяет, что предполагаемые им изменения требуют значительной интеллектуальной и психической работы над собой. Смена культур может быть только результатом сознательного выбора. В то же время он сам отмечает, что выбор может осуществляться и чисто реактивно, как стихийная реакция на кризисы. Примерами могут служить известные сдвиги в сторону "малых организационных форм" в самых различных сферах. Те же тенденции можно заметить и в сфере геополитики. Это — распад крупных империй (несколько задержался СССР, на что есть особые причины), новый расцвет федерализма, сепаратизма во всех странах, включая европейские. Наряду с несколькими сверхдержавами в мире существует множество малых стран, причем большинство из них отнюдь не пережитки прошлого, а возникли у нас на глазах. Политические усилия кругов, заинтересованных в их тесной интеграции, явно остаются безуспешными. Деление мира на большие и малые страны становится столь же существенным, как деление на Запад и Восток, на индустриальный и Третий мир, на Советский и Свободный мир. Децентрализация на глазах становится ведущей исторической тенденцией после почти четырехсот лет (в контексте иудео-христианства) бесспорного господства идеи централизации. Можно думать, что в ней основное содержание нашей эпохи.

Слово "община" висит в воздухе. Общество — немасштабная абстракция. В быту этой абстракции может соответствовать только община. Община — бесспорная экзистенциальная реальность, потому что она и есть форма экзистенции личности. Все ее участники могут потрогать друг друга рукой. Она имеет параметры, как дом, в котором мы живем. Сейчас только идея общины может быть результативно противопоставлена утопиям империализма и даже национализма, хотя в некоторых вариантах национализма общинный дух весьма силен. Человек — существо общинное. И мир — тоже существо общинное, если он вообще существо, а не просто "функциональная структура", как того хотели бы некоторые "инженеры человеческих душ".

настроенной интеллигенцией (С. Беллоу, Д. Сэллинджер) и по привлекательности успешно конкурирует с героем "Индустриальной саги", упорно создаваемой массовой американской или советской беллетристикой.

ЛЮДИ И КНИГИ

Владимир Тарасов

О НОВЫХ ГОЛОСАХ И СТАРЫХ ПЕСНЯХ

“Вчера меня перивели в четвертый класс”.

Разрешите пожаловаться..

Если перестать резвиться и сменить декорации, то — искусство есть форма познания. С другой стороны, присущее человеческой природе бытия, оно не целиком принадлежит идеальной сфере и в качестве материала не брезгует дарами жизни, точнее — реального мира, действительности... Не спеши кривить губы, мой друг, я не намерен становиться в позу резонера и требовать воцарения порядка и, так сказать, трезвости — наоборот, я скорее сторонник шабаша, — но не слишком ли нам легко дается морочить голову? Нам — это тем, кто любит посудачить о “великих” литературах.

Здесь желательно включиться.

Не так давно одна поэтесса в форме “я тоже так думаю” (Мила мне самобытность мысли!..) выразила уверенность в отсутствии новых голосов на русском Парнасе. А тем временем кто-то походя обронил, что прошлое апробировано.

Секундочку, что за ребусы!

Допустим — трудновато уследить за сегодняшним положением дел. Но оставим о “сегодня” — кому имя Андрея Белого ныне незнакомо?! О нем толкуют как о предтече структурализма (нам, однако, на следующей). О теоретике символизма А. Белом знает каждый третий, и, конечно же, Белый-романист, автор “Петербурга” (протяжное н-н-да!), “Серебряного голубя” (пожимание плечами) известен всем. Одно забыли. О поэте. Как будто кроме незначительных “Стихов о России” ничего и не было. Я слегка преувеличиваю, но только для того, чтобы акцентировать твое, читатель, внимание. Появление первых его сборников вызвало в свое время некоторый резонанс в литературной жизни обеих столиц, тем не менее создается впечатление, что поэзия Белого — эти каскады трелей, свиста, рокота, назойливых жужжаний, зудений — этот пронзительный голос исковерканной жизни был заглушен; Белого заслонили Ахматова, Брюсов, Волошин — можно продлить список, в алфавитном порядке. Но будучи верным поклонником закона случайных совпадений, я рискну пойти на кое-какие обобщения.

Поздняя (“Звезда”, “После разлуки” особенно и несобранная), в неповторимых своих чертах гениальная (о, не дарю и не разбрасываюсь — он достоин не меньше переливающих свои слезы из рюмки в стакан) поэзия Белого была не замечена или, чуть тише, невнимательно прочитана (перечитана) вполне не случайно...

Наша “какая-то” литература при любой, как ни странно, погоде и в любом контексте непонятым макаром становится синонимом совести. Вообще, надо заметить, это не доминирующее мнение, но бытующее, как правило, в интеллигентных кругах: русская литература и ее “демократическая” ветвь — суть одно. И хочется оно того или нет, о бесконечной экспл-

атации у нас одной и той же темы в разных вариациях — темы России, — об этой непрекращающейся торговле “совестью”, о постоянном размене нашей словесности на гривенники, хоть и поздновато, но стоит побеседовать.

Как можно заикаться о масштабах — вообще: о чем-то — если мы по сей день доглядываем кости вековой похлебки? Последние годы, правда, происходит некоторый сдвиг, но в принципе ситуация не изменилась. Мы продолжаем набивать себе цену, стучим кулачками в свою впалую грудь, вопим о свободе, а было — бились в искренней истерике... Мы вспоминаем, нам нужно иметь врага (престол, Кремль, прошлое, красное, желтое и т. д.), ибо по своей рабской привычке мы обязаны кому-то себя противопоставить. Ах, вот оно что — те самые мы не оглядываться не научились, жуем все то же сено, уверенные в его волшебных свойствах. Смешно?.. Зато о мировой русской литературе, обо всем, где мы шире, выше, глубже — об этом запросто, заранее сомневаясь в чем-либо превосходстве... И впрямь, приходится перебиваться с пошленьких припевов каких-то песенок (один прозаик умудрился целый роман из них составить — самое интересное, что это оценили!) на не менее пошлое салонное вторчество, следствие стиховарения. Да сколько можно этим заниматься! Какое имеют отношение всяческие “долги” и “установки” к искусству? Если наша литература такова, то она захолустна, хуже того, — приходится действительно оплакивать судьбу русского языка, доставшегося косноязычным. Не говоря о том, что России, ловящей каждое произнесенное в эмиграции слово, стыдно в глаза взглянуть. Ведь подвиг не только в документировании и регистрации свидетельств “из жизни” в черную эпоху — это проделано достаточно убедительно, не без тенденций, но тенденций оправданных, я бы сказал — аввакумовского характера — нашлись летописцы, хвала Всепомнящему! Но перед нами теперь (повторяли все, кому не лень!) задача куда ответственной: нащупать связь с живой культурой и, минуя кошмарный провал десятилетий, восстановить ее! Тут волей-неволей вспоминаешь о Набокове — убежден, что он чувствовал себя одиночкой в этом деле — ведь все исчезло за двадцать лет! а выжившие занимались перепевами — тяжелоатому одному такой воз тащить. Поэтому-то “на Востоке его сознания чернело слепое пятно”.

Бесценный друг! Я позволю себе наглую выходку. Для вящей убедительности. Коли сели мы в карету — надеть прокатитца!

“От этого иногда профессор-медик, профессор-юрист, профессор-историк еще бывает философом, с призванием к философствованию и философии. Но никогда этим не бывает “читающий философию профессор”. Ах, слофеса, хоть облизись! — значит Кант, Шеллинг — кто еще? — не читали лекций, да и в платоновскую академию приглашались исключительно работарговецы. Занятно. Узнаешь исконную физиономию: мы — сапожники, но и пофилософствовать можем. К чести вышеупомянутых они “этим не бывали”. А перелистни-ка: “Да супружества нет вовсе, если оно не каплет, как мирра, нежностью и благоуханием, взаимной уступчивостью, восторгом уступчивости. Вступи ты первый (или: ты первая) на коврик...” Ты конечно догадался, из какой склянки сия жидкость — слей в умывальник, к делу все это не относится...

Господа! Я вас никуда не зову, можете сидеть на месте. Я просто вспомнил притчу о бесплодной смоковнице, “а день был пыльный, и путь был долог” — лет десять назад я думал, что Иисус на редкость жестоко и несправедливо обошелся с бедным деревом. Сегодня я уверен в обратном: “Падающего — толкни”. Если ветвь обратилась в сук, ее отрубают — дай другим расти. Сферы эстетики и служения “на благо” не имеют общего

множества. Вторая половина 19-го столетия — разве не урок? Пора бы, пожалуй, отказаться от возведения епифановских шлюзов — река отыщет себе русло. И не надо ради этого подавать нам Петербург в портретах — можно руку сломать — как белые в Крыму.

Но вернемся, вернемся, а то мы чересчур увлеклись. Итак, о новых временах, об Андрее Белом.

Да, Белого забыли. И знали-то его по первым трем сборникам. Почему? Хотелось бы покопаться.

Здесь неуместно анализировать обстановку, сложившуюся в кругах интеллектуальной элиты России начала 900-х, но атмосферу тех лет можно с полным основанием охарактеризовать как экстатическое состояние умов, неожиданно открывших солнце. “Золото в лазури” — гимн прозелита. Еще неокрепший символизм принял эту юношескую книгу живых, свободных, подчас игривых стихов, как свою. Любопытно, что “Золото в лазури”, наиболее экспериментальная из трех книг, считается наименее удавшейся. Думается, все же, — необычная тональность книги, ее красочная щедрость и смелые ритмы искупают отдельные промахи “по молодости лет”. Как бы там ни было, опытная часть “Золота в лазури” сравнительно легко доступна. В еще большей степени это относится ко второму сборнику. Поиски нового в “Пепле” сводились к своеобразной обработке старого, закалки 60-ых. Читателю было нетрудно справляться с такими “новыми” стихами, лестно — узнавать родные пейзажи, подкупала и фольклорная форма, да и ритмически “Пепел” гораздо беднее. Но самое главное — автор оставался яеон традициии, книга посвящена памяти Некрасова, Россия — одна из центральных тем “Пепла”. “Урна”, в свою очередь, — детище несомненно большого художника — формально еще более традиционна — это поэтический стиль, к которому все давно привыкли, стиль Золотого Века с правкой на символизм.

Со временем, однако, почерк Белого меняется. С пейзажной манией покончено. С разночинно-демократическими забавами — тоже. Не отделяясь себевторением, Белый продолжает доискиваться. Вырастает значение интонации. Он интенсивней работает со звуком. Звук в чистом виде — вот что занимало его больше всего в один из периодов. Кстати, тут самое время напомнить читателям, что прежде чем заселить остров, его надо открыть — многие почему-то забывают о подобных вещах — иначе я не могу объяснить спокойного, сытого невнимания к сказкам из “Королевы и рыцарей” или, например, к чудесным безделкам — танкам из “Звезды” (это не “поиски” — это находки); следствием такой забывчивости являются общие, совершенно безответственные, с покровительственной снисходительностью брошенные заявления, вроде такого: можно считать неудавшейся. К сожалению, в мои задачи не входит анализ творчества Белого, ограничусь пока одной цитатой из необыкновенной книги, из “Глоссалолии”, поэмы о звуке: “Умение прочитывать звук — только первый намек на язык языков”.

В лучшей книге стихов — “После разлуки” — интонации приобретают характер неясных, прорывающих пленку забытья воспоминаний, полубреда. Этот болезненный фон только подчеркивает ненаигранную трагичность сути ее. “После разлуки” называли “поэтическим крушением”, отождествляя поэтическое — с крушением человеческой судьбы. Словотворчество Белого принципиально отлично от хлебниковского, акцент на этом не делался — только в случаях необходимости, музыкальной необходимости Белый идет на подобное — в конечном счете, это не словотворчество, а звукословие, как он сам же и обмолвился в “Глоссалолии”, — и находки

его просто поразительны! Звук несет уже смысловую нагрузку, обретает форму и плотность. Бессмыслица становится ядром эмоционального напряжения, глубины бытия, утерянной для нас, неправда ли, непридуманной души — оживают!..

Не рискуя властью в субъективизм, скажу — Белый, как никто, проник в тайны языка. Недавно зашла было речь о стирании грани между прозой и поэзией в современном искусстве слова. Белый прорвал эту границу в обоих направлениях — целые страницы “Петербурга” — неосознанный полет: слышишь музыку речи — поэт назвал ее мимикой утраченного содержания в предисловии к “Поэме о звуке”. В той же мере это касается его стихов — по прочтении “После разлуки” обычные представления о рамках искусства поэзии теряют под собой почву. Заклинание звуком — слишком скользкая тема, чтобы толковать о ее традиционности: тут не до границ. Не могу не привести здесь начало стихотворения *Развалы* из книги “Звезда”:

Есть в лете что-то роковое, злое...

И в вое злой зимы...

Волнение, кипение мирское!

Плененные умы!

Этот пример нащупывания нужной ноты характерен для творчества Белого — неустанное новаторство было присуще ему как качество, как свойство души. А вот еще:

Все ушло —

Далеко —

— Все — иное:

Не то, —

О, легко мне,

Легко —

— Все — иное,

Не то, —

он тянется, перебирает, пробует, отбрасывает:

— Забылось —

Давно:

Изменилось —

— Иное:

Не

То!

Потому что, —

— Поверь —

— Потому что —

— Я —

— Нем

Теперь!

Стихи Белого слушаешь, как в состоянии затяжного транса, этот гипноз вряд ли с чем сравним, но:

Значит, так суждено:

Были

Ли,

Или

Нет —

Забыли?

как он бормотал, стонал, вскрикивал в непостижимо живом автопортрете “Маленький балаганчик на маленькой планете Земля”, где, кажется, он предстает “из немутительной духовной глубины” — на столе проступают

полусогнутые пальцы, запястье, шерстяной рукав свитера., уже виден блестящий напряженный лоб, седеющие брови, глаза — взгляд скорее в себя, чем куда-то...

Как уже говорилось, в цели этой статьи не входит разбор творчества Пленного Духа. Если ты заинтересован, то разыщешь его стихи.

А мне хочется поразмышлять на более общие темы, да и должок я свой не забыл.

Неизменной шкалы ценностей еще не сочинили, приходится констатировать. И все, что связано с вопросом о стоимости, так или иначе относится к области предпочтений. Но если раньше о вкусах не спорили, то нынче — да! Ибо вкус есть интеллектуальная позиция — или должен стать таковой. Оценка прошлого есть измена традициям, общепринятым взглядам. В силу эклектичности культуры осмелюсь назвать это законом: еще Леонтьев видел в развитии культуры процесс становления живого организма со всем, что отсюда следует... Да, — я говорю о свободе. О той неслышанной свободе, с которой заговорила о себе литература в начале века, — и мечтаю о подобной. Я говорю о поисках нового. И еще о том, что новых "форм" (от — формочек) не бывает, ибо истинная новизна неразрывна с отличным от старого мировосприятием, проще — с новым содержанием. Я говорю о том, что воссоздание связи сегодняшнего, еще не сформировавшегося, со вчерашним не имеет ничего общего с *реставрацией* прошлого. Дерево не должно окостенеть — я готов прокричать это! Старые формы живы в лучших образцах, но молодое вино в мехах б/у скисает. Хватит торных дорожек, не стоит путать живые интонации с подновленными.

Но пришлось затронуть вопрос эклектичности культуры. В нашем случае, когда речь идет о словесном искусстве, "эклектичность" (термин не из удачных, признаться) сводится к проблеме словаря, — а не смешения стилей, как могут подумать, — качества его подбора. Разумеется, здесь следует соблюдать осторожность, ведь каждое слово имеет свой удельный вес, помимо прочих характеристик. И все же — чем шире границы словаря и разнородней его состав, тем метафоричней действие, более того — тем скорее эпитет становится метафорой. И тут я возвращаюсь к высказанному Мандельштамом — правда, только высказанному — к началу Белым, в немалой степени Цветаевой и где-то Бальмонтом — к безобразной поэзии. Справедливости ради отметим, что и Александр Сергеевич тоже заглянул сюда: см. позднюю любовную лирику. Доказывать право на жизнь бесплотной (ведь образ — плоть) поэзии я не собираюсь — за меня это сделала космология, а такое лечение — светом и воздухом — перенаселенной предметами "больной" представляется мне необходимым на сегодняшний день. Но возникает одна загвоздка. Рифма. Рифма сковывает пространство стиха. На пути к рифме приходится, подчас, взламывать все ранее сказанное (или повторять, что неинтересно). Надо сказать, эта работа продана блестяще в современной русской поэзии. Вымеренная, безжалостная, подчас нарочитая ироничность нового прочтения от старых интонаций ничего не оставила. Но создается впечатление, что мы среди руин. На обломки можно полюбоваться, ну — и уйти. А что если отказаться от постоянной спутницы? Ведь можно довольствоваться и случайной улыбкой, я бы сказал — легкими, ни к чему не обязывающими попаданиями. А последние изыскания показали не необходимость в рифме. Да и стихи живы не рифмой, а ритмом.

Не жди, однако, читатель, что я всуну тебе ключи от будущего, но вглядываясь в его черты, сдается мне, вижу что-то знакомое — узнаю, да, узнаю...

Тут, возможно, не мешает задуматься о пресловутом новом прочтении.

Последние годы у нас все чаще и чаще поминают Золотой Век. То, что аналогичное происходит в СССР — понятно, ведь Поэт еще при царе-Горохе пришел за советом к пролетарию Онегину. Но и в эмиграции мы расплачиваемся теми же векселями — неужто обанкротились? От кредиторов не отвяжешься, отбредившись одним и тем же, — тут я вам гарантию даю. Или же — раз и навсегда: Россия была, давно нету, мы пишем по-китайски. Но в то же время — не удивительно ли! — русская литература начала этого столетия (или первой трети, не принципиально) подчинила себе такие дали, о существовании которых наши почтенные предки и не подозревали. Не следует делать вывода, однако, что пора скормить золото барракудам — мы не настолько богаты. Я о другом — о том, что завоеванное нам еще не удалось освоить, а мы тем не менее брезгуем сырьем — не слишком ли самонадеянно? Для нас ведь заготовлено. Выше мы уже обмолвились насчет “реставрации”, и об окостенении тож.

Но почему же самое драгоценное, что завещала русской литературе Цветаева — дерзость — до сих пор в загоне? Потому что автор боится стать проводником читателя в собственный мир? Потому что он хочет быть, ну, не совсем, но все-таки — похожим на других? Потому что он хочет быть понятным? Да-да, он разжевывает, чтобы читатель благосклонно принял пищу: доступней, мол. Ха! После всего накопленного мы остаемся на поводу у неприметной простоты? А ведь ее не купишь, простоту-то. Простота — серости не сестра. Не стоит упрощать — дороговато обходится. И так долго питались “искренне” скупыми слезами, “скромным” желанием автора остаться в тени (высший знак внимания к собственной персоне), “совестливыми” вопрошаниями и “горькими” восклицаниями о судьбах того-сего и пр., — не хочу повторяться; но не миновать мне этот закуток: совесть — враг искусства. Беспощадный. Пастернака она выставила на посмешище. Интеллигентствование извратило литературу. И еще отнюдь не выяснено, кем ты можешь не быть и кем — обязан, глядя в очи Фебу. Ну, а ежели жизнь бессмысленна, то подыщи крюк покрепче — я же, пока, надеюсь потоптать эту брентную землю: из чистого любопытства — а может и тебе лю-бо-пыт-но?..

Да простится мне, нелегкая занесла, толковали мы о литературной совести, — ан-нет, мы вернулись к месту отскока!

Буквально пару месяцев назад был по-настоящему замечен роман Волохонского... Чтобы поэта не проглядели, надо роман похоронить. Кстати, несомненным индикатором внимания к происходящему в литературе является отношение критики к современной поэзии. Только не рассказывайте мне о якобы “прозаических” нынешних временах. Любые времена — прозаические, особенно, если того желаешь. Но неважно, ведь речь не о прозе.

Здесь мы уже касались теоретической стороны дела. Вспомним. Формально, творение поэта — его язык. Новое — это опыт, эксперимент или же оценка имеющего быть на складах. Оговорюсь — подобное утверждение не претендует на полноту истины, но в данном случае нам больше и не надо. Игра является интегральной частью в области изобретений. Но промашки против предсказуемого (на всех уровнях) — не просто забава, а расширение границ действия, пусть даже осознанное — дела это не меняет. В этом направлении немало работал Хлебников, но мне кажется, изъяснялся он еще как дикарь, больше знаками, поиск его — поиск новых смысловых ходов, т.е. задача ставилась на уровне смысловых решений. Это был неслыханный эксперимент, частично, по крайней мере, удавшийся: Хлебников озадачил. Ни тени иронии, коллега. Не всякий сможет — озадачить. У Волохон-

ского же читателю предоставлено больше прав, в первую очередь — право оценки: самому отбросив, — докопаться. Такое очищение помогает восприятию основного. И как ни удивительно — возникает целое! Кажущаяся бессмыслица — фон — только подчеркивает главное, приобретая и свое значение, как неотъемлемая часть целого. В то же время, работая не меньше со звуком Волохонский продолжает линию Белого. “Венок Серебряному Веку” — одна из вершин его творчества*. Неопишное в рамках “понятийного изображения” доступно звуковому. “Звук безобразен, беспонятен, но — осмыслен”, — говорил мэтр в “Глоссалолии”. Поэзия одним смыслом не живет.

Книге Генделева “Послания к лемурам” тоже не очень повезло. В европах она удостоилась водянистой, скромно-опасливой похвалы. Но хвала Аллаху: в палестинах ее почитывают. Да и Геннадий Айги к “старым” голосам вроде не бывал причислен: французы прочли раньше соотечественников. В его прозрачных стихах иногда одной строкой создается неуловимо-хрупкое настроение, причем без искусственного подогрева, без нагнетания. Не всем дано!

А теперь, внимательный читатель, — я разве что-то обещал? — и не открою ничего, —

Потому что мне скучно — везде...
Потому что сказка — изумрудная,
Где —
Все — иное...
Потому что так хочется в брызнь
Утех;
Потому что: трудная
Жизнь
У всех —
— С одною развязкою...

Поэзия наивна. Чистота — вот в чем секрет обаяния бессмертных вещей. Мир, загадочный и непонятный, но отраженный в чистом, беспримесном виде — самоценен. И неисчерпаем. Наивность — один из самых точных синонимов красоты... Ведь ты помнишь, кому открыты врата Царства...

Какая наивность — жить в мире таких представлений! Но что может быть прекрасней жизни иллюзиями?!

А?

Осень 1983

* Статье этой без малого год, с тех пор вышла в свет книга стихов Волохонского, несомненно стоящая большего внимания.

НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ

*(интервью с литературным редактором журнала "Народ и земля"
Наталией Рубинштейн; "Народ и земля", № 1, Изд-во "Тарбут"
и литфонд им. Бялика, Иерусалим, 1984).*

– Вышел в свет первый номер Вашего журнала. Помните, несколько лет назад "Тарбут" уже издавал журнал под тем же названием. Нынешнее издание – действительно новый журнал или возобновление старого?

– Если вы имеете в виду дайджест израильской прессы "Земля и народ", то определенная связь, конечно, есть, ибо наш журнал стремится, среди прочего, дать читателю и представление о литературе и культуре современного Израиля. Но куда более глубокой является его связь с выходившими в еврейском Самиздате в 70-е гг. сборниками "Тарбут" ("Культура"). "Народ и земля" вырос из московского "Тарбута" в той же мере, в какой "22" – из самиздатского журнала "Евреи в СССР". Я не принимала участия в этом Самиздате, но в Израиле работала во всех больших литературных журналах на русском языке: "Сион", "Время и мы", "22" и вот сейчас "Народ и земля" – и мне повезло стать свидетельницей удивительного процесса: на моих глазах разрозненные листочки для подпольного шепеления становились книгой, рискованное дело Самиздата оборачивалось профессией, "Эрику" с ее знаменитыми "четырьмя копиями" сменили комп-эзеры с компьютерами – иными словами, нелегальная форма жизни, перенесенная в нормальные условия, получила нормальное развитие...

– Итак, это – "старый новый журнал". Как же он выглядит, что в первом номере, что в портфеле, на кого рассчитан?

– По одежде, как известно, встречают, поэтому начну с вида. Вид у журнала богатый: гляцевая обложка, хорошая бумага, прошитые, а не клеенные страницы. Множество иллюстраций в тексте, 16 цветных вкладок (любезно предоставленных журналом "Ариэль"), тщательно подобранные шрифты рубрик и заголовков – тут журналу повезло с оформителем, Ирэной Бат-Цви (кстати, она выступает и как один из авторов, сопровождая своей графикой сценарий Михаила Калика "Король Матиуш и Старый Доктор"). Из России, вот из того нашего самиздатского прошлого, мы вынесли убеждение, что главное – это слово, и стремились набить наши здешние журналы до упора, хоть петитом. Сегодня что-то изменилось в нашем подходе. Начальный лютый голод на высказывание отчасти удовлетворен. И хочется выглядеть красиво, не дилетантски, не "эмигрантски". Издатель и главный редактор нашего журнала Феликс Дектор (один из основателей московского "Тарбута") стремился создать как раз такое издание: солидно, представительное, достойно возрождающее еврейские просветительские традиции. В журнале 256 страниц формата советского "Искусство кино", много разделов – проза и поэзия; экран и сцена; воспоминания; хроника; публицистика, книги и мнения и другие. Но он еще не имеет жесткой, окончательно сложившейся структуры. Будут новые идеи – появятся и новые разделы: мы надеемся, что он сохранит гибкость, т. е. способность к развитию. В первом номере читатель найдет новый роман Ицхака Мерава и уже упоминавшийся сценарий Калика, это основной материал "для

чтения". Современная израильская литература представлена рассказом Давида Шахара. Вл. Глозман и Яков Брагинский перевели с иврита стихи поэта 30-х гг. Давида Фогеля (в дальнейшем мы планируем создать свою "антологию ивритской поэзии"). В следующем номере начнется печатание романа Бернарда Маламуда "Милость Господа Бога", уже переведен известный роман Ромэна Гари (Ажара) "Вся жизнь перед тобой" (в СССР семь переводчиков добивались разрешения его перевести, и всем семерым было отказано), главы из американского бестселлера Д. Томаса "Белая гостиница". Мы надеемся, что среди авторов журнала будут и Нобелевский лауреат Элиас Канетти, мало известный нашей публике, и Кафка, и Пруст. Короче, мы разыскиваем авторов на всем пространстве еврейской культуры, в отношениях с которой у русского еврейства была вынужденная пауза размером в семь десятилетий...

– *Вот прозвучало, наконец, то слово, что стоит в подзаголовке журнала: еврейская культура – и мне хотелось бы услышать, что вы понимаете под этим: словесную культуру, созданную евреями, или же словесную культуру, так или иначе затрагивающую проблемы еврейского существования?*

– Я не думаю, что стоит искать жестких определений. Речь идет о культуре, творимой еврейским сознанием, о еврейском вкладе в мировую культуру, равно как и о тех произведениях, что затрагивают сложные и порой болезненные отношения авторов с их еврейством. Нам важна причастность произведения к "еврейскому кругу" в любом из этих аспектов.

– *Стремление привлечь читателя известными именами мне понятно. Непонятно другое: сосредоточившись на еврейском вкладе в общечеловеческую культуру, не рискуете ли вы "размыть" представление о специфике именно еврейской культуры, которой намерены себя посвятить? Боюсь, что при замахе "от Ибн-Гвироля до Пруста" читатель не узнает, каковы национально-исторические особенности собственно "еврейской цивилизации" (как ее определил когда-то М. Каплан)...*

– Такая опасность действительно имеет место, и мы ее сознаем. Но преодолеть ее можно только в процессе работы. Одно, мне думается, ясно: если мы будем брать писателя "на изломе", где он соприкасается с еврейской темой, еврейским сознанием, то мы как бы и очертим эти границы еврейской культуры в ее специфичности.

– *В таком случае потребует параллельно объяснять читателю эту границу, понадобится большой раздел, посвященный осмыслению затрагиваемых вами явлений культуры...*

– Несомненно. В этом плане удача первого номера – статья Мих. Вайскопфа "Сюжет Пятикнижия". В том же плане – намеченная на следующие номера серия статей Майи Каганской "Необыкновенный фашизм", посвященная русскому национализму. Есть однако две темы, столь частые в еврейской периодике, что по отношению к ним хотелось бы проявить известную осторожность – антисемитизм и Катастрофа...

– *Однако в первом номере эти темы как раз преобладают, занимают чуть ли не все 256 страниц! Катастрофа представлена в романе Мераса и в сценарии Калика, больше и читать, собственно, не о чем, а отклики на антисемитизм, всевозможные "еврейские жалобы" и претензии – почти вся*

публицистика, от "евреи – создатели русских шахмат" до "евреи – создатели всемирной цивилизации". Как же так?

– Я хочу возразить. Нам не хотелось бы отдаваться этим темам целиком. Но это не значит, что стоящее произведение должно быть отвергнуто только из-за темы. У Мераса, кстати, Катастрофа дана как травма современного еврейского сознания, она проходит фоном, типичным для этого автора. Ничего не поделаешь – это целый пласт нашего подсознания...

– *Итак, вы хотите работать "на грани" еврейского и нееврейского мира. Но еврейская культура простирается и в другую сторону – в сторону традиции, связана с ней многотысячелетней связью. Вас же, как я понял, интересует лишь нынешняя секулярная "надстройка"?*

– Да, конечно, мы не замахиваемся на создание религиозного журнала. И просто по неспособности, и потому хотя бы, что в Израиле такие журналы на русском языке уже есть. Но мы, несомненно, дадим место еврейской философии, еврейской исторической мысли: вот уже, например, подготовлен перевод статьи Я. Тальмона "История евреев в контексте всемирной истории", в которой автор спорит с Тойнби, утверждавшим, будто еврейство – это историческая окаменелость. Тут все зависит от того, найдем ли мы авторов, способных вести разговор на должном уровне...

– *На каких авторов вы рассчитываете? В Израиле их мало. Не пугает ли вас, что журнал станет переводным?*

– Посмотрите: уже в первом номере роман Мераса переведен с литовского, воспоминания Голды Меир с английского, некоторые стихи с иврита, а некоторые с польского. Современная еврейская культура говорит на всех этих языках и еще десятках впридачу (что, я надеюсь, отразится в следующих номерах). Журнал современной еврейской культуры не может не быть переводным. Это достоинство, а не недостаток...

– *А кому он адресован, кто читатель?*

– Все, кто читает по-русски, не шевеля губами. Думаю, и нееврея может заинтересовать статья Эд. Капитайкина о фильмах "Зелиг" и "Йентл" в первом номере или главы из книги Шимона Маркиша о Вас. Гроссмане во втором. Но больше всего мы хотели бы, чтобы нас читали в России, как когда-то "Тарбут". Я вспоминаю, как однажды встретила в Израиле женщину из Таллина, и она рассказала, что выбрать Израиль их заставил попавшийся им номер журнала "22" с поэмой Анри Волохонского: если "там" печатают Волохонского – значит ехать нужно именно "туда". Так что мы порой сами не знаем, как "наше слово отзовется". И поэтому надеемся, что и наш новый израильский журнал, каким мы его задумали, быть может, покажет еще кому-нибудь в России, что в Израиль "стоит" ехать. И тогда окажется, что это и было нашей целью, что в поисках еврейской культуры мы обрели самих себя.

Интервьюировал Н. Нудельман.

Шимон Маркиш

О ЕВРЕЙСКОЙ НЕНАВИСТИ К РОССИИ

Журнал "Вестник русского христианского движения", выходящий в Париже по-русски, напечатал в № 141 (май 1984) "в порядке дискуссий" статью Зинаиды Шаховской "Евреи и Россия" с подзаголовком: "На опасные темы". Автор сравнивает последнюю волну эмиграции из Советского Союза с русской эмиграцией 20-х годов и с горестным недоумением отмечает, что евреи той, давней эмиграции "оказались глубоко привязанными к обидевшей их России", тогда как часть новых эмигрантов-евреев выступает "обличителями на Западе не так марксизма, как России и русских". Приведя, дабы не быть голословной, примеры такого обличительства, Шаховская высказывает предположение, что враждебность к русским со стороны некоторых советских евреев на Западе объясняется их невежеством: они знают лишь о погромах, но плохо представляют себе "существование русских и евреев в России", т. е. в России императорской, дореволюционной. Восполнить этот пробел она и берется, не скрывая, впрочем: "Сознаюсь, мало что знаю и я, но все же кое-что прочла для этой статьи, которая не претендует быть исследованием". Далее на пяти с половиной страницах дается обзор истории евреев на территории бывшей Российской империи со времен Киевской Руси до 30-х годов текущего столетия с особым упором на успехи, достигнутые крещеными евреями и их потомством. Вина за антисемитизм в СССР возлагается на самих евреев, которые восстановили против себя "население" непропорционально большим участием в революции на большевистской стороне, а позже – в партийной и государственной администрации. Весьма подробно (полторы страницы из пяти с половиной) и одобрительно автор цитирует берлинский сборник 1924 года "Россия и евреи", составители которого каялись в еврейских грехах против России, причисляя к таковым даже сочувствие февральской революции 1917 г. В заключение Шаховская благодарит участников сборника "за правдивое слово", которое русскому человеку произнести небезопасно: тут же обвиняет в антисемитизме (отсюда, очевидно, подзаголовок статьи).

Читателю, мало-мальски знакомому с русской эмигрантской периодикой, легко найти место выступлению Зинаиды Шаховской – в контексте долгой уже дискуссии между – говоря условно – националистами-консерваторами и либералами, дискуссии, принимающей временами характер совершенно непристойный (например, нападки мюнхенского журнала "Веч" на профессора Ефима Эткинда). Автор этих строк как израильский гражданин и бывший русский еврей не отождествляет себя с русской эмиграцией ни в какой мере и потому никогда в эмигрантских дискуссиях участия не принимает. И если сегодня я сажусь за машинку, то опять-таки

исключительно в качестве еврея и израильянина, но никак не стороны в русских спорах.

Шаховская признает свою недостаточную компетентность в том, что касается истории русского еврейства (к этому мы еще вернемся), но с самого начала поражает ее фантастическая неосведомленность и в том вопросе, который, казалось бы, должен быть ей известен, а именно – в положении и настроениях новейшей эмиграции. Образцы ее русофобии она почему-то ищет только в Израиле. Но ведь израильяне, не без известных оснований, полагают себя не эмигрантами или иммигрантами, а репатриантами, не беженцами из отечества, а возвращающимися на родину. Это их суждение о себе следует уважать или хотя бы принимать к сведению. Но обратимся к самим образцам. Их два. Первый – Амос Оз. Цитирую полностью:

”Мне страшно было прочесть – страшно не за Россию, а за авторов и их фантазмы – напечатанные в Израиле признания, например, ”Позднюю любовь” Амоса Оза: ”... эти фантазии приятно волнуют меня”, – признается Амос Оз. Он видит еврейские танки, сметающие восточные границы Европы. ”...Дрожит Приднестровье, Ростов, все повержено, все сметено с лица земли. Месть! Месть! Кишинев! Посмотрите, как вчерашние наши притеснители – такие сильные и рослые – поднимают руки и сдаются. Звонят колокола всех церквей!” До этого сотни еврейских танков пересекают не менее мстительно и Польшу: ”...никто не уйдет от ответа, ни литовец, ни поляк, ни украинец. Вся Россия повержена в прах. На языке моих предков шепчу: амен, амен!”

Фантазмы Шаховской нагромождены в таком изобилии, что приходится снимать слой за слоем.

1. Амос Оз – израильский писатель, пишущий на иврите и не знающий ни единого слова по-русски. Он родился в Иерусалиме в 1939 году и принадлежит к первому поколению израильских литераторов, у которого нет иных корней, помимо израильских.

2. Повесть ”Поздняя любовь” (1971) написана от первого лица. Но герой повести – не 32-летний сабра и кибуцник Амос Оз, а 68-летний старик Шрага Унгер, разъездной лектор, единственная тема которого – коммунистическая угроза еврейскому народу, Израилю и всему миру. Оз молод, здоров и крайне лево настроен. Унгер стар, тяжело болен физически и душевно (попросту говоря, помешан: страдает тяжелой манией преследования) и никаких симпатий к ”прогрессизму” не питает. Это типичнейший для всего творчества Оза герой: слабая и мирная оболочка, под которой бушуют грозные и темные разрушительные силы. Приписывать автору мысли и слова героя в этом случае такая же вопиющая бессмыслица, как утверждать, будто рассказчик из ”Дневника провинциала в Петербурге” или же ”Современной идилии” – сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин или что Поприщин из ”Записок сумасшедшего” – это сам Гоголь.

3. Но всего занятнее, пожалуй, то, что цитаты, приводимые Шаховской, – не цитаты, а монтаж из обрывков разных фраз, разбросанных на трех страницах (я сошлюсь на французский перевод, в котором, по логике вещей, должна была познакомиться с повестью Шаховская: Amos Oz, *Jusqua la mort, Nouvelles, "Calman-Lery"*, Paris, 1974, p. 176–178). Должна была, но познакомилась ли? Если она понятия не имеет, кто такой Амос Оз, зачисляет его

в недавние выходы из России, то вполне возможно, что и повесть его она видом не видывала, а "цитаты" получила из вторых рук. Из каких же? Чуть-чуть перефразируя Шаховскую, отвечу: может быть, и другие подобные сочинения печатаются в русской эмигрантской прессе, но уверен, что евреи их отыскивать не будут.

Второй и последний пример еврейской русофобии в статье Шаховской – стихи моего брата Давида Маркиша. Мой брат – известный в Израиле литератор: рабочий его язык – по-прежнему русский, но все, что он пишет, переводится на иврит; на его счету восемь книг и без счету газетных и журнальных публикаций. Поэтому мне кажется более разумным и справедливым предоставить слово ему самому. (Замечу только, что походя Шаховская оскорбляет память нашего убитого в сталинщину отца, называя его "одним из тех евреев, из-за которых антисемитизм и. развился в послереволюционной России", и клеветнически намекая, что он был партийным вождем или советским чиновником, притеснявшим русский народ; я ответил на эту клевету письмом в редакцию "Вестника русского христианского движения".)

Шаховская:

"В журнале "Сион" в 1973 году в поэме "Синий крик" Давид Маркиш пишет:

Мы ели хлеб их – но платили кровью.

Счета сохранны – но не сведены.

Мы отомстим – цветами к изголовью

Их северной страны.

И когда заглохнет "красных криков гул", Давиды Маркиши станут "у березового гроба в почетный караул".

Давид Маркиш:

Поэма "Синий крик" была мною написана в 1962 году. Год спустя она получила распространение в Прибалтике, в Еврейском самиздате. В 1964 году, в Риге, я встречал рукописные стикеры "Синего крика", текст которого значительно отличался от оригинала. Имя автора не было указано.

Самиздатский вариант поэмы (а, быть может, и варианты) попал в Израиль задолго до моего приезда сюда – вместе с другими моими стихами. Журнал "Сион" опубликовал самиздатский вариант отрывка из "Синего крика" без выверки текста и без согласования со мною. Это не должно вызывать удивления: в 1974 году, год спустя после публикации в "Сионе", библиотека "Алия" в сборнике "На одной волне. Еврейские мотивы в русской поэзии" опубликовала отрывок из того же "Синего крика". Автором отрывка значился "...поэт-неосионист Маген. Его строки, дошедшие к нам из Советского Союза (к этому времени я уже два года, как жил в Израиле. Д. М.), хорошо определяют то, что руководило нами при выборе материала. Мы слушаемся в голоса поэтов, "вещающих на одной волне" (тоже, кстати, строка из "Синего крика". Д. М.) или на смежных волнах..."

Я не вижу необходимости приводить здесь полный, оригинальный текст "Синего крика". Вот, однако, оригинал строфы, приведшей в негодование З. Шаховскую:

*Мы ели хлеб ваш – но платили кровью.
Лихая память не дает уснуть...
И скорбный плач детей, и слезы вдовы
Мы унесем – в сорокалетний путь.*

Чьей рукой сделана правка? Рукою самиздатского переписчика? Или к этому делу приложил руку "переписчик" в погонах – специалист по "работе" с еврейским Самиздатом? Второе предположение мне кажется верным – хотя бы потому, что "исправленные" строфы моей поэмы охотно цитируются штатными "специалистами" по еврейским делам в СССР.

"И когда заглохнет "красных криков гул", – пишет в своей статье З. Шаховская, – Давиды Маркиши станут "у березового гроба в почетный караул". Даже и не такой искушенный в русском языке и литературе человек, как автор статьи "Евреи и Россия", сообразил бы, что "красные крики" – это не какая-нибудь Анна Иванна из деревни Миловидово, это не Россия и не русский народ. "Красный крик" – это "Софья Власьевна", советская власть. В этом прочтении стихи звучат несколько иначе. Уразумевши, З. Шаховская, возможно и не откажется постоять у гроба "Софьи Власьевны" рядом с Давидами Маркишами. Но пусть уж княжна простит меня великодушно – прочитав ее статью "Россия и евреи", я с ней рядом не стану".

Все это Шаховская могла бы выяснить давным-давно и без всякого труда, но ее, как видно, интересовала не истина, не стихи и не Давид Маркиш, а хранение любимого камня за пазухой.

Таковы примеры. Не примеры русофобии, как их хотела представить Шаховская, но примеры ее невежества и недобросовестности.

На исторических разысканиях Зинаиды Шаховской не стоит задерживаться – настолько они легкомысленны и не подкреплены хотя бы элементарными познаниями. Я уж не говорю о том, что поэты Черняховский и Бялик писали не на идиш, как полагает Шаховская, а на иврите, что писателя Мэндела никогда не существовало, а был писатель Менделе Мойхер Сфорим (псевдоним Шолома-Якова Абрамовича); назвать его "Мэндель" – примерно то же самое, что перекрестить Максима Горького в Макса или Андрея Белого в Андрюшу. Но каким образом попадает в русский "Серебряный век" Антон Рубинштейн, который умер в 1894 году? И какое имеет отношение к тому же "веку" скульптор Габо (Наум Певзнер), проведенный в России лишь пять лет своей сознательной жизни (1917–1922)? И если Шаховская всерьез полагает, что благополучие "евреев, выбравших ассимиляцию и занявших впоследствии высокое положение", как она почему-то именует выкрестов и их потомков, что такое благополучие свидетельствует о "сосуществовании русских и евреев в России", то почему бы не считать Иоганна Пфедферкорна, "героя" "Писем темных людей", символом еврейского процветания в Германии XVI века?

Но если вступать с Шаховской в дискуссию совершенно ни к чему, то остаются несколько проблем общего характера, в которых полезно отдавать себе отчет как можно яснее.

1. Ненавидят ли бывшие российские евреи свою "старую" родину?

Евреи, изгнанные из Испании в 1492 году, клялись торжественно никогда туда не возвращаться. Но вплоть до нынешнего дня фольклор их потом-

ков, сефардов, полон гордости страную, изгнавшей их без малого полтысячелетия назад, и нежности к ней. Венгерские евреи на нарах рабочего лагеря в Освенциме пели: "О, как ты хороша, как ты прекрасна, Венгрия!.." Российское еврейство – не исключение. В этом нас убеждает не только собственный опыт, но и обобщенный коллективный опыт, воплощавшийся, по всегдашним российским традициям, в художественной литературе. Жаль, что ни одному русскому повременному изданию, ни в Израиле, ни в Европе или Америке, не пришла мысль перепечатать рассказы русско-еврейского прозаика Давида Айзмана (1869–1922) "На чужбине" (1901) или "Земляки" (1902). Я не знаю более пронзительного и прочувствованного изображения безрассудной любви к той земле, к тому народу, которые, казалось бы, сделали все, чтобы внушить ненависть к себе. Такова, вероятно, вообще психологическая ситуация эмигранта: пережитые страдания, отступая во времени, не просто теряют свою остроту, но как бы и вовсе растворяются в ностальгическом умилении. Недаром Александр Зиновьев, сперва изобразивший покинутое отечество в виде "полиса", где все и вся – дерьмо, теперь восхваляет государственную мудрость Сталина и прямо признается (интервью в "Энкаунтере", 1984, №№ 4 и 5), что чем дальше его российское минувшее, тем более розовым и радужным оно ему представляется.

Скажу откровенно: мне больше по душе позиция сионистская, позиция Зеева (Владимира) Жаботинского. В статьях 20-х годов, печатавшихся в парижском "Рассвете", он несколько раз, по разным поводам, замечал: Россия – чужая страна, наш интерес к ней – отстраненный, прохладный, хотя и не лишенный сочувствия. Впрочем и отсюда до ненависти еще очень и очень далеко.

Разумеется, возможны исключения, т. е. взрывы отчаянной, нестерпимой ненависти. Но они связаны не с происхождением, а с личной судьбой, с личными убеждениями или индивидуальным темпераментом. Ведь не еврей же был Владимир Печерин, выкрикнувший в прошлом веке:

Как сладостно отчизну ненавидеть, –
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья.

Не еврей, не инородец, не иноземец – чистопородный русак, а страшнее проклятый и представить себе невозможно.

Мне кажется, что обвинения евреев в ненависти к России восходят прямо и непосредственно к одной из деталей антисемитского шаблона, зародившегося в античной древности, развившегося в первые века христианства и сложившегося окончательно во время и сразу после крестовых походов. Деталь эта – мнимая еврейская ненависть к иностранцам или иноверцам; ко всему роду человеческого, в конечном счете. Антисемитизм нового времени, от Вольтера и Гольбаха до "Протоколов сионских мудрецов", национал-социализма и советско-арабского антисионизма, неизменно выводит эту деталь на первый план. При упорной живучести стереотипов в коллективной, или, если угодно, национальной психологии неудивительно, что они всплывают на поверхность иной раз и безотчетно, не сознавая, если можно так выразиться, своей генеалогии. Но надо знать им настоящую цену. "Еврейская ненависть к России" (даже при оговорках типа: не все

евреи, меньшинство их и т. п.) стоит не больше, чем "кровь христианских младенцев в пасхальных опресноках, или "еврей-отравители колодцев", или "врачи-убийцы", или же – чтобы выйти за пределы антисемитской мифологии – коварство англичан, тупость немцев, лень и нечистоплотность французов. Или же лелеемые марксизмом-ленинизмом социальные мифы: алчный капиталист, хищный колонизатор, косность и тупость крестьянства ("идиотизм сельской жизни").

2. Вина ли Россия перед евреями, или так уж ли худо жилось евреям в старой России?

Я решительно отвергаю мысль о коллективной вине и коллективной ответственности наций или общественных групп, но не могу не задать первой половины своего вопроса, потому что он поставлен в более общем виде Солженицыным (статья "Раскаяние и самоограничение" в парижском сборнике 1974 года "Из-под глыб"), а Солженицын играет исключительной важности роль в нынешней эмиграции и в становлении нового русского национального сознания. Итак, Солженицын не включает евреев в примерный список тех, перед кем русский народ повинен и кому обязан раскаянием: очевидно, российский и советский антисемитизм не кажутся ему достаточной причиной для покаянных раздумий. Вслед за Солженицыным раздаются и другие голоса, изустно и печатно напоминающие, что "царская Россия – тюрьма народов" выдумана большевиками и что евреи в Российской империи жили если и не совсем вольготно, то все же довольно прилично и уж во всяком случае много лучше, чем после октября 1917: беспрепятственно отправляли свои религиозные потребности, имели свои организации и печатные органы, свободно уезжали из страны и возвращались в нее, иные богатели, иные поднимались к высотам культуры и образованности.

Повторяю: я не жду от русского народа национального раскаяния, потому что всем упоминаниям о "грехах отцов", встречающимся в Писании, предпочитаю как руководство к жизни и нерушимый фундамент справедливости 18-ую главу Иезекииля – манифест индивидуальной ответственности, отвергающий мораль каменного века: "Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина". Но сами поборники русского национального сознания в эмиграции и в СССР ратуют за возрождение исторической памяти народа, за восстановление исторической истины, искаженной пропагандистскою ложью. А между тем, замалчивая еврейские муки и вырывая черные страницы из собственного прошлого, они поступают совершенно так же, как ненавистные им коммунистические фальсификаторы. Я не стану напоминать о том, что вынес наш народ с тех пор, как попал под высокую руку российских семодержцев. Даже если вычсть из этого почти двухсотлетнего опыта погромы, останется еще больше, чем достаточно. И нам никак нельзя забывать ни николаевскую солдатчину, ни кантонистов, "ловчиков" и "пойманников", ни унижений и невероятной нищеты "черты", ни бесчисленных "временных правил", распоряжений, циркуляров, приказов, означавших всегда одно и то же – выселения, разорения, захлопнутые двери и крысиную борьбу за крошку хлеба и глоток воздуха. Не для того, чтобы предъявлять кому-то счет к оплате, но чтобы не расте-

рять свою историческую память, "чтобы отличать", как требует от нас Писание (Левит, 11,47).

Я не думаю, что у нас есть право предъявлять счет даже детям и внукам немцев, уничтоживших две трети европейского еврейства; но те, кто сегодня пытается доказать, что в газовых камерах травили блох и вшей, а шесть миллионов убитых – корыстная еврейская выдумка, такие же мерзавцы, как прямые убийцы. Разумеется, сохранять пропорции необходимо, но все же выпрямители изгибов русской истории или истории "существования русских и евреев в России", ставят себя в тот же ряд, где красуются адвокаты гитлеровцев и турецкие власти, отрицающие истребление полутора миллионов армян в первую мировую войну.

Любопытно и знаменательно, что "наивная" ложь о процветании русского еврейства – традиция, идущая от ранних почвенников и поздних славянофилов, от тех самых мыслителей, которых новое русское национальное сознание избирает себе в предтечи. Еще Достоевский высказывал предположение, что евреи "может быть, в иных случаях... имеют уже и теперь больше прав или, лучше сказать, возможности им пользоваться, чем само коренное население" ("Дневник писателя", 1977, Март, гл. вторая). Но Достоевский хотя бы сомневался: может быть, в иных случаях... Не то – Иван Сергеевич Аксаков. В 1881 году он откликнулся на еврейские погромы тремя передовыми статьями в редактировавшейся им газете "Русь". В третьей из них (от 20 июня) мы читаем: "Не подлежит сомнению, что нигде евреям так хорошо не живется, нигде евреи не составляют такой сплоченной корпорации, нигде они так не полноправны, как в России..." Комментируя эту фразу в русско-еврейском журнале "Восход" редактор-издатель Адольф Ландау недоумевает: "Как у г. Аксакова, у этого считающегося в литературе хоть и ослепленным, но во всяком случае честным человеком, рука не дрогнула написать такую заведомую, в пору разве людям, бравирующим своею беззастенчивостью, колоссальную ложь – мы решительно в толк не берем". Не берем и мы – сто лет спустя. Впрочем и до погромов Иван Аксаков судил не иначе. В 1867 году в газете "Москва" он писал: "Одно из самых привилегированных племен в России – это, несомненно, евреи в наших западных и южных губерниях".

3. Винаваты ли евреи перед Россией, или в чем главный корень сегодняшнего советского антисемитизма?

Первая половина вопроса опять-таки непосредственно восходит к Солженицыну, к его концепции русской революции, как импортированного товара и дела рук иноплеменников, в первую голову – евреев. Правда, тут он пороха не выдумал: мысль, что Россию сгубили жида вкуче с франкмасонами и интеллигентами, родилась еще на самых первых порах революции 1917-го и процвела в Гражданскую войну в гуще Белого движения; но нынешним своим возрождением на страницах эмигрантских журналов и газет (а в осторожной, прикровенной форме – и на советских печатных страницах, на советских трибунах) она наверняка обязана Солженицыну.

Едва ли я что-нибудь могу прибавить к старым и новым спорам о национальном или антинациональном характере русской революции; да я и писал уже об этом (по-русски – "Сион", № 14, Тель-Авив, 1976, на иврите – Behinot, № 7, Jerusalem – Tel-Aviv, 1976, по-английски – Soviet Jewish affairs, Vol. 7,

№ 1, London, 1977). А вот что сделать безусловно стоить, так это снова обратиться к родословной: откуда оно пошло, это утверждение, будто российское еврейство само повинно во всех своих бедах. будто погром (в любой его вариации) – хотя и жестокое, но справедливое наказание нам за наши грехи? Ведь даже Зиновьев, поначалу так резко расходившийся с Солженицынским "стилем и веянием", теперь перешел на националистические позиции и объясняет юдофобию победившего (или "реального", как он говорит) социализма непомерной активностью евреев в период формирования нового общества (упоминавшееся выше интервью в "Энкаунтере").

Уже на первый заметный погром века (март 1871, Одесса) некоторые органы столичной прессы, прежде всего "Голос" А. Краевского, откликнулись статьями, в которых выражалось если и не сочувствие погромщикам, то известное понимание мотивов, которыми они руководились: они, дескать, мстили эксплуататорам. Но это робкое понимание – пустяки по сравнению с настоящей бурей симпатии, вырвавшейся на страницы русской периодики по случаю великих погромов 1881–1882 годов. Не только консервативная и реакционная, но отчасти и либеральная и, говоря условно, прогрессивная печать выгораживала громил. (Тут надо указать на самое замечательное и самое памятное антипогромное выступление – статью М. Е. Салтыкова-Щедрина "Июльское веяние" в августовском номере "Отечественных записок" за 1882 год.) Если не принимать всерьез суворинское "Новое время", репутация которого у русской интеллигенции уже тогда была вполне однозначной, то главным запевалой в хоре, главным авторитетом и маяком выступил все тот же Иван Аксаков.

В своей газете "Русь" Иван Аксаков набросился на либеральные газеты, которые выказали сострадание жертвам погромов, потому что погромы – это проявление "справедливого народного гнева", исполненное, к тому же, высокого идейного смысла. Ведь христианское имущество не пострадало вовсе, а еврейское, уверяет Аксаков, подвергалось не грабежу, а только и именно разорению, ибо при этом "имелись в виду не Ицка, не Лейба, не Абрам такой-то, а Евреи – вообще, исключительно Евреи" (выделенный шрифт Аксакова) (6 июня 1881). "Бескорыстное" уничтожение еврейского добра было ответом русского народа на экономическое рабство, в котором держат его евреи, и "не об эмансипации евреев следует ставить теперь вопрос, а об эмансипации русского населения от еврейского ига, не о равноправности евреев с христианами, а о равноправности христиан с евреями, об устранении бесправности русского населения перед евреями" (там же). Через неделю (13 июня 1881) Аксаков разъясняет читателям "Руси", в чем корень еврейского зла. Оказывается, евреи самый смысл своего существования видят в отрицании христианства – христианской морали, истории, общества, цивилизации. "Так как семитическая идея закована ныне на начале отрицания, то вселенское миродержавство евреев, которое несомненно уже слагается, выражается и не может иначе выразиться, как в постепенном духовном подтачивании основ существующего христианского мира и в материальном над ним преобладании посредством самой греховной, самой безнравственной из сил – силы денег, иначе – в эксплуатации". "Младший" славянофил смыкается с юным Марксом. В обоих одинаково усматриваются наследники средневекового психоза (патологический

страх перед евреем, обратная сторона которого – ”сатанизация” еврея) и предтечи пакостного мифа XX века о всемирном еврейском заговоре.

Раз погром – стихийная форма справедливого христианского сопротивления, то наказывать громил совершенно недопустимо. Вместо этого необходимо убедить народ, что ”правительство окажет ему наконец энергичскую защиту от еврейского гнета, освободит его от закрепощения еврейскому капиталу”. Это было напечатано в ”Руси” в апреле 1882, через несколько дней после зверского – с убитыми, с тяжело ранеными – погрома в Балте. Киевский генерал-губернатор Александр Романович Дрентельн, генерал-адъютант и генерал от инфантерии, к интеллигенции не принадлежал, силою мысли и красотой слога не блистал, но депутации балтских евреев объявил то же самое, что Аксаков своим читателям: евреи сами виноваты в погроме, так как раздражают христианское население. Здесь славянофил смыкается с администратором и жандармом (одна из предыдущих ступеней карьеры Дрентельна – шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения собственной Его Величества канцелярии). В следующем году славянофил радуется погромам в Венгрии: они подтверждают его идею об универсальности и повсеместности еврейского зла. А 15 сентября 1883 освещает в памяти читателей ”Руси” самое идею: ”...Что же такое евреи, за немногими личными исключениями, как не целая огромная организация и религиозная секта кулаков, у которой нет и другой задачи, другого промысла в жизни, как кулачествовать в среде христианского населения?.. Неправое стяжание – вот что вызывает гнев русского народа на евреев, а не племенная и религиозная вражда... В наше время не может быть и речи о средневековой религиозной нетерпимости...” Пренебрежем логическими кульбитами, не в них дело, но прислушаемся: что-то, вроде бы, хорошо знакомое, до боли похожее на газеты ”Правда” и ”Известия”, журнал ”Коммунист”... Выходит, новое русское национальное сознание – не единственный преемник ”младших” славянофилов.

Каяться ли в ”грехах отцов”, просить ли прощения у русского народа за злодеяния Троцкого и Зиновьева, Фирина и Френкеля, – это, в конце концов, личное дело каждого. Иные не считают евреями самих себя, отрицают ”голос крови”, отвергают происхождение – и, по-моему, никто не вправе отрицать за ними право выбора. Иные (в их числе и автор этих строк) не считают евреями ни Троцкого с Зиновьевым, ни Фирина с Френкелем. Но, мне кажется, любой из тех, кто сохраняет в какой бы то ни было форме, в какой бы то ни было степени сознание и чувство принадлежности к еврейству, должен помнить, откуда выходит стремление нас обвиновать и к чему ведет. Я все ссылался на Ивана Аксакова – уж очень он недвусмыслен, тем и хорош. Но, по сути вещей, ”Дневник писателя” мало чем отличается от аксаковских поджигательных речей. Несмотря на типичнейшие ”достоевские” оговорки и увертки (полифонию?) автор ”Дневника” упорно толкует о пагубном влиянии евреев на все сферы жизни народов, в частности и в особенности – народы русского. Бог с ним, с Иваном Аксаковым, кто его читает сегодня? Но молодые евреи, зачарованные гениальностью Достоевского, – сколько их сегодня в России? Меня не антисемит беспокоит, находящий у Достоевского освящение своей ненависти. Меня тревожит еврей, которого Достоевский, Аксаков и tutti quanti, вилоть

до Солженицына включительно, толкают к самоненавистничеству, ненависти к самому себе. Кстати сказать, я убежден, что тяжелая истерика авторов полюбившегося Шаховской сборника "Россия и евреи" спровоцирована, в первую голову, комплексом самоненавистничества, столь естественного при том крутейшем политическом вираже, который они проделали в последние перед эмиграцией годы. Среди них были либеральные публицисты Иосиф Бикерман и Григорий Ландау (сын Адольфа Ефимовича Ландау, которому мы обязаны "Еврейской библиотекой" и "Восходом"), был Даниил Пасманник, видный теоретик и публицист сионистского движения. Мало того, что все стали сторонниками и участниками Белого движения, – в Берлине они создали еврейскую монархическую организацию. Нет ничего удивительного, что они приняли тот стереотип, ту схему, которые навязывало им их новое окружение. И само принятие это, и дальнейший их путь – доподлинная трагедия, о которой нельзя говорить между прочим.

Что же касается последней волны выходцев из России (чтобы вернуться к началу этой статьи), будь то в Израиле, будь то в США, русофобии – настоящей, а не "фантазматической", а la Шаховская – в них не приметно, зато самоненавистничество, перерастающее в прямой антисемитизм, слишком часто так и бьет в глаза. Я пытался показать и объяснить это еще в 1978 году ("Менора", № 16, Иерусалим, 1978; Commentary, vol. 66, New York, December 1978) и не хочу повторяться, потому что общее положение не изменилось, а новые имена и примеры ничего не прибавят по существу.

В этом смертоносном отчуждении, в рамках которого умещаются и западные леваки, поддерживающие палестинских террористов, и московские "дрессированные евреи", продельвающие свои номера в Антисионистском комитете, и персонаж Василия Гроссмана из повести "Все течет...", заявляющий: "Если евреи, тяготея к Америке, становятся препятствием в движении к коммунизму, то мне не только себя, родной дочери не жалко", – в этом отчуждении наша беда и забота. А не в вымышленных ненавистях и не в ответах на высосанные из пальца обвинения.

Р. С. Эта статья была направлена мною в журнал "Вестник РХД". Редакция "Вестника" отказалась ее опубликовать. Мне хочется выразить благодарность редколлегии журнала "22" за согласие напечатать мой ответ З. Шаховской.

Ш. М.

Нелли Гутина

КОГО СЧИТАТЬ АНТИСЕМИТОМ?

В последнее время в русскоязычных журналах появляется много глубокомысленных статей об антисемитизме. Русские и их евреи продолжают длительную и нудную историческую тяжбу, вникать во все детали которой для всего остального человечества не представляется возможным.

Меня поражает, что журнал, издающийся в Израиле, тоже занялся выведе-

нием на чистую воду то Куприна, то Шаховской, то рассуждением о том, антисемит ли Солженицын. (Как будто нет проблем поважнее).

Мне бы хотелось попытаться раз и навсегда внести ясность в этот вопрос. Тем более, что за мной — признанная репутация “эксперта по антисемитизму”. Тех, кто в этом сомневается, я могу отослать к г-ну Андрею Седыху, редактору “Нового русского слова”. “Уважаемая госпожа Гутина, — писал мне однажды г-н Седых в ответ на предложенную мною статью о всеарабской конференции в Фезе, — если вы можете писать о чем-либо, кроме антисемитизма, я буду рад вас печатать”. Я пожалала плечами и послала в “Новое русское слово” статью о межэтнических отношениях в Ливане и вторую — об исторических связях между Ливаном и Сирией. “Уважаемая г-жа, — писала мне на этот раз секретарь газеты, — г-н Седых занят и я отвечаю по его поручению: если вы можете писать о чем-либо, кроме антисемитизма, то мы будем рады вас печатать”.

Что же делать с такой репутацией? Думаю, уместно ее использовать, чтобы поставить точки над “і” в застарелой проблеме: кого все-таки считать антисемитом? Вот мое заключение как специалиста:

После 1948 года проблема антисемитизма стоит по-иному, чем это было до образования государства Израиль. Истинный антисемитизм, став нереспектабельным, прошел процесс мимикрии и трансформировался, приняв форму антисоциализма и антиизраильских настроений.

Поэтому сегодня антисемитом не следует считать даже того, у кого напряженные или плохие отношения с окружающими его евреями — до тех пор, пока он не сделал антиизраильских заявлений.

Напротив, антисемитом сегодня следует считать того, кто выступает с антиизраильскими заявлениями, будь то в адрес израильского народа, государства или законного правительства. Его следует считать антисемитом, даже если он находится в хороших отношениях с окружающими его евреями и даже в том случае, если он сам еврей.

Оговорка: разумеется, эти критерии неприменимы к арабам. Конфликт между израильтянами и арабами не имеет ничего общего с антисемитизмом. Но если европеец, американец или русский слишком уж дерет глотку на проарабских демонстрациях и антиизраильских митингах, его следует считать антисемитом. В самом деле: все мы осуждаем, к примеру, апартеид в ЮАР, но, положив руку на сердце, многие ли из нас согласны посвятить свое время и силы этой проблеме, а также растратить значительный заряд публицистического пафоса в адрес южноафриканского правительства? Поскольку в мире слишком много репрессий, преследований и территориальных захватов, а Израиль в этом деле отнюдь не чемпион, то вполне разумно считать антисемитами всех тех, кто слишком горячится по поводу тех или иных действий израильского правительства и слишком уж печется о палестинских правах.

Если кого-то после всего вышесказанного еще интригует вопрос, кого же все-таки конкретно следует считать антисемитом, а кого нет, то пользуясь предложенным критерием он сможет легко установить, что в русской эмиграции Солженицына антисемитом считать не следует. Шаховскую — не следует, Максимова — не следует. Напротив, Эткинды, несомненно, следует считать антисемитом. Копелева — следует.

И так далее...

ПЕРСОНАЛИИ

Майя Каганская

ПАМЯТИ РОЗЫ НИКОЛАЕВНЫ ЭТТИНГЕР

...Две вещи поражали в ней сразу и запоминались навсегда: русский язык и красота. Не "следы былой...", а просто — красота. Я сопоставляю два изображения: одно — фотографическое, 1916 года; другое — отснятое памятью в 1977. На фотографии — скромная миловидность 20-летней девушки, в памяти — тонко и точно изваянное, хочется сказать — продуманное, лицо под снежной волной волос. Не седина — цвет. Сколько ей было тогда? По календарю — за восемьдесят... Нет, Роза Николаевна не сохранила красоту — она ее создавала, как художник: ведь подлинный художник вкладывает душу не в себя, а в дело своей жизни. В ее присутствии старость не пугала, напротив — притягивала, как привилегия, которой достойны немногие и которую надо заслужить.

До встречи с Розой Николаевной мне только однажды довелось испытать подобное чувство — в России, вблизи Н.Я. Мандельштам. И все-таки с ощутимой разницей: для Н.Я. настоящее имело смысл лишь постольку, поскольку принимало на себя обязательства перед прошлым, где жил и погиб великий поэт, а вместе с ним — целая эпоха. Только в соприкосновении с этим прошлым устанавливалась у Н.Я. связь с современниками: донести, дорассказать, объяснить... Память — цель, собственная жизнь — средство, — так писала и говорила она о себе. И это была правда. Целью Розы Николаевны было настоящее и будущее, ибо смысл жизни заключался для нее в возрождении ее народа на своей земле, в своем государстве, государство же было намного моложе и ее, и многих из нас.

...Ее русский язык удивлял несходством с нашим. Дело не в правильности: через 60 лет после отъезда из России Роза Николаевна сохранила безупречную интонацию и строй фразы, лексически богатой и изысканной. Но, ведь, в конце концов, и нам не откажешь в безакцентной интеллигентности речи. Мы так ревниво охраняем свой русский, что в речевом поведении соотечественников чаще с удивлением отмечаем отклонения от привычной уже нормы, чем ее соблюдение. И все-таки язык Розы Николаевны был другим. Другое в нем шумело время, другая Россия.. И не просто Россия 15-го или 16-го года, но именно Петербург, даже не Петроград. Город, по улицам которого ходит Александр Блок, молодой и еще живой, он вслушивается в музыку Революции, от которой оглохнет через пять лет. В те же годы, в том же городе типографский наборщик (еврей, судя по мелодике дошедшей до нас фразы) обещает Мандельштаму: "Молодой человек, Вы будете писать все лучше и лучше". Особый воздух закатной русской и расцветающей русско-еврейской культуры, про который Довид

Кнут много спустя с тоской скажет: "...снастлив, кто им когда-нибудь дышал". Для человека, еврея — особенно, надыхавшегося этим воздухом, вся дальнейшая жизнь, вплоть до последнего выдоха, может превратиться в одно нескончаемое воспоминание и попытку любой ценой из него не выходить. Ибо культура — это соблазн, призвание и судьба не для одних лишь ее творцов. У Розы Николаевны Эттингер были к тому все основания и условия — она родилась в Санкт-Петербурге в интеллигентной и богатой семье, но — вот первая черточка несходства с биографиями таких ее великих сверстников, как Пастернак или Мандельштам — семья сохраняет еврейские традиции. Наперекор ужасу перед "хаосом иудейским" она демонстрирует другой тип существования и сознания — аристократическую верность роду.

1918 год. Пасхальный седер в доме Розы Николаевны. За столом, кроме членов семьи, — Соломон Раппопорт, Марк Ландау, Пинхас Рутенберг. Посмотрим на них глазами 24-летней Розы Николаевны: Соломон Раппопорт, он же — русский революционер и еврейский писатель, автор "Дибук" Семен Ан-ский; умрет через три года в Вильне, но, понятно, ни он, ни она об этом не знают. Марк Ландау, уже начавший долгую и удачную жизнь Марка Алданова — популярного и плодовитого русского беллетриста. И, наконец, Петр Рутенберг — человек, повесивший Гапона на вешалке для шляп; неустранимый эс-эр., диктатор Северной области при Временном правительстве, он уже побывал под арестом у большевиков в дни Октябрьского переворота, в опасности и теперь. Все трое веселы и празднично одушевлены. Ан-ский отдыхает после чтения пасхальной Агады, Рутенберг вспоминает детство, Алданов запоминает разговоры, атмосферу, — интерьер — авось пригодится...

Три ярких увлекательных человека перед Розой Николаевной, три пути перед ней: русская революция, русская культура, еврейство. Она выбирает третий — еврейский путь, и на нем пересечется с тем, с кем в тот вечер, вероятно, менее всего ожидала: Пинхас Рутенберг построит первую ГЭС в Эрец Исраэль (как потом окажется, — первую в Иордании) и умрет в Иерусалиме в 1942 году. Но до этого еще далеко, как до Иерусалима.

Что определяет выбор человека, его судьбу? Эпоха, среда, семья? Я не верю в эту цепь внешних принуждений. Она, быть может, пригодна для объяснения некой среднестатистической биографии среднего человека, но обрывается всякий раз, когда мы встречаемся с личностью.

Юность Розы Николаевны проходила под знаком дружбы с Ан-ским. Сохранились его письма к ней, умные, трагические...

"Вы называете себя "кающейся еврейкой". В слове "покаяние" заключается понятие о самоограничении... В таком смысле именно и понимается "покаяние" теми, которые были оторваны от еврейства и вернулись к нему... Вернуться из яркого мира европейской культуры к покрытому язвами старому нищему только потому, что он родной, конечно, подвиг. Но эти возвращающиеся не понимают одного, что нация живет не страданиями, а

восторгом сознания своего "я", радостным творчеством, гордостью своей культуры, поэзией своего бытия. Только этим".

На мой взгляд, актуальность этих строк — не повод для радости: оно означает, что и семьдесят лет спустя нация все еще выбирает себя и нуждается в самоосознании. Конечно, влияние Ан-ского на Розу Николаевну неоспоримо. Но влиять можно только на то, что изначально тебе родственно, убеждаются только уже убежденные. Как и ее поколение, Роза Николаевна очень быстро и рано повзрослела: к 1916 году — началу дружбы с Ан-ским, — она доктор психологии Петроградского университета, дополнительные специальности — история, русский и романские языки и литературы. Значит, "яркая европейская культура" была для нее не тем, что манило, а тем, что уже достигнуто. И разве она была "оторвана от еврейства"? А благотворное влияние традиционной еврейской семьи!? Не будем его преувеличивать: Мандельштама в детстве водили в синагогу, возили к деду, нанимали учителя "лойшн кодеш" — не помогло.

Дети и внуки раввинов уходили в народ (русский), в революцию, к большевикам. Теперь на наших глазах, дети и внуки большевиков, минув отцов и дедов, возвращаются к прадедам и клеймят невозвращенцев. Возвращение — неудачное слово: нельзя дважды вступить в одно и то же время. Нам завещано не повторение, а продолжение жизни, закон поколений — полемика, а не послушное наследование.

Но для многих из нас в судьбе Розы Николаевны не было загадки, а если и была, то тождественная нашей собственной. В сущности, и мы решали уравнение с теми же тремя известными: революция, с поправкой на инфляцию именуемая диссидентством; русская культура, пусть не столь изобильная, как та, но, какая ни есть, а все с блестками былой яркости, и — еврейство. Мы ощутили его как призвание. Вот почему те из нас, кому повезло видеть Розу Николаевну и говорить с ней, испытали редкую радость встречи с современником. Ибо не все, кто соседствует в одном времени, принадлежат ему — есть другая, соучастная современность: по духу и выбору судьбы.

Незадолго до смерти Роза Николаевна Эттингер основала фонд помощи русскоязычной израильской интеллигенции и вложила в него все свое состояние.

Мне бы хотелось видеть в ее поступке не филантропию или душевную щедрость, хотя филантропия почтенна, а благородство встречается реже писательской одаренности. Я расцениваю завещание Розы Николаевны как последний творческий жест, своего рода "возвращение к истокам": Культура и Судьба. Первая дается, вторая — выбирается, Роза Николаевна и после смерти помогает тем, кто хочет их объединить.

Ежегодная литературная премия имени Розы Николаевны Эттингер, учрежденная ее фондом для русскоязычных израильским писателей, — дань ее светлой памяти.

В последний час!

Жюри Фонда им. Р.Н.Эттингер присудило премию Розы Эттингер за 1984 год:

**за активную редакторско-издательскую деятельность — журналу "Двадцать два" (Тель-Авив);
за литературно-критическую деятельность — Майе Каганской (Иерусалим).**

Всеизраильский фонд поощрения русскоязычной культуры присудил премию имени Арье Рафаэли за 1984 год Александру Воронелю за книгу "Трепет иудейских забот"

Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Широко расхваливаемая в Еврейском Самиздате, частично опубликованная в самиздатском журнале "Евреи в СССР", в неполном виде изданная несколько лет назад, ставшая библиографической редкостью, эта книга теперь впервые приходит к читателю в своем полном и завершенном виде.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

Издательство "Москва-Иерусалим" и журнал "Двадцать два" поздравляют Льва Шаргородского с 50-летием и желают ему новых творческих успехов.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

АЛЕКСАНДР И ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ.

ФАКУЛЬТЕТ ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЫ

(юмористические рассказы и повести)

240 стр

10 долл.

"Шаргородские — это два Вуди Аллена, прибывшие к нам из России", — пишет "Журналь де Женев" "Шаргородские — блестящие наследники традиций Зошенко и Бабеля", — добавляет парижская "Нота бене". А сами авторы скромно говорят о себе "Мы — это Зошенко, Бабель, два Вуди Аллена, братья Гонкур и сестры Федоровы, вместе взятые"

Новый сборник произведений известных авторов заставляет плакать и смеяться, вспоминать и грустить. Эта книга так же обязательна в вашей библиотеке, как "Дацзыбао" Игоря Гарика. Даже в двух экземплярах. Потому что один у вас немедленно "уведут" друзья.

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow—Jerusalem" P.O.B 7045, Ramat—Gan, Israel

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия годичной подписки: в Израиле 25 долларов (13175 шекелей), за рубежом 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) №. на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

.
.

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

.
(фамилия)

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Инфляция ставит под угрозу существование нашего журнала. Мы просим всех, заинтересованных в его сохранении, помочь нам пожертвованиями, которые, независимо от их размера, будут приняты с искренней и глубокой благодарностью.

В сентябре—октябре журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Г.Злотник (Таль-Эль) — 3000 шек., Н.Байтальская (Нагария) — 9000 шек., Х.Кричевский (Баркан) — 6000 шек., А.Лернер (Холон) — 3000 шек., И.Тувин (США) — 25 долл., С.Тагер (Италия) — 10 долл., П.Гулька (США) — 10 долл., А.Калина (США) — 50 долл. Искренне благодарим этих великодушных друзей журнала.

КО ВСЕМ АВТОРАМ

Отвергнутые рукописи редакция не возвращает и в переписку по их поводу не вступает.

